

Арк. Васильев

Смело, товарищи, в ногу...

Ивановское
Книжное издательство
1955

Арк. Васильев

Смело, товарищи, в ногу...

повесть



Ивановское
Книжное Издательство
1955



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа царь принимал по вторникам, тотчас же после завтрака. Это совсем не означало, что великий князь Владимир Александрович не мог видеть царя в иные дни: Николай Второй приходился ему племянником. Но так уж было установлено, что именно во вторник после завтрака царь выслушивал доклад своего желчного, всегда и всем недовольного дяди.

Во вторник 4 января 1905 года этот твердо установленный порядок был нарушен: главнокомандующего гвардией и начальника его штаба вызвали в Царское Село на рассвете.

Оставив барона Фитингофа в приемной, где и без него уже было полно людей, главным образом военных, великий князь без доклада вошел в кабинет царя. Николай поднялся ему навстречу и, поздоровавшись, отрывисто спросил:

— Как в столице?

— Беспокойно, государь. Преступные подстрекатели проникли и на другие заводы. Кроме Путиловского, вчера

забастовали на Франко-Русском, стала Екатеринингофская мануфактура. Можно ожидать, что сегодня станет Невский судостроительный, Балтийский...

Царь недовольно поморщился:

— Эти подробности меня не интересуют! Сегодня матушка из Царского Села должна переехать в Зимний. Завтра мы... Я хочу знать, как обеспечен порядок следования. И вообще я хотел бы наконец знать состав столичного гарнизона!

— Разрешите пригласить начальника штаба?

— Пожалуйста...

Великий князь позвонил и коротко бросил вошедшему дежурному адъютанту:

— Барона Фитингофа!

Адъютант вышел. Великий князь внимательно посмотрел на царя. Николай, сутулясь, шагал по кабинету, то и дело поправляя левой рукой рыжие усы. Взгляд блеклых голубых глаз был печален и тревожен.

«Трусит племянничек,— подумал великий князь.— В четверг надо на Иордань шагать, на Неву, а тут забастовки...»

Николай неожиданно остановился и спросил:

— А как с тем делом?

* * *

Дело, о котором царь спросил главнокомандующего, заключалось в следующем. На рассвете 1 января двоюродный брат царя, великий князь Борис Владимирович, еще не протрезвившись после новогодней попойки, решил проветриться на легких санках по набережной Невы. У Николаевского моста, как потом рассказал князь, неизвестный человек сделал по нему несколько выстрелов. Кто стрелял, князь не рассмотрел, так как лошадь, испуганная выстрелами, понесла, а у поворота на Конногвардейский бульвар он вылетел из санок и зарылся головой в сугроб. Но одно князь успел заметить: на стрелявшем была форма рядового кавалергардского полка. Вот это обстоятельство чрезвычайно взволновало царя и всю царскую семью. Для переполоха были все основания: в представителя дома Романовых стрелял не какой-нибудь нигилист в очках, а гвардеец, верная опора императорского престола.

Делу дали ход. В тот же день в старинные кавалергардские казармы на Захарьинской нагрянули офицеры из Главного штаба и из штаба главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского округа. Затем, хотя это и было весьма неприятно главнокомандующему, в казармах на Захарьинской появились молчаливые чины отдельного корпуса жандармов. Но все усилия расследователей не привели ни к чему: на поверку выходило, что ни один рядовой полка не мог быть в указанный князем Борисом час около Николаевского моста. Оставалось лишь предположить, что злоумышленник преднамеренно оделся в кавалергардскую форму. Разве мог кто-нибудь подумать, что никто в князя Бориса не стрелял и что всю историю с покушением он выдумал, преследуя две цели! Во-первых, ему хотелось доставить неприятность командиру кавалергардского полка, который недавно не согласился уступить понравившуюся князю верховую лошадь. Во-вторых, князь жаждал привлечь внимание высшего света к своей всем надоевшей пошловатой особе.

Но если бы кто и догадался о выдумке князя, то вряд ли посмел высказать свои предположения вслух: все знали вздорный, злой и мстительный характер любимца Николая Второго.

О результатах следствия главнокомандующий доложил царю. Николай молча выслушал, не глядя на дядю, и, теребя пуговицу домашней куртки с полковничьими погонами, кратко заметил:

— Виновного надо найти!

* * *

И виновный был найден. Унтер-офицер второго взвода второго эскадрона Курков на второй день после происшествия показал под присягой, что рядовой его взвода Степан Важеватов в ночь на 1 января лежал в полковом лазарете и оттуда отлучался самовольно; вернулся он на рассвете и был чем-то необычайно взволнован. Ободренный и польщенный вниманием, которое оказал ему военный следователь, Курков добавил, что он всегда считал Важеватова неподходящим для гвардии, но молчал об этом, так как красавца Важеватова очень любят господа офицеры за его хороший голос и уменье петь полковые песни.

Стоя перед следователем навытяжку и выпучив свои рачьи, без ресниц глаза, Курков объяснял:

— Он как затянет нашу ротную, господа офицеры чуть не плачут... А как эту... старинную, про дубравушку, запоет, весь полк слушать собирается...

Нарушая устав, Курков нагнулся к следователю и зашептал:

— И еще поет запретную: «Меж высоких хлебов затерялося...»

Следователь откинулся на спинку кресла и наставительно сказал:

— Это не запрещенное... У меня в имении все девки ее поют...

Вечером Куркова снова вызвали на допрос. Он добавил, что несколько раз слышал, как Важеватов в конюшне, в отсутствие господ офицеров, неуважительно отзывался о царской фамилии.

Немедленно был допрошен дежуривший в лазарете лекарский помощник Цветухин.

Лекарский помощник Константин Цветухин службу в кавалергардском полку считал очень выгодной, так как брал с солдат взятки за возможность отдохнуть два-три дня в лазарете. Делал он это очень просто. Пришедшему в лазарет солдату он совал подмышку градусник и тут же вытаскивал его обратно, приговаривая: «С такой температурой хорошо дрова колоть. Нормальная, брат, нормальная. Конечно, можно подогреть».

Недогадливый уходил в роту, а кто похитрее, протягивал Цветухину подношение в казначейских билетах. Все знали: меньше рубля Цветухин не берет.

Увидев перед собой следователя, Цветухин сначала насмерть перепугался. Но, поняв, что речь идет не о нем, а о Важеватове, начал болтать без умолку, так что следователю пришлось не раз его останавливать.

— Как же-с, помню. Все помню. В лазарет Важеватова доставили на второй день рождества Христова. Трезвый был, только запашок легкий, не иначе как пива хлебнул. Диагноз ему сами его высокоблагородие поставили: опухоль в области лодыжки, по-научному говоря — бластома. Не иначе как прыгнул неловко. Болезнь пустяковая — другой полежал бы два дня с компрессом, и пожалуйте в строй, а Важеватов у нас на особом положе-

нии — полковой Шаляпин. Ему полагается лежать, как господам офицерам, до полного выздоровления. Вот он и долежался. В ночь под Новый год он один во всем лазарете оставался. Пришел я его проведать, смотрю — пусто, нет нашего артиста. Явился он под самое утро и был очень бледный...

Тотчас же после допроса Цветухина Степана Важеватова арестовали и временно, до перевода в военную тюрьму, поместили под усиленным конвоем в полковой карцер.

* * *

Степан Важеватов служил в солдатах третий год. В кавалергардский полк он попал из-за белокурых волос и высокого роста. По давней прихоти одного из Романовых, ставшей потом традицией, гвардейские полки комплектовались по цвету волос и росту. Каждый год во время призыва воинские начальники по всей России отбирали среди новобранцев тех, кто подходил под гвардейскую мерку, и слали их в столицу. В Петербурге новобранцев сортировали: белокурые великаны шли в кавалергарды, худощавые брюнеты — в преображенцы, шатены — в семеновцы.

Важеватов не раз проклинал свои льняные кудри и высокий рост. Окажись он чуть потемнее и на два вершка ниже, не пришлось бы ему стоять в дворцовых караулах, где мимо то и дело проходили князья, министры, генералы, а нередко и сам всероссийский полковник Николай Второй. Ни нарядный мундир кавалергарда, ни сносное питание не могли скрасить все тяготы службы в гвардейском полку. За малейшую оплошность на бесконечных парадах, за случайную небрежность в одежде, за неосторожно оброненное слово грозили дисциплинарный батальон, военный суд и тюрьма.

До призыва, в родном своем селе Алексине, Степан работал в кузнице у местного богатея Карасева. У Карасева была не только кузница. На задворках его большого, пятистенного, крытого железом дома попыхивала высокая узкая труба маслоделки. Неподалеку от церкви у Карасева имелся второй двухэтажный дом. Нижний, каменный, этаж Карасев сдавал под казенную винную лавку, в верхнем, деревянном, жил целовальник. У целовальника ника-

кого хозяйства не было, поэтому во дворе хранились карасевские машины: жатка и молотилка.

На выезде из села у Карасева стоял еще третий дом, в котором он держал трактир с постоялым двором. В базарные дни — в четверг и субботу — в Алексино съезжались со всей округи. Приезжали даже из села Нарского, находившегося в пятидесяти верстах от Алексина. На площади около церкви, у волостного правления, у многих домов стояли в эти дни десятки распряженных лошадей. Но больше всего возов скапливалось у трактира. То и дело слышалось: «Идем к Карасеву», «Был у Карасева», «Купи у Карасева», «Продай Карасеву». Даже казенную винную лавку называли «карасевкой». В базарные дни Карасев вставал чуть свет. Высокий, худой, с большой рыжей бородой, он не спеша обходил ряды возов. На его малоподвижном лице не выражалось никаких чувств. Казалось, ему просто скучно совершать эту надоевшую процедуру. И только иногда в глубоко запавших глазах вспыхивало любопытство. Он подходил к возу, бесцеремонно поднимал покрышку и ласково говорил:

— А ну, покажи, чего привез.

Часам к девяти он появлялся в трактире, за буфетом. К этому же часу за маленьким столиком неподалеку от буфетной стойки пристраивался урядник Пушков. Небольшого роста, с большой черной бородой, он ничем не походил на Карасева, но все считали их очень похожими. Это объяснялось тем, что у Пушкова, как и у Карасева, на лице было постоянное выражение скуки. Казалось, что даже когда он опрокидывал в свой мохнатый рот стакан водки, ему все равно было скучно. В трактир Пушков приходил «для соблюдения порядка». Когда он сидел за столиком, в трактире было спокойно. И все же ни один базарный день не проходил без драки. Дрались в трактире, на улице, около церкви. Но всего больше возникало ссор около казенки. Самый опытный следователь запутался бы, доискиваясь до первопричины драки: они возникали по самым невероятным поводам. Иногда драки переходили в большую свалку. Происходило все это по заведенному порядку. От казенки вдоль ряда палаток бежал взъерошенный, растрепанный человек и кричал: «Наших, кузьминских, бьют!..»

И тогда на подмогу кузьминским неслись односельчане и кучей наваливались на завражеских или порошин-

ских. Визжали мальчишки, кричали женщины, стараясь вытащить за рукав расходившихся парней и мужиков.

Степан перестал лезть в драку после памятного случая.

Однажды он стоял в толпе и смотрел, как порошинские бились с наровскими. Порошинских было больше, и, самое главное, их на этот раз возглавлял Василий Сырников, по прозвищу Тютюня, парень огромного роста и необычайной силы.

Кто-то громко сказал: «Наделает Васька покойников! Помочь, ребята, надо!»

И Степан не выдержал: бросился на помощь наровским. Подбадриваемый выкриками зрителей, он врезался в самый клубок свалки. Но не только его, а всех остановил женский вопль: «Убили!»

Разъяренные, в растерзанных, мокрых рубахах, драчуны расступились. В пыли лицом вниз лежал Николай Сковородин, единственный сын церковной сторожихи. Тютюня хотел его повернуть лицом к небу, но десятки голосов закричали: «Не трогай! Не видишь, Пушков идет!» Тютюня отошел и перекрестился. Перекрестились и другие.

Пушков легонько ткнул Сковородина носком начищенного сапога:

— Эй, вставай!

Потом он перевернул тело и негромко, беззлобно сказал:

— Доигрались, дьяволы!

Сковородина похоронили. Вскоре был суд. Как ни оправдывался Василий Тютюня, как ни божился на суде, его приговорили к шести годам каторжных работ. А в селе говорили, что Николая Сковородина убил сын Карасева, Петр. Убил за то, что самая красивая в Порошине девушка, Настя Токарева, предпочла ему Сковородина.

На память о Николае у Степана осталась книжка «Как живут люди в разных местах». Эту книжку Николаю подарил приехавший на каникулы поповский сын. Сковородин дал ее Степану. Важеватов, прочитав книжку, совсем потерял покой. Он подолгу рассматривал картинки. После рассказов о далеких заморских странах, где всегда светит жаркое солнце, прокопченные стены деревенской кузницы казались особенно низенькими.

А когда хозяин, проверяя работу, рыскал глазами, не хотелось смотреть на его рыжую бороду.

Будь Степан одиноким, он давно бы ушел из деревни в город. Больше всего ему хотелось попасть в Одессу, о которой ему со слов поповского сына рассказывал когда-то Сковородин.

— Понимаешь, Степа,— море! Море без конца и без края. Садись в лодку, поднимай парус и плыви куда только захочешь.

Но уйти из деревни было невозможно — не пускала мать, справедливо считавшая, что после смерти отца хозяином в доме должен быть старший сын. Степан и сам понимал, как туго придется семье без него.

Никакой другой работы вблизи не было. Своего хлеба хватало только до Нового года, в крайнем случае до масленицы. Поэтому и молчал Степан, отводил глаза от неприятного, колючего хозяйского взгляда.

Подошел призыв, и военная служба представилась Степану счастливой возможностью вырваться из кабалы злого, ехидного Карасева.

Однако гвардейский полк с его муштрой, придирчивой строгостью, с занятиями «словесностью», на которых полуграмотный унтер, изображая «священную особу государя императора», заставлял новобранцев целовать свою потную руку, оказался еще большей кабалой.

Всю тяжесть службы Степан особенно почувствовал после знакомства с семьей бывшего односельчанина Никитина. Начало знакомству было положено в грустный час расставания с родным домом. Степан надолго запомнил дождливый осенний день, горестные хлопоты матери, молчаливые, сосредоточенные лица сестренок и деловой вид младшего брата, остававшегося дома за большака.

К полудню, когда надо было выходить в уездный город, совсем разнепогодилось. У околицы мать подняла на Степана заплаканные глаза и, видно для того, чтобы говорить о чем-нибудь постороннем, вспомнила про Матвея Никитина, с которым еще в девках не раз играла в горелки, лапту и пела хороводные песни. Сестра Нюра тотчас же помчалась на другой край деревни к родственникам Матвея узнать его адрес. Остальные провожающие укрылись от дождя возле кузницы, под станком для ковки лошадей. Стучал по тесовой крыше станка дождь, где-то далеко рыдала гармонь. Все молчали, только, сдер-

живаясь, вздыхала мать. Нюра быстро вернулась с адресом. Матвей Никанорович Никитин работал токарем в мастерских Технологического института и жил на Загородном проспекте.

Весной после принесения присяги в первый же свободный день Степан, получив у дежурного по эскадрону офицера увольнительную, отправился разыскивать земляков.

Появление красавца-кавалергарда наделало немалый переполох в семье Никитиных. Степан заметил, что больше всех смутился сын Матвея Никаноровича, Иван. Степан долго потом размышлял, почему, увидев его, Иван так поспешно начал собирать со стола тоненькие книжечки и листы бумаги. Заметил Степан и настороженный взгляд главы семьи. И, только узнав, кто их гость, Матвей Никанорович приветливо улыбнулся:

— Свой, значит! А я думал, зачем, за каким таким делом императорская гвардия к нам пожаловала!

Настоящим земляком в семье Никитиных оказался один Матвей Никанорович, все остальные — жена Дарья Михайловна, сын Иван и дочь Наталья — родились в Питере и об Алексине знали только по рассказам главы семьи.

Матвей Никанорович подробно расспрашивал Степана о деревенском житье-бытье, о порядках в кавалергардском полку. Особое впечатление произвел рассказ Степана о том, как на днях покончил жизнь самоубийством его эскадронный командир князь Бобринцев.

— Одни говорят, что его балерина завлекла, а потом бросила, другие болтают, будто в карты за один вечер восемьдесят тысяч просадил, а расплатиться не хватило...

Пока Степан рассказывал, Матвей Никанорович то и дело посматривал на сына Ивана, как бы приглашая его принять участие в беседе. Но Иван молча листал книгу. Было непонятно: или он не понимал намеков отца, или ему совсем не интересен был кавалергард. И только услышав рассказ о самоубийстве князя Бобринцева, Иван со злостью произнес:

— С жиру бесятся!..

Дарья Михайловна, накрывавшая стол, переглянулась сначала с мужем, потом с дочерью и вышла на кухню. Тотчас же за ней ушла и Наталья. Через минуту она приоткрыла дверь и позвала:

— Ваня! Иди почисть селедку...

Иван шумно захлопнул книгу, заткнул ее себе за широкий ремень и вышел.

За обедом Ивана точно подменили. Он оживленно рассказывал домашним содержание только что прочитанной повести Максима Горького «Трое». По кратким замечаниям Наташи Степан понял, что и она читала повесть.

Важеватов не заметил, как пролетело время. Спохватившись, он начал торопливо прощаться с гостеприимными хозяевами. Наташа накинула на голову розовую кружевную косынку и просто сказала:

— Я вас провожу.

За короткий путь до набережной Фонтанки Наташа успела рассказать, что она работает на Екатеринингофской мануфактуре, а по вечерам два раза в неделю учится в вечерней школе для рабочих. На вопрос, что делает Иван, Наташа ничего не ответила, как будто не расслышав. Дойдя до Фонтанки, девушка протянула солдату руку:

— Дальше вы один доберетесь. До свиданья.

Она подняла на Степана свои большие серые, с длинными ресницами глаза и добавила:

— Заглядывайте к нам в свободный день. Мы все будем вам рады... К Ване вы тоже привыкнете. Он хороший у нас. Только сейчас немного нервничает... Недавно из тюрьмы вышел...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Степану очень хотелось еще раз побывать у Никитиных, но после весеннего парада на Марсовом поле гвардия ушла на все лето в Красносельские лагеря.

Кавалергардский полк, как всегда, размещался по крестьянским дворам Павловской слободы. Отсюда недалеко было до столицы, но никаких отпусков из лагеря нижним чинам не полагалось. В Петербург можно было попасть только случайно. Так до осени и пробыл Важеватов в лагерях. Днем ему было не до воспоминаний. С шести утра до захода солнца тянулся тяжелый солдатский день, заполненный работой, чисткой и кормежкой коней, ученьями, подготовкой к маневрам. После

вечерней зори, лежа в хозяйском сарае на душистом, свежескошенном сене, Степан вспоминал родную деревню, мать, сестренок. Но чаще всего перед ним вставала Наташа в розовой кружевной косынке. Он слышал ее ласковое приглашение: «Заглядывайте к нам. Мы все будем вам рады».

Заглянуть пришлось только в сентябре, спустя месяц после возвращения из лагерей. По Загородному проспекту он не шел, а почти бежал. Ему хотелось как можно скорее войти в знакомую маленькую квартирку Никитиных, где, как думал он, его с таким же нетерпением ждет Наташа.

Дома оказалась только Дарья Михайловна. Матвей Никанорович был в мастерских, Иван тоже ушел. А о Наташе Степан спросить постеснялся. Внимательная Дарья Михайловна, заметив его разочарование, улыбнулась и объяснила, что Наташа еще с вечера ушла к больной подруге, Тоне Боевой, и, наверно, опять будет ночевать там.

— Это недалеко, на Царскосельском проспекте, от угла шестой дом...

Подруга Наташи жила в полуподвальном этаже большого дома. Дверь открыла худенькая старушка в темном платье. Увидев солдата, старушка торопливо захлопнула дверь. Удивленный Степан постучал еще раз и услышал:

— Вам кого?

— Скажите, пожалуйста, нет ли у вас Натальи Матвеевны Никитиной?

За дверью посовещались. Затем Степан услышал голос Наташи:

— Меня спрашивает? Солдат? Не знаю, кто это...

Дверь распахнулась. На Степана смотрело сразу несколько пар настороженных глаз. Одни глаза он узнал бы из тысячи.

— Господи! Да ведь это Степан Ильич! — сказала Наташа.— Входите, пожалуйста. Девушки, знакомьтесь— папин земляк...

Раздеваясь, Степан спросил Наташу:

— Как здоровье?

— Как всегда, хорошее.

— Я о подруге вашей спрашиваю. Мне Дарья Михайловна сказала, что вы около больной дежурите.

Степан заметил, что девушки быстро переглянулись.

— Спасибо,— сказала Наташа,— она почти поправилась. Да вот и она... Познакомься, Тоня...

Тоня на больную никак не походила. На смуглом лице искрились черные насмешливые глаза. Яркие пухлые губы, румянец на щеках — все говорило о прекрасном здоровье. Но она в тон подруге поспешила объяснить:

— Было дело, прихворнула. Простудилась. У нас в корпусе все время сквозняки.— Для большей убедительности Тоня попыталась покашлять.

Вся эта сцена Степану не понравилась. Посидев ради приличия с полчаса и поговорив о разных пустяках, он торопливо распрощался.

Он брел по проспекту под моросящим осенним дождем, мысленно браня себя на все лады: «Нужен ты, как гвоздь в седле! Приперся, верста коломенская! Только тебя тут и ждали!»

На углу Загородного проспекта его догнала Наташа:

— Вы обиделись на меня, Степан Ильич?

— Нет. Отчего же мне на вас обижаться? У вас своя жизнь — человеческая, а у меня своя — солдатская... У вас подруги, веселье, а у меня унтер Курков да лошадь Резвая. Вот и вся моя развеселая компания.

Наташа прикоснулась к его руке и сказала:

— Если не торопитесь, заглянем к нам. Мама вам будет очень рада...

* * *

С того вечера все свои увольнительные часы Степан проводил у Никитиных. Крепла его дружба с Наташей. О стариках нечего и говорить. Дарья Михайловна каждый раз, видя, что он собирается уходить, совала ему сверток:

— Возьми, возьми. Знаю я вашу солдатскую пищу... Утром будет чем подкрепиться.

Матвей Никанорович любил рассказывать Степану о премудростях токарного ремесла. Наговорившись, он частенько просил:

— Давай, сынок, спой мою любимую.

Самой любимой была у Матвея Никаноровича песня «Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село».

Выходила из кухни Дарья Михайловна. Матвей Никанорович слушал с закрытыми глазами — видно, вспоми-

нал старик далекое детство, родную деревню, оттого и была эта песня любимой.

Чем больше узнавал солдат Никитиных, тем больше удивлялся, как они хорошо, дружно живут. Заработок у семьи был небольшой, и только опытность Дарьи Михайловны помогала сводить концы с концами. Степан замечал — бывали дни, когда в доме, кроме мурцовки и черного хлеба, нечего было есть. Но зато всегда все были довольны, ровны, спокойны и каждый старался позаботиться о другом. Чувствовалось, есть что-то такое особенное, связывающее семью в единое, неразрывное,— в чем это заключалось, Степан понять не мог.

Только с Иваном долго не налаживалась дружба. После выхода из тюрьмы младший Никитин долго был без работы, и если бы не старые друзья Матвея Никаноровича, так бы и пришлось его сыну позабыть о профессии слесаря. Но друзья выручили: зимой Иван устроился на Путиловский завод.

Иван хмуро здоровался с солдатом и тотчас же исчезал из комнаты, как будто один вид гвардейца раздражал его. Как-то, не выдержав, Степан спросил у Наташи:

— За что меня Иван так не любит?

Наташа в ответ удивленно посмотрела и промолвила:

— Вам показалось. Он очень устает на заводе, поэтому и молчит.

Но однажды лед был сломан.

Накануне во втором эскадроне, где служил Степан, произошло событие, взволновавшее весь полк. Рядовой Василий Вихрев в ответ на брань и тычки унтер-офицера Куркова не сдержался и крикнул ему: «Эх ты, сверхсрочная шкура!» Курков сначала набросился на Вихрева с кулаками, а потом доложил об оскорблении начальству. Вихрев и до этого имел взыскания за недисциплинированность, и начальство распорядилось наказать его розгами «за неисправимо дурное поведение».

Экзекуция проходила в конюшне, под присмотром все того же Куркова. Когда удары перевалили за полсотни, Вихрев вырвался и, окровавленный, с диким воплем набросился на Куркова. Вихрева избили до потери сознания, а в полдень, когда он смог встать, отправили в лазарет при военной тюрьме.

Рассказывая об этом Матвею Никаноровичу и Наташе, Степан закончил:

— Нигде жизни нет. Из дома пишут — голодают, здесь избивают. Замучили человека ни за что ни про что. Где же правда, Матвей Никанорович? Где она схоронена?

В комнату вошел Иван. Он пытливо посмотрел на солдата и неожиданно спросил:

— Слушай, гвардия! Язык за зубами держать умеешь? Болтать не будешь?

Наташа поднялась и испуганно смотрела на брата. А Матвей Никанорович одобрительно кивнул сыну. Иван продолжал:

— Хочешь правду знать? Вот держи, читай. Но только здесь. С собой не дам. Узнаешь настоящую правду.

Он протянул Степану небольшую узенькую книжечку. Степан открыл ее и прочитал на второй странице:

«Российская социал-демократическая рабочая партия.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Н. Ленин.

К деревенской бедноте.

Объяснение для крестьян, чего хотят социал-демократы».

— Читай, Степа. Только запомни: за чтение этой правильной книги угоняют в Сибирь, на каторгу. Читай и думай, а что не поймешь — после поговорим.

Разговор состоялся в тот же вечер. Сидели за столом Степан, Матвей Никанорович, Наташа и Иван.

— Это, значит, такими людьми Курков нас пугает...

— Как пугает?

— Говорит: «Враги внутренние. Хотят всех людей извести, а в первую очередь царя и его верных слуг — солдат».

— Для царя и всей его родни, для министров, заводчиков и помещиков — враги,— твердо сказал Иван.— Помнишь, ты мне о вашем деревенском богаче Карасеве рассказывал? Вот для него такие люди тоже враги.

Степан замолчал, растерянно посматривая на Ивана, словно говоря: «Не понимаю я всего этого. Не скоро я до полного смысла доберусь».

Иван, как бы угадав его мысли, продолжал:

— Сразу, Степа, трудно понять, кто враг. Тебе Карасев работу давал, благодетелем казался, а он совсем не благодетель, а паук. Тебе гроши платил, а за подковы брал с крестьян втридорога.

— Здорово брал, я даже удивлялся. А тот, кто писал,

Ленин, видно про все знает. Правильно он про крестьянские дворы рассказал. На сотню, говорит, бедных есть один богатый. Прямо про нас. У нас у одного Карасева три двора... Все у него: постоялый двор, лавки, трактир... Ходит и шарит глазами, чего бы еще прикупить. Злой. Скажи мне, Ваня, Ленин одну эту книжку написал или еще другие?

— Есть и другие.

— Дашь почитать?

— Дам обязательно. Не сегодня, конечно, а дам...

В эту ночь, дневаля в конюшне, Степан, размышляя обо всем услышанном у Никитиных и о прочитанной книжке, понял, каким цементом скреплена эта семья, на чем покоится их ровная, спокойная дружба.

* * *

На многое после этой беседы открылись глаза у Степана. В новом свете предстало перед ним и деревенское житье и порядки хоть и гвардейской, но все же солдатской жизни. По-иному стал относиться он к людям. Перестал трепетать перед офицерами и Курковым.

Никто в полку не знал, где проводит рядовой Важеватов увольнительные часы. Как-то товарищ по эскадрону, насмешник и забияка, ярославец Василий Туканов пустил слух, что Степан постоянно пропадает у старой тетки, которая, дескать, за его заботы обещала после смерти оставить ему большое наследство. Многие поверили в эту выдумку. Поверил в нее и унтер-офицер Курков. Иногда, напрашиваясь у Степана на угощение и получая отказ, он искренне изумлялся:

— И чего ты на нее, старую каргу, смотришь? Требуй, да и все тут...

После того памятного вечера Важеватов стал еще тщательнее скрывать свое знакомство с Никитиными и на все шутки товарищей о скряге-тетке неизменно отвечал:

— Говорит: «Помру — все тебе откажу». А пока только спитым чаем поит да фунт ситного жалует.

Когда кто-нибудь из солдат просился сообща навестить богатую родственницу, Степан, как бы пугаясь не на шутку, отказывал:

— Что ты, брат! Она меня сразу отзадит! Мне еди-

ножды и на всю жизнь приказано одному к ней являться. Она лишних расходов, как чорт ладана, боится. Да и мало интереса на нее любоваться — желтая, сморщенная, настоящая баба-яга.

А время шло... Наступил 1904 год. В конце января на рассвете полк подняли по тревоге. Через несколько минут застывшие по команде «смирно» солдаты слушали дежурного офицера, громко, нараспев читавшего «высочайший манифест» об объявлении войны Японии.

Уходили на восток воинские эшелоны. Гвардейские полки не трогали, их держали в столице, на всякий случай поближе к царской фамилии, которой везде чудилась крамола.

Доходили до солдат слухи о сражении под Ляояном, о гибели адмирала Макарова. Трудно было понять, что происходит там, на Дальнем Востоке. Газеты в казармы попадали редко, отпуска в город почти прекратились. А слухи ползли и ползли...

В редкие свидания Иван Никитин каждый раз предупреждал Степана об осторожности:

— Прежде чем говорить с кем-нибудь из солдат о запретном, присмотрись: каков он человек, чем живет, чем дышит. Узнай, что он до военной службы делал, где работал, из какой семьи. Начальство за вами зорко следит, смотри не нарвись на доносчика. Не миновать тогда военно-полевого суда.

Первый, с кем Важеватов поделился своими мыслями, был ярославец Василий Туканов. Сблизила их обоюдная любовь к чтению. Оказалось, что всё — насмешливость, частое подтрунивание над товарищами, легкое отношение к жизни,— всё было напускным. Туканов оставил дома стариков-родителей и молодую жену. Он, как и Степан, невыносимо страдал от постоянной муштры и так же ненавидел унтер-офицера Куркова.

Убедившись после тщательных расспросов в том, что Туканову можно доверять, Степан предложил ему почитать книжку «Борьба за право». Туканов повертел книжку в руках, сказал:

— Читал я это еще в Ярославле, когда на фабрике у Корзинкина работал. Вот если бы ты мне что-нибудь из запрещенного достал... Слышал я, есть такие книжки.

Важеватов раздобыл ему через Ивана нелегальную брошюру «За веру, царя и отечество».

Вскоре удалось подружиться с молчаливым, всегда о чем-то сосредоточенно думающим сибиряком Петром Феоктистовым.

Как-то вечером, после отбоя, Феоктистов сидел на койке, мрачно уставившись в одну точку. Степан, давно желавший поближе сойтись с сибиряком, сел с ним рядом и участливо спросил:

— Тоскуешь?

Феоктистов угрюмо ответил:

— А тебе что за дело? Надзираешь?

— Чудак ты, братец. Я к тебе со всей душой, а ты гневаешься. Вижу, мучаешься. Рассказал бы — глядишь, и полегчало. Дома что-нибудь случилось?

— Что может там случиться? На прошлой неделе получил письмо. Корова у матери пала... Дела домашние всегда невеселые. Я сегодня в карауле в военно-окружном суде был. Знаешь, на Большой Морской?

И Феоктистов начал рассказывать, что он видел в окружном суде:

— Судили одного пехотного новобранца за покушение на убийство офицера. Я так понял: солдат этот не из крепких, а ротный у него попался подлюга. Гонял он его на ученье, отдельно от других, часа по два, по три. И руку к нему прикладывал. Ну, бедняга, видно, не выдержал — дошел до предельной точки, бросил чучело колоть, заревел и побежал за своим мучителем со штыком. Поцарапал его легонько... Ему сегодня за это смертную казнь... присудили. Он так передо мной и стоит: худенький, в лице ни кровинки, в глазах испуг. А ротному ничего. Он теперь за другого примется. Будет людей до отчаяния доводить... Эх, Важеватов, разнесчастные мы — лошадей больше нас берегут. Вот и выходит: солдат дешевле скотины...

Осенью 1904 года обзавелся Степан еще одним знакомым.

Получив увольнительную, он немедленно полетел к Никитиным. Дверь открыл Иван:

— Входи, гвардия, входи. Наших никого, кроме меня, нет, но скоро будут. Мы тут с приятелем сидим. Проходи, знакомься.

В комнате навстречу Степану поднялся среднего роста молодой человек в студенческой тужурке. Он подал руку и сказал:

— Михаил. Мне о вас Ваня рассказывал. Очень рад...

Степану он сразу понравился. Над высоким лбом торчал симпатичный ежик густых каштановых волос. Серые глаза смотрели внимательно и дружелюбно. Хороша была улыбка — такая сердечная, что сразу думалось: «Этому можно верить, не подведет».

Когда все уселись, Михаил продолжал прерванный приходом гостя разговор:

— Вот ты, Ваня, смеешься надо мной, а я до сих пор опомниться не могу. Какой он человек! Нет такого другого на этом свете Нигде нет, во всем мире!

Он повернулся к солдату:

— Извините, что я вас в наш разговор не посвятил. Я Ване рассказываю, как студенты вчера у Максима Горького были. Все к нему с расспросами· «Что пишете сейчас?» А он улыбнулся и говорит: «Пишу. Пишу, но все не то, что нужно». О чем мы с ним только не говорили — о книгах, о Чехове... Очень хорошо он о нем рассказывал. У него даже слезы появились. А когда мы уходить собрались, он нам несколько раз повторил: «Идите на заводы. К рабочим идите Там ваше место!»

Вскоре пришел Матвей Никанорович. По тому, как он поздоровался с Михаилом и как говорил с ним, гвардеец понял, что студент у Никитиных не впервые. Посидев еще немного, Михаил и Иван ушли. Матвей Никанорович, зажигая лампу, рассказывал про студента:

— Хороший парень! Издалека в Питер приехал, почти с края света, из Пишпека Первокурсник. Только не доучится: уж очень быстро опасные знакомства свел...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сидя в карцере, Важеватов перебирал в памяти события последних дней

На второй день рождества он зашел к Никитиным. Там, по обыкновению, был Михаил и другие товарищи Ивана и подруги Наташи. Немного выпили, спорили, шумели.

Степан больше всего запомнил, как Михаил сказал, обращаясь к товарищу Ивана по заводу, Алексею Колесникову:

— Ищите материалы для агитации в повседневной

жизни. Выдумывать ничего не надо. Пусть господа меньшевики выдумывают. Читали сегодняшние газеты? Если не читали, рекомендую внимательно посмотреть опубликованную роспись доходов и расходов Российской империи на 1905 год. Там есть много цифр для размышлений.

— Каких?

— Там сказано, что на содержание особ императорской фамилии, то-есть самых отъявленных бездельников, отпущено около тринадцати миллионов рублей, на тюрьмы — пятнадцать, на суд и прокурорский надзор — пятьдесят, а на городские и начальные школы — двенадцать...

Алексей в ответ ничего не сказал и только после поделился со Степаном, указывая на Михаила:

— Ловко он с цифрами подметил! Мне бы вот и в голову не пришло. Варит у него котелок, ничего не скажешь. Умен.

Они уселись в сторонке, но побеседовать им не пришлось. Наташа взяла гитару:

— А ну, друзья, тише! Степан Ильич, спойте папину любимую...

Степан пел и смотрел на Михаила, который сидел, заложив руки за спинку стула, слегка наклонив голову к правому плечу.

Когда Степан кончил песню, все дружно зааплодировали. Михаил подошел к нему, крепко пожал руку:

— Хорошо! Очень хорошо! Вам бы не в гвардию, а в консерваторию.

Рядом оказался худощавый студент в новенькой тужурке. Михаил восхищенно сказал ему:

— Ну и голос! Хорошо поет!

Тот улыбнулся и ответил:

— Очень... Я до слез расстроился. Так и представляешь себе ржаные поля, ивы, а под ними одинокая могила. Чудесно поете! — Он протянул руку: — Будем знакомы: Игорь Кручинин.

Михаил шутливо добавил:

— Будущее светило российской экономической мысли. Знает наизусть всего Каутского...

Наташа взяла Степана под руку:

— Идемте со мной. Сегодня я вам не дам умные разговоры слушать. Спойте еще что-нибудь.

Хороший этот вечер неожиданно закончился для Степана неприятностью: выходя от Никитиных, он посколь-

знулся и упал, растянувшись во весь свой огромный рост, а когда встал, почувствовал в ноге такую боль, что идти уже не мог. Михаил с Иваном раздобыли извозчика с крытыми санками, доставили его в казармы на Захарьинской и сдали на попечение лекарскому помощнику Цветухину.

Именно Цветухин в ночь под Новый год, получив от Степана три рубля, проводил его черным ходом из лазарета прямо на улицу.

Боль в ноге к этому времени утихла. Да разве могло что-нибудь остановить Степана от искушения встретить новый, 1905 год вместе с Наташей!

У Никитиных, как и в рождество, собрались подруги Наташи и приятели Ивана. Позже всех, почти в полночь, пришел Михаил. Его заставили произнести первый тост. Михаил встал, поднял рюмку, обвел всех глазами, помолчал, дожидаясь, когда стрелки на часах сойдутся в одну линию, и взволнованно сказал:

— Сейчас, друзья, везде — рабочие и крестьяне в городах и селах, солдаты в казармах, заключенные в тюрьмах и на каторге — с надеждой смотрят на часы: для всех наступает Новый год, и все ждут, что он будет гораздо лучше, чем все предыдущие! И мы ждем. Выпьем, друзья, за нашу надежду, за то, чтобы всем честным трудовым людям жилось в этом году лучше! С Новым годом, друзья! С новым счастьем!

Иван, чокнувшись с Михаилом, сказал:

— Не знаю, чего тебе пожелать...

Михаил улыбнулся и шепнул:

— Нового паспорта.

Потом пели хором, танцевали, играли в фанты. Михаил проиграл. От него потребовали прочитать стихотворение. Он сначала шутливо отказывался, затем встал в круг и внятно начал:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...

Степан тоже проиграл, и его заставили петь. Впрочем, он и без просьб готов был петь без конца — рядом с ним сидела Наташа Она ласково, с улыбкой смотрела на него; он видел ее глаза, милую родинку на щеке и словно чувствовал ее дыхание.

Разошлись под утро. На осторожный стук Степана в

окне дежурки показалось сонное лицо Цветухина. Фельдшер открыл форточку:

— Иди к черному ходу...

Почти весь первый день нового года Степан отсыпался. Второго января полковой врач, осмотрев его, коротко бросил:

— В роту!

Вечером к Степану, сидевшему в курилке, подошел унтер-офицер Курков и приказал:

— Выйди!

В коридоре Степан увидел незнакомого офицера и двух солдат из второго эскадрона с винтовками в руках. Курков что-то сказал офицеру, и тот кивнул:

— Веди!

— Пошли, Важеватов,— буркнул унтер.

— Куда?

— Куда поведу.

Они молча пошли в спальню. Завидев эту молчаливую процессию, попадавшиеся навстречу солдаты сторонились и старались не встречаться взглядом со Степаном.

В спальне Курков быстро достал сундучок Степана и зло сказал:

— Давай ключ!

Поняв, что сопротивляться бесполезно, Важеватов подал ему ключ. Курков открыл замочек и начал рыться в сундуке. Офицер с любопытством наклонился к нему.

Степан великолепно помнил, что нелегальная брошюра «Пауки и мухи», которую он не успел вернуть Ивану Никитину, лежала на самом дне сундучка, под синей оберточной бумагой. Там же лежали еще две книжки: «Овод» Войнича и «Сон Макара» Короленко. Хотя они были легальные, но все же в сундучке гвардейского солдата их держать не полагалось.

Степан, с трудом сдерживая волнение, смотрел, как унтер выбрасывал на койку вещи из сундучка. Наконец все было выкинуто, перетряхнуто, но ничего, кроме предписанных уставом предметов, обнаружено не было. Курков для верности вырвал устилавшую сундучок синюю бумагу и сразу же увидел книжки. Он цепко схватил их и подал офицеру. Офицер присел на край кровати и начал перелистывать страницы. Дольше других он листал «Пауки и мухи». Потом он поднял глаза на Степана и спросил:

— Где взял?

— Нашел.
— Где?
— На улице.
— На какой?
— На Большой Морской...
Офицер прищурил глаза и деловито сказал:
— Ладно, потом разберемся. Взять...

* * *

После полуночи Степан услышал, как кто-то шопотом позвал его:

— Не спишь? Это я, Туканов. Сейчас тут никого нет. Слушай меня внимательно. Тебя обвиняют в покушении на какого-то князя, царского родственника Понял? Просись до ветру. Как во двор выйдем, бей меня сильнее. Не жалей. Чем больше синяков будет, тем лучше. Снимай с меня шинель — и ходу. В воротах на посту Петруха Феоктистов.

— А ты как потом? Засудят.

— Не бойся. В живых оставят, а там видно будет. А тебя петля верная ждет. Начальство зверем смотрит...

Часа в два ночи Степан забарабанил в дверь. Туканов нарочито грубым голосом прикрикнул:

— Не буянь, каторжный! Чего тебе?
— Проводи.
— Куда?
— Куда царь пешком ходит.
Туканов спросил второго часового:
— Свести?
— А как же... Полагается. Согласно уставу.
Туканов отодвинул задвижку и скомандовал:
— Выходи! Пошевеливайся.

Ночь была безлунная. В казарменном дворе темно, хоть глаз выколи. Только у самого входа висел небольшой фонарь. Дойдя до поленницы дров, Туканов, снимая шинель, торопливо сказал:

— Возьми винтовку. Брось ее потом во дворе. Бей меня. Только глаза побереги... На вот, держи.

— Чего это?

— Кусок портянки на кляп. А это пакет. Если на улице патруль остановит, скажешь: срочно в Главный штаб... Рот мне заткни...

Степан надел шинель, крепко пожал Туканову руку и ровным, спокойным шагом пошел к главному входу.

Феоктистов стоял, прислонившись спиной к колонне. Он поднял небольшой фонарь, осветил лицо беглеца и шепнул:

— Иди налево. В переулке вахмистр Петр Семенович своего пса прогуливает...

* * *

На осторожный стук Степана дверь открыла Дарья Михайловна. Увидев неожиданного гостя, она охнула и, словно почуяв грозившую ему опасность, тревожно спросила:

— Господи, откуда ты? Проходи скорее...

Поднялась вся семья. Наташа слушала Степана, кутаясь в материн платок и вздрагивая не столько от холода, сколько от волнения. Матвей Никанорович привернул лампу и плотнее закрыл занавески на окне. Иван, не дав солдату договорить, решительно перебил его:

— Все ясно. Когда во двор входил, тебя кто-нибудь видел?

— Нет.

— Очень хорошо. Снимай все.

— Зачем?

— Все снимай. Наденешь мое. Мы с тобой почти одинаковые. Одежду твою надо куда-нибудь спрятать.

— Может, сжечь? — предложила Наташа.

— Ни в коем случае. Через несколько часов поднимут на ноги всю полицию. Степана дворник у нас видел много раз. Могут пожаловать и к нам. Горелым сукном будет пахнуть. Они всю золу перероют.

Посовещавшись, решили, что переодетого в штатское Степана надо немедленно отправить к Наташиной подруге Тоне Боевой, а мундир и шинель бросить в Неву. Не принимавшая никакого участия в этом разговоре Дарья Михайловна строго заметила:

— Эх вы, конспираторы! Тоже выдумали! Кто понесет? Наташа? Идет ночью девка с узлом... Да ее первый же городовой по подозрению в краже задержит! Давайте уж лучше я за это возьмусь. До утра не придут, а я пораньше, как рассветет, уложу в бельевые корзинки — и к Парфену в котельную снесу. У него в топке не только мун-

дир — целая лошадь сгорит, и никакого запаха не останется, все в трубу вылетит.

Было еще темно, а Степан, переодетый в одежду Ивана, уже сидел в уютной комнатке Тони Боевой. Наташа, приведя его к подруге, объяснила неожиданное появление очень просто:

— Больше ему деваться некуда. Но если его у тебя найдут, и тебя не помилуют.

Тоня задорно блеснула черными глазами и в тон ей ответила:

— Это уж как водится. Очень даже легко на Сахалин можно уехать... Шла бы ты домой, Наташа. Я твоего красавца поберегу, как изумруд. Он у меня будет как в несгораемом шкафу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ни в этот день, ни в следующие полиция к Никитиным не заходила. В столице разыгрались такие события, что всем полицейским и жандармским чинам, начиная от рядовых и до самых высших, было не до розыска беглого кавалергарда. Нашлись дела поважнее.

Невнимательному наблюдателю в те дни могло показаться, что столица Российской империи живет обычной жизнью. И действительно, на первый взгляд казалось, что все идет по раз и навсегда заведенному порядку.

Как обычно, суетились на бирже маклеры. Утром 4 января из металлургических акций особенно ходко шел Гартман. С большим оживлением требовали нефтяные бумаги. Акции Путиловского завода стояли на прежнем уровне, но оживленного спроса не имели: о забастовке путиловских рабочих знал уже весь Петербург.

Утренние газеты принесли читателям свежие новости. Генерал Стессель, две недели назад бесславно сдавший Порт-Артур, прибыл в Порт-Саид. Германский генеральный консул посетил генерала и торжественно вручил ему от имени своего императора высший орден страны. В Лондоне состоялось первое заседание комиссии по расследованию гулльского инцидента. Инцидент был из ряда вон выходящий и славу Российской империи отнюдь не умножал. Темной октябрьской ночью эскадра адмирала Рожественского, спешившая по приказу царя на Дальний Вос-

ток, встретила близ английского города Гулля рыбачью флотилию. Приняв с перепугу рыбацкие суда и свой несколько отдалившийся крейсер «Аврору» за японские миноносцы, командир флагманского броненосца «Суворов», на котором находился сам адмирал Рожественский; открыл огонь. Вслед за «Суворовым» заговорили орудия на «Орле». Метались на палубах под жестоким огнем рыбаки, ярким факелом пылало подожженное русскими снарядами небольшое судно, падали раненые на «Авроре»...

Комиссия в Лондоне допрашивала очевидцев. Вставали старые, обветренные рыбаки и недобрым словом поминали эскадру. А она в тот январский день шла где-то в Индийском океане, навстречу своей гибели.

В Петербурге торопливо бежали по улицам прохожие, пряча в высокие воротники носы от расходившегося мороза. Валил клубами пар от лошадей. Ненастоящими, сказочными казались покрытые мохнатым инеем деревья в Александровском саду. А в это время изнывавшие от тропической жары моряки эскадры ели бананы и ананасы, вслух мечтая о свежих русских щах. Нестерпимый запах от бочек с испорченной квашеной капустой свидетельствовал о взятках, полученных интендантами Кронштадтского порта от поставщиков, заработавших немалую сумму на снаряжении эскадры в далекий и опасный путь.

Рядом с сообщениями о продвижении эскадры газеты печатали объявления торговых фирм. Магазины фабрики «Бехли» объявили дешевую распродажу. В магазин Циммермана на Невском поступили новые партии музыкальных инструментов. Табачная фабрика Лаферм выпустила новые папиросы «Каприз».

Казалось, ничего не изменилось в Санкт-Петербурге. В фешенебельном ресторане Палкина играл по вечерам салонный оркестр Казабланка. «Биржевые ведомости» в утренних изданиях печатали сентиментальный роман модного писателя графа Салиаса «Лебеди». В Мариинском театре давали «Лебединое озеро» с балериной Кшесинской в главной роли. В цветочном магазине поставщика императорского двора Шредермана на Невском проспекте, как обычно, готовили для поклонников госпожи Кшесинской целый сад.

Театр «Буфф» обещал первый выход примадонны Брюссельского королевского театра Анжелы Ван-Лоо в оперетте «Фауст наизнанку». «Петербургская газета»

печатала свое меню: на закуску читателям рекомендовалась вестфальская ветчина, затем шли суп из земляных груш с гренками, говядина антрекот, фаршированные артишоки, меренги с кремом.

И здесь же рядом газета сообщала о трагическом случае: оставшаяся без средств вдова на почве голода убила трех своих детей, старшему из которых исполнилось восемь лет. Покончить с собой вдова не сумела. Нож, воткнутый дрожащей рукой в грудь, прошел около сердца.

Казалось, ничего не изменилось в Санкт-Петербурге. Как обычно, был объявлен список убитых и умерших от ран на фронте. Погибли корнет Базилевич, хорунжий Кобыльчинский, подъесаул Березов. О нижних чинах, как правило, не упоминалось.

Состоялись великосветские свадьбы. Городская дума в пятый раз обсуждала вопрос о сооружении в столице трамвая.

Ничего, казалось, не было необычного и в том, что в столицу скорым поездом прибыл командующий Московским военным округом, дядя царя великий князь Сергей Александрович. В сопровождении адъютанта капитана Джунковского князь, не заезжая в свой дворец, прямо с вокзала отбыл в Царское Село.

6 января, в день праздника крещения, царь, великие князья и многочисленная свита, выстояв торжественную службу в дворцовой церкви, спустились по гранитной лестнице на невский лед и направились к передвижной часовне, установленной около огромной проруби. Царица с многочисленными дочерьми и целым стадом пышно разодетых придворных дам наблюдала за процессией из окон дворца. По традиции, в момент погружения креста в воду раздавался орудийный салют. Все шло по расписанию. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний, с трудом согнув в коленях старые, подагрические ноги, присел на корточки и окунул большой золотой крест в воду. Первый залп дали орудия Петропавловской крепости, второй — батарея первой гвардейской артиллерийской бригады, расположенная на Васильевском острове, у самой Биржи. Этот второй залп был особенно звучным. Над пестрой толпой царедворцев засвистела шрапнель. С легким звоном вылетели стекла в Николаевском зале Зимнего дворца. Посыпалась со стен

дворца штукатурка. Салют гремел, а по льду впереди всех летел с крестом в руках преосвященный Антоний. Путаясь в долгополой шинели, падая на ходу и снова вскакивая, несся главнокомандующий гвардией Владимир Александрович. Едва поспевал за ним бледный, с непокрытой головой царь, рыжие волосы его трепались на ветру. Бежали министры, генералы, сенаторы, послы и посланники. Барахтался в ледяной воде свалившийся от страха в прорубь незадачливый великий князь Борис Владимирович. Лежал на льду в луже крови тяжело раненный городовой Петр Романов. Не прошло и часа, как его фамилия облетела всю столицу.

На набережной у Биржи прыгал в бешеной пляске командир батареи штабс-капитан Карцев. Вытянув по швам руки, стояли перед ним фейерверкер Гиндарев и канонир второго орудия Апальков. Канонир, стараясь не смотреть в лицо офицеру, косил глаза на Неву и повторял одно и то же:

— Ничего не знаю, ваше высокоблагородие. Не иначе, как шрапнель осталась от учебной стрельбы Плохо пробанили...

Ползли по городу слухи. Один особенно настойчиво влезал в головы: «Не того Романова кокнули» В сумерки перепуганный царь вместе со всей семьей покинул Зимний дворец. Специальный состав увез многочисленную императорскую родню в Царское Село

В запасной половине Зимнего дворца в ночь на 7 января поселился только что прибывший в столицу генерал-майор свиты его величества, бывший московский обер-полицмейстер Трепов.

* * *

В полдень у Трепова собрались: главнокомандующий гвардией великий князь Владимир Александрович, министр финансов Коковцев, петербургский градоначальник Фуллон и высшие чины штаба гвардейских войск и Петербургского военного округа. Обстановку докладывал начальник штаба Фитингоф:

— На сегодняшнее число, кроме Путиловского завода, бастуют Невский судостроительный, Обуховский сталелитейный, Балтийский, Трубочный, Невская ниточная мануфактура... Особенно недопустима забастовка на Пу-

тиловском: завод изготовляет орудия, снаряды, вагоны и другое снаряжение для действующей армии.

Трепов не допускающим возражения тоном обрезал:

— Неприятна любая забастовка! Доложите дислокацию войск.

Фитингоф удивленно посмотрел на великого князя, как бы говоря: «Как смеет этот выскочка приказывать мне помимо вас?» Но, к его удивлению, князь сухо сказал:

— Продолжайте.

Начальник штаба разложил на большом столе карту столицы:

— Город в целях наибольшего оперативного руководства разбит на шесть отделений. Первое отделение начинается от набережной Невы до Сената, идет по Гороховой, реке Фонтанке, Забалканскому проспекту, Обводному каналу, Лиговке, Потемкинской улице, Екатерининскому каналу и выходит на Невский. В первом отделении сосредоточено девять с половиной батальонов, два эскадрона и сотня казаков. Общее руководство отделением возложено на генерал-майора Озерова. При нем состоит местный полицмейстер Григорьев.

Доложив обо всех шести отделениях, Фитингоф спросил у князя:

— Прикажете продолжать?

Князь посмотрел на Трепова. Тот молча кивнул головой.

— Всего в столице сосредоточено сорок четыре батальона пехоты из гвардейских полков: Преображенского, Семеновского, Павловского, Измайловского и Московского. Кавалерии — десять эскадронов и семнадцать казачьих сотен. В резерве гвардейский флотский экипаж.

Князь повернулся от окна и спросил:

— Как обеспечена охрана Зимнего и Аничкова дворцов?

Фитингоф, не заглядывая в бумаги, на память ответил:

— Увеличена втрое.

Трепов одобрительно подтвердил:

— Барон постарался. За дворец мы спокойны. Я лично больше беспокоюсь за электростанцию, водопровод и газовые заводы. Особенно надо охранять электрическую станцию на Обводном. Исключительное внимание вокзалам.

Заговорил молчавший до сих пор Фуллон:

— Нужны пулеметы. Без них — как без воздуха.

Князь насмешливо посмотрел на градоначальника и, как бы извиняя его наивность, разъяснил:

— Мною это предусмотрено. Из Царского Села затребована пулеметная рота гвардейской стрелковой бригады. Кроме того, на пути в столицу из Нарвы и Ревеля находятся полки: восемьдесят девятый Беломорский, девяностый Онежский, девяносто первый Двинский и девяносто второй Печорский. Ожидаются в ночь с субботы на воскресенье.

Трепов встал, за ним, как по команде, все остальные. Великий князь, стоя рядом с Треповым, торжественно произнес:

— Я говорю от имени государя императора. Государь выражает уверенность в том, что гвардия и войска полны верноподданнических чувств и способны на самые решительные меры.

Трепов деловито добавил:

— В случае необходимости, господа, патронов прошу не жалеть!

* * *

Тоня Боева ушла утром на работу, с улыбкой сказав на прощанье:

— Я тебя снаружи на замок закрою. Пусть думают, что дома никого нет. А ты, изумруд, сиди тише и не вздумай соловьем песни распевать: в момент в канарейки произведут — и в клетку...

Степану было не до песен. В комнату изредка доносился голос дворника, очевидно уговаривавшего возчика полнее насыпать сани снегом:

— Прихлопывай, прихлопывай! Этак мы с тобой до ночи провозимся...

Дворник и возчик ушли из-под окна, и в комнате стало тихо-тихо. Важеватов на цыпочках подошел к столу и принялся за оставленный Тоней стакан молока и большой кусок черного хлеба. Хлеб показался ему необычайно вкусным. Потом Степан взял с полочки книгу в рябом желто-черном переплете и начал листать ее. На первой странице значилось: «Календарь на 1898 год под редакцией А. Гатцука». Первые страницы занимали сведения

о времени церковного благовеста в Москве и Петербурге, алфавитный список святых и описания русских и иностранных орденов. Степан машинально читал:

«Орден Андрея Первозванного. Учрежден 30 ноября 1698 года Петром I; имеет одну степень. Лента голубая, через правое плечо. На четырех концах креста S. A. P. R. (Sanctuc Andreas Patronus Russiae). На обратной стороне девиз: «За веру и верность». При пожаловании взимается 500 рублей, а при пожаловании мечей к ордену еще 250 рублей...»

Он хотел уже положить скучную книгу обратно, но, перелистав еще несколько страниц, чуть не вскрикнул от удивления, увидав знакомые строки:

«...Это новое, лучшее общество называется социалистическим обществом Учение о нем называется социализмом Союзы рабочих для борьбы за это лучшее устройство общества называются партиями социал-демократов. Такие партии открыто существуют почти во всех странах (кроме России и Турции), и наши рабочие вместе с социалистами из образованных людей тоже устроили такую партию: Российскую социал-демократическую рабочую партию.

Правительство преследует ее, но партия существует тайно, несмотря на все запрещения, издавая свои газеты и книжки, устраивая тайные союзы...»

Степан даже засмеялся от восхищения: до того ловко была вплетена в старый календарь ленинская брошюра «К деревенской бедноте».

«Так вот ты какая! — подумал Степан о Тоне.— Ах ты птаха развеселая!..»

Комната Тони, беленькая, чистая, показалась ему еще уютнее. Он подложил под голову старенькое Тонино пальто и лег на пол. Колючее беспокойство, владевшее им с момента ареста, сменилось спокойным, осторожным ожиданием. Перебирая в памяти события минувшего дня, он с теплотой вспомнил Туканова и Феоктистова:

«Как-то они сейчас там? Что с ними? Как бы все узнать?»

Затем память начала восстанавливать события этой ночи. Он вспомнил решительное лицо Ивана Никитина, участливый взгляд Дарьи Михайловны: «Эх вы, конспираторы!» Но усталость и пережитые волнения взяли свое, и Степан уснул. Разбудил его громкий смех. На пороге

стояли Тоня и Наташа. Тоня, разматывая платок, говорила подруге:

— Нет, ты только посмотри на него! Занял полкомнаты, а спит, как младенец!

Степан вскочил и радостно спросил:

— Наташенька! Тоня! Откуда вы так рано?

Тоня, поправляя волосы, серьезно ответила:

— Бастуем. Хватит. Попили нашей кровушки...

* * *

Поздно вечером пришел Иван Никитин. По тому, как Иван нежно обнял Тоню за плечи и как ласково взглянула она ему в лицо, Степан понял — любовь тут неподдельная и дружба настоящая, на всю жизнь.

Иван рассказал подробности забастовки:

— Началось у нас, на Путиловском. Есть там у нас в вагонной мастерской мастер Тетявкин. Не человек, а собака, хозяйский холуй. Прикажи ему наш директор Смирнов брата родного удавить — удавит и глазом не моргнет. Злодей, а не мастер. Уволил он четырех рабочих. Одного из них, Сергунина, я хорошо знаю. Еще Уколов, Субботин и Федоров. Все они члены «Собрания русских фабрично-заводских рабочих города Петербурга». А для Тетявкина даже эта смирная гапоновская организация прямо нож в горло Он любит совсем безответных, таких, чтобы только одному ему в рот смотрели и кланялись. Кланялись и благодарили. Ну, и придрался к чему-то, уволил. Вагонники к нему депутацию, а он даже разговаривать не стал: «Не ваше дело. Ваше дело работать и шапки перед начальством ломать не забывать». Народ, понятно, не стерпел, и депутация пошла к самому Смирнову. А у того голос зычный, словно гудок на Балтийском заводе. Вышел в переднюю и заорал: «Всех уволю!» Ну, и всё. Народ — на улицу. Не прошло и полчаса — в мастерских никого, всех как ветром выдуло. А потом на другие заводы перекинулось. Бастует весь Питер.

О себе Иван не сказал ни слова. Степан так бы и не узнал ничего, если бы не Михаил. Он пришел вскоре после Ивана, снял вместе с пальто студенческую тужурку и остался в синей сатиновой косоворотке с белыми пуговицами. Поглаживая рукой свой ежик, он, улыбаясь, сказал:

— Расскажи, Ваня, как тебя со стола стащили.

И сам начал рассказывать:

— Собрание у них было. Народу набилось — повернуться негде, да еще несколько тысяч на улице стояло. Окна открыли, чтобы всем слышно было. Приехал сам Гапон, политик в рясе. Поднялся на стол, руки к небу воздел и кричит: «Я вас к царю поведу! Расскажем ему, батюшке, о наших нуждах». Кричит, а крест на нем прыгает и все изнанкой переворачивается. А тут Ваня рядом с ним встал: «Не надо к царю идти. Ничем он не поможет, а вот пулями наверно угостит». Что тут началось! Шум поднялся, крик. Ваню дружки гапоновские за ноги сгребли и потащили со стола. Гапон визжал, как припадочный...

Михаил помолчал и добавил:

— Стрелять, конечно, будут. Везде войска и казаки... Идем, Ваня, идем. Нам с тобой сегодня надо еще у завода побывать.

Уходя, Михаил сказал:

— Фальшивый паспорт, Степан Ильич, я вам заказал. К понедельнику сделают. Ваня его вам принесет. Потом мы вас в надежное место переправим.

* * *

В воскресенье Тоня ушла рано утром. Она старательно завязала в платок хлеб, небольшой кусок вареной колбасы и два куска жареной рыбы:

— До дворца далеко, проголодаюсь...

Степан спросил ее:

— Решили идти?

— Ваня идет, и я с ним. Он меня отговаривал, да разве я одного его пущу!

— А Наташа?

— Идет... Она со своими фабричными.

Вместо бежевого платка, который Тоня носила обычно, она повязала большую клетчатую шаль, надела синие с белым варежки. Вскоре она вернулась и, снимая шаль, объяснила:

— Хорошо на улице! Не холодно. Градусов десять, не больше. Я в шали только измучаюсь... В платке полегче.

Переодевшись, она снова ушла, пожелав не скучать:

— Посиди тут, изумруд. Вечером я к тебе Наташу притащу. Может быть, и Ваня освободится. Кушай, не стесняйся...

Степан взял с полки томик Гоголя и, усевшись поближе к окну, начал читать. День прошел для него быстро. Незаметно надвинулись ранние январские сумерки. Помня совет Тони не зажигать лампу без нее, он отложил книгу и начал терпеливо ожидать, когда послышатся знакомые шаги.

Но никто в этот день не пришел, и только поздно ночью он услышал, как звякнула накладка у двери.

— Кто тут? — шопотом спросил Степан.— Тоня?

— Нет, это я, Наташа.

— Почему вы так поздно? А где Тоня?.. Лампу зажечь?

— Не надо... Все сейчас расскажу.

Наташа, не раздеваясь, села на стул и тихо заплакала.

— Наташенька, дорогая! Что с вами?

— Убили... Ваню и Тоню. Столько людей убили.. Что в городе творится!.. Везде кровь... Как им мама говорила: «Не ходите! Не ходите!»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Несколько дней Важеватов жил как в тумане. Позабыв об осторожности, он весь понедельник ходил с Наташей и Матвеем Никаноровичем по мертвецким, отыскивая тело Ивана. Впрочем, вряд ли кто даже из однополчан узнал бы сейчас Степана. На нем был старый треух, короткая, видавшая виды овчинная шуба и много раз латанные, подшитые валенки. Лихие когда-то усы опустились вниз. Он побледнел, осунулся и походил на одного из многочисленных безработных.

Тоню нашли утром в мертвецкой при Обуховской больнице. Протолкавшись через толпу народа, они сразу увидели ее. Она лежала на полу, в расстегнутом пальто, с непокрытой головой. Правая рука была закинута назад, как будто Тоня хотела отмахнуться от летевшей навстречу смерти. На левой, вытянутой вдоль тела и сжатой в кулак виднелась синяя с белым варежка. Кто-то заботливо положил ей под голову бежевый платок.

Наташа, увидев подругу, не закричала и не заплакала. Она села на цементный пол, положила голову Тони к себе на колени и, расправив на ее лбу неизвестно когда появившуюся морщинку, все повторяла и повторяла:

— Милая ты моя, хорошая! Господи, как же я теперь твоей маме напишу! Она ведь с ума сойдет...

Тело Ивана нашли во вторник в мертвецкой при Александровской больнице для чернорабочих на Фонтанке. Полиция долго не выдавала его, ссылаясь на запрет градоначальника.

Хоронили их вместе. День был ясный, безветренный. К полудню пошел редкий снег. Степан запомнил на всю жизнь: снежинки падали на лоб Тони и не таяли. И еще он запомнил, как мужской голос на кладбище произнес:

— Кровавое воскресенье.

Кто-то добавил:

— И он у нас кровавый, царь.

Женщина вздохнула и, словно сама себе, размышляя, сказала:

— Какой он царь! Был, да весь вышел. Пес. Таких дел натворил!

* * *

Отъезд Степана неожиданно задержался. Человека, обещавшего раздобыть для него фальшивый паспорт, арестовали. Пришлось искать какой-нибудь другой выход. В комнате Тони жить было нельзя: хозяйка квартиры тотчас же после похорон сложила все ее небогатое имущество в подвал и сдала комнату новым квартирантам. Степан переселился к Никитиным.

Как-то вечером сразу постаревшая на добрый десяток лет Дарья Михайловна сказала:

— Дворник сегодня про тебя расспрашивал. «Долго ли,— говорит,— у вас племянник прогостит? Отсылайте его скорее восвояси — строго стало, околоточный надзиратель велел обо всех приезжих докладывать. Пусть племяш убирается подобру-поздорову».

Каждый день, прожитый в столице, грозил Степану опасностью. Через неделю после «Кровавого воскресенья» царь издал указ об учреждении должности петербургского генерал-губернатора, которому фактически передавалась вся власть в столице. Один из пунктов указа

гласил, что генерал-губернатор имеет право высылать из столицы нежелательные элементы. Генерал-губернатором назначили Трепова. Полицейские власти, мстя за свой испуг, вовсю усердствовали перед новым диктатором. Все тюрьмы были переполнены арестованными рабочими и студентами. Людей хватали по одному слову дворников и городовых. С наступлением темноты на улицах в помощь полиции появлялись казачьи патрули. Безмолвно, без музыки и барабана, проходила по Невскому гвардейская пехота.

Вслед за царским указом появилось воззвание Синода. Его принес Степану Михаил:

— Почитай. Довольно любопытно. Долгогривые в политику пустились.

«Труженики земли русской! — читал Важеватов.— Берегитесь ваших ложных советчиков. Они суть насильники и наемники злого врага... Святейший Синод, скорбя о пагубных последствиях в современной жизни русского народа, умоляет всех чад православной церкви: бога бойтесь! Царя чтите! Всякой власти, от бога поставленной, повинуйтесь!»

Возвращая воззвание, Степан равнодушно заметил:

— Ерунда! На меня теперь это не действует. Бога нет, стало быть нет и власти, поставленной от него...

— Верно, Степа. Только не все так думают. Много еще нам попы неприятностей доставят. Немало придется с ними повозиться.

Обо всем, что происходило в городе, Степан узнавал от Наташи и от забегавшего иногда на минутку Михаила. Матвей Никанорович после гибели сына замкнулся. Он приходил домой поздно, обедал и молча садился с трубкой около окна. Потом он шел к Дарье Михайловне на кухню. Они не говорили о сыне, а только о самом обыкновенном — о том, что пора отдать в починку кожаные сапоги, хорошо бы справить Наташе к весне новое пальто. Но однажды Степан, войдя в кухню, увидел такую картину, что у него сразу перехватило дыхание от жалости к старикам. Матвей Никанорович стоял около печки, а Дарья Михайловна, опустив голову на руки, вздрагивала от беззвучных рыданий. На столе лежала готовальня Ивана. Историю этой готовальни Степан знал по неоднократному рассказу Матвея Никаноровича. Покойный сын случайно выиграл ее в лотерее на благотво-

рительном вечере в Обществе попечения о больных и раненых воинах.

В четверг, 20 января, еще одно событие взволновало Петербург. Среди бела дня, в три часа пополудни, рухнул в Фонтанку цепной Египетский мост. Старые, ржавые цепи не выдержали тяжести въехавшего на мост эскадрона конной гвардии. Кроме того, по мосту, как обычно, шли пешеходы, ехали ломовые извозчики.

Трепов в беседе с репортером «Биржевых ведомостей» вскользь упомянул, что будет очень рад, если печать по-настоящему займется провалом моста. Редакторы поняли совет диктатора. Начавшие выходить после десятидневного перерыва газеты накинулись на эту сенсационную новость, словно коршуны на падаль. Слава богу, нашлась интересная тема. Было чем заполнить газетные листы и не вспоминать о недавних кровавых событиях.

«Петербургская газета» проявила необычайную смелость и, захлебываясь от восторга, сообщила о недостойном поведении цензуры. На второй день после провала моста артистка Вяльцева исполнила на концерте в Народном доме свой любимый романс «Мой костер в тумане светит». Как только она пропела фразу: «Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту», чей-то бас крикнул из зала: «На каком?» Из другого конца зала под хохот и аплодисменты публики немедленно донесся ответ: «На Египетском».

Узнав об инциденте, цензор запретил Вяльцевой исполнять романс.

Газета истерично взвизгивала: «Где же свобода? Мы не позволим попирать святое русское искусство!»

Из-за шума, поднятого газетами по поводу моста, почти незаметным прошло другое событие. Царь принял депутацию рабочих. Из тридцати трех депутатов половина были мастера и фабричные пристава. Другая половина состояла из переодетых в штатское городовых. Но даже и этих «депутатов» в присутствии начальника конвоя царя тщательно обшарили самые опытные охранники. Депутатов сначала собрали в Зимнем дворце, проинструктировали, как себя держать, и повезли в Царское Село. Выстроенные в Портретном зале Александровского дворца, они долго ждали царского выхода. Почти час потребовался министру двора Фредериксу и Трепову, чтобы уговорить самодержца показаться своим подданным. Сна-

чала царь ссылался на мигрень, затем, будучи не в силах перебороть страх, откровенно спросил, хорошо ли обыскали депутатов. И только после многократных уверений царь вышел в зал и, поздоровавшись, прочел подготовленную Фредериксом речь

Речь царя была напечатана во всех газетах.

Михаил, рассказывая Степану всю эту историю, не удержался и вслух прочитал заключительные слова царской речи:

— «Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю их вину. Теперь, возвратившись, принимайтесь за дело, и да будет вам бог в помощь!» Видал? Прощает. Слабоумный! Народ не простит.

На другой день Наташа принесла домой газету и швырнула ее Степану:

— Посмотри, как народ обманывают.

В газете был напечатан список 119 человек, убитых и умерших от ран 9 января. Вот это и возмутило Наташу:

— Смотри, Тони нет. У Семеновых убит сын — его тоже нет. Алеша Колесников — помнишь, на рождество к нам приходил — умер от ран, а его тоже в списках нет. Всё врут! Хотят правду скрыть!

* * *

Время шло, а паспорта все не было и не было. Выручила Степана Дарья Михайловна. Ровно через две недели после гибели сына, в воскресенье 23 января, она утром сказала Степану:

— Вчера дворник дал мне последний срок до завтра. Иначе грозится сообщить в полицию. Паспорт я тебе нашла — на вот, посмотри.

Степан взял серенькую книжечку и, открыв ее, прочитал:

— «Никитин Иван Матвеевич...» Это Ванин?

— Да. Ему он теперь не нужен. Когда мы его хоронили, в полиции, видно, запамятовали и не отобрали. Годен он до 1910 года. Лет тебе почти столько же, приметы сходятся... Пользуйся. Будешь ты теперь Иван Никитин.

Дарья Михайловна заплакала и ушла в кухню.

Предложение Дарьи Михайловны все одобрили. Понравилось оно и осторожному Михаилу:

— Правильно! Очень хорошо! Только надо придумать, куда тебе ехать. На родине тебе и носа показывать нельзя — сцапают в ту же секунду.

Наташа робко предложила:

— Пускай едет к Тониной матери, в Иваново-Вознесенск.

— А что это за город? — спросил Степан.

— Недалеко от Москвы,— ответил Михаил.— Фабрик там много, можно будет работу найти. И остановиться на первых порах есть где. Подумай, Степа. Молодец, Наташа, ловко придумала!

— А не покажется подозрительным, почему это я ни с того ни с сего в этот город прикатил?

Михаил улыбнулся:

— Нет. Сейчас столичные власти столько народу отсюда выслали, что никто удивляться твоему появлению не будет. Они, сами не сознавая, с перепугу революции помогают.

— Чем?

— А как же: рассылают агитаторов по всей России. Ну как, едешь?

— Еду.

Последнюю ночь перед отъездом молодые люди почти не спали. Наташа поверила другу большую тайну: Иван и Тоня состояли в социал-демократической рабочей партии, Михаил тоже был членом партии.

— А ты?

— Я пока нет.

— А отец?

— Тоже нет. Но он во всем с Ваней соглашался.

— А с ним нельзя было не соглашаться. Попробуй поспорь с такой правдой, которую он говорил!

Степан помолчал и неожиданно для себя сказал то, о чем подумал, когда Дарья Михайловна подала ему паспорт Ивана:

— Я вот теперь по паспорту Иван Никитин. А мне хочется быть не только по паспорту на Ваню похожим. Паспорт его у меня внутри, у самого сердца...

Уже светало, а они все беседовали. Под конец Степан сказал:

— Не знаю, как матери дать о себе знать. Писать

нельзя — в волостном правлении письмо обязательно прочитают. Прямо ума не приложу.

— Я посоветуюсь с Фрунзе,— ответила Наташа.— У него тоже мать далеко живет, а он, как и ты, нелегальный.

— А кто это Фрунзе?

— Господи! Да это же наш Миша! Это его настоящая фамилия — Фрунзе.

Утром Дарья Михайловна достала из сундука костюм Ивана, его пальто, барашковую шапку и просто сказала:

— Носи на здоровье...

Вечером Степан, крепко расцеловавшись со своими друзьями, уехал в Иваново-Вознесенск.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вернувшись с вокзала, Наташа застала дома Михаила.

— Проводили?

— Уехал... Еле втиснулся в вагон. Очень я за него боялась: на каждом шагу жандармы, полиция. Глазами так и ощупывают каждого.

— Их сейчас везде много... Я к вам, Наташа, с большой просьбой. Прежде чем с Матвеем Никаноровичем разговаривать, я хотел с вами посоветоваться.

— Что случилось, Миша?

— Ничего особенного... Просто мне сегодня негде ночевать. На квартире меня незваные гости ожидают. Зашел к Кручинину, а он отпуск взял и сегодня на родину уехал. Силантьева вчера арестовали.

— Ночуйте у нас. Сейчас я все устрою.

Наташа вышла на кухню. В комнату тотчас же вошел Матвей Никанорович. Он сердито посмотрел на Михаила и укоризненно сказал:

— Я думал, что ты к нам по-свойски относишься, а ты в дипломатию пустился. Куда же тебе идти, как не к нам! Раздевайся, давай ужинать.

— Извините меня, Матвей Никанорович, но и вы и Дарья Михайловна, наверно, очень устали.

— От чего это мы устали?

— От постоянного напряжения. Уж очень беспокойные у вас знакомые — все с чужими паспортами.

— Невелика беда... Семь смертей не бывать, а одной не миновать... Даша! Скоро у вас там? Пойдем, Михаил Васильевич, поедим жареной картошки, да и спать. Тоже, наверно, набегался от шпиков. Они, подлые, как репей цепляются...

* * *

У студента первого курса экономического факультета Санкт-Петербургского политехнического института Михаила Фрунзе были все основания избегать встреч с незваными гостями в голубых мундирах отдельного корпуса жандармов или еще того хуже — с чересчур любопытными сотрудниками охранного отделения.

Вторая встреча, если судить по первой, ничего хорошего не сулила.

Первая встреча запомнилась Фрунзе надолго. Когда его в начале зимы, раненного во время студенческой демонстрации, арестовали и привели на допрос, жандармский ротмистр, увидев, что он сел на стул, зычно гаркнул:

— Встать!

Арестованный даже не моргнул при этом окрике и не встал. Ротмистр вышел из-за стола и, цепко схватив Фрунзе за плечо, крикнул:

— Я кому говорю? Встать!

— Если вы еще раз крикнете, я не скажу вам ни одного слова. Уберите руку.

Почувствовав, что его пациент не из робких, ротмистр сразу сменил грубый тон на радушно-ласковый:

— Извините, дорогой...

Он позвонил и приказал принести чаю.

Через минуту жандарм внес на подносе два стакана чая с лимоном, вазочку с ванильными сухарями. На больших розетках лежал сахар.

— Прошу... Обожаю чай с лимоном! Не напиток, а сущий бальзам. Засидишься здесь до глубокой ночи, выпьешь стаканчик-другой, и усталости как не бывало. Словно поспал...

Фрунзе очень хотелось пить. В доме предварительного заключения на Шпалерной, где он провел ночь, о чае не приходилось и мечтать. А тут с лимоном. И сухари так вкусно пахнут.

— Благодарю. Меня уже угостили.

— Чем, осмелюсь спросить?

Фрунзе мотнул перевязанной рукой.

— Вот что, господин жандарм: вы мне не родня, а я у вас не в гостях, не тратьте на меня время попусту.

Ротмистр, помешивая ложечкой чай, грыз сухарик. Из-под густых усов мелькали белые, крепкие зубы.

— Отчего ж, погостите у нас. Апартаментов у нас хватит. Ну-с, на самом деле, давайте поговорим откровенно.

Перелистывая бумажки в желтой папке с крупными черными буквами «Дело», ротмистр вслух читал:

— Фамилия Фрунзе. Звать Михаил. Отчество Васильевич. Возраст девятнадцать лет. Уроженец города Пишпека, Семиреченской области...— Он поднял глаза на Михаила.— Издалека пожаловали... Так-с. Сын отставного военного фельдшера... Похвально иметь такого родителя... Ах, ваш батюшка уже умер! Прискорбно, но что поделаешь — все там будем. Окончили гимназию в городе Верном с золотой медалью. Тоже похвально. Три сестры и брат. Забот у вашей матушки много, а вы еще подбавляете. Нехорошо. Стыдно. Маркса почитываете... А ну посмотрим, что еще за вами числится.

Ротмистр все листал и листал бумажки, иногда приговаривая:

— Опасные у вас знакомства, молодой человек. Живете в столице всего несколько месяцев, а с пути уже сбились. Ну-с, давайте беседовать по душам.

— Давайте! — весело ответил Фрунзе. Каким-то внутренним чутьем он понял: ротмистр располагает о нем только официальными материалами, полученными в институте Но враг он опасный, и ухо с ним надо держать востро.— Ну что ж, давайте поговорим по душам,— повторил Фрунзе.— Вы будете задавать вопросы...

— ...А вы будете молчать,— перебил офицер.

— Совершенно верно. Не затрудню. Писать вам придется мало.

— Вот я вас и поймал. Бьюсь об заклад, что вы член социал-демократической партии и примыкаете к ее большевистскому крылу.

— Не знаю ни о каких крыльях. Первый раз слышу.

— Бросьте, бросьте! Чувствую. Все ваши коллеги, памятуя указание Второго съезда вашей организации, решительно отказываются от дачи показаний.

— Возможно. Я, как не посвященный в дела этой организации, могу лишь предполагать... Мое влечение — наука.

Около двух часов промучился ротмистр с Фрунзе, но так ничего и не добился. Он то шутил, то грозил каторгой. Заводил даже разговор на философские темы. Под конец допроса ротмистр предался воспоминаниям:

— А ведь мы с вами почти коллеги. Вы в Политехническом, а я когда-то в Горном слушал лекции. На геологическом...

Окончательно развеселившись, Михаил не удержался и сказал:

— А потом вместо поисков редких ископаемых предпочли ковыряться в донесениях ваших агентов! Каждому свое...

Этой издевки ротмистр не выдержал. От его вежливости и любезности не осталось и следа. Он с грохотом отодвинул кресло и, вызвав конвой, скомандовал:

— Убрать! В карцер!

Уходя, Михаил участливо сказал:

— Ах, какой вы вспыльчивый! Поберегите себя. Так можно совсем нервы истрепать, никакой бальзам не поможет, даже с лимоном.

Больше допросов не было. Спустя две недели Фрунзе вызвали в тюремную контору и дали прочесть под расписку постановление, согласно которому он лишался права проживать в столице и высылался на родину.

Всех статей и параграфов, на основании которых он должен был немедленно покинуть Санкт-Петербург, Михаил сразу не упомнил. Но одно сразу врезалось ему в память: отныне он именовался «неблагонадежный».

Перед отправкой на вокзал помощник начальника тюрьмы назидательно заметил:

— Дешево отделались, молодой человек! Советую к нам больше не попадаться. Сгноим!

Михаилу очень хотелось по-мальчишески надерзить длинноногому, похожему на журавля, тюремщику. Так и просилось на язык что-нибудь вроде: «До скорого свидания» или: «Позаботьтесь пораньше проветрить отдельный номер», но он взял себя в руки и сухо сказал:

— Счастливо оставаться...

И вот «неблагонадежный», нарушив все полицейские

запреты, снова в столице. Пока все шло хорошо. А сегодня сразу провалены три квартиры. Арестованы товарищи. Это пахло провокацией.

* * *

Поезд к Бологому, где Степану предстояла пересадка, подходил рано утром. Первую ночь в пути Степан провел беспокойно. Единственная свеча, освещавшая вагон третьего класса, сгорела вскоре после того, как отъехали от Петербурга. Все разговоры между попутчиками велись в темноте. Особенно надоела бесконечными расспросами возвращавшаяся домой, в Ярославль, купеческая вдова Евдокия Петровна Малькова, как она сама себя отрекомендовала на третьей минуте знакомства.

— А как вас зовут?

Степану впервые пришлось называться чужим именем. Он кашлянул и смущенно ответил:

— Иваном.

— А по отчеству?

— Матвеевичем.

Смущение Степана купчихе понравилось, и она начала рассказывать ему, как старому знакомому, все свои дела:

— Сын у меня и дочь. Дочь в Питере, замужем. Муж ее, дай бог ему здоровья, в дворянском собрании буфет держит. А сын холостой, в отцовском заведении — в крендельной мастерской хозяйствует. Все бы ничего — зашибает Каждый год два раза по две недели без просыпу. И всегда в одно и то же время — на вешнего Николу и после успенья. А нынче запил неурочно — под крещенье. Сваха мне отписала: приезжай, гуляет. А выехать не на чем, поезда не ходили. Нет, больше я в Петербург ни ногой! Натерпелась страху. На улицах стреляют, керосином не торгуют, выехать нельзя.

Приняв молчание Степана за сочувствие, купчиха начала называть его сначала Ваней, а затем Иванушкой.

— Будешь, Иванушка, в Ярославле — заходи. Спроси крендельную Мальковой — каждый мальчишка укажет. Если, конечно, сынок ее до пепла не распотрошил.

Наговорившись всласть обо всех своих родных и знакомых, купчиха начала закусывать. Она совала в темноте Степану вареные яйца, копченого сига и все угощала и угощала:

— Попробуй, Иванушка! Это мне зятек из буфета принес. Он все остатки, заботясь о душе своей, в Демидовский дом призрения — знаешь, на Мойке,— за полцены отдает. Не пропадать же добру.

Утром словоохотливая купчиха засыпала Степана вопросами: куда он едет, женат ли, каким делом занят.

Перед Бологим Степан, желая как-нибудь отделаться от надоевшей старушки, вышел в тамбур и с ходу столкнулся лицом к лицу со студентом Игорем Кручининым, с которым однажды встретился у Никитиных на памятной рождественской вечеринке.

Он узнал Кручинина сразу, и первой мыслью у него было: «Что делать? Как себя держать со студентом? Довериться и назвать себя? Или, быть может, лучше не открываться? Кто его знает, этого студента, что он за человек. Правда, с ним познакомил Михаил, но он сам предупреждал Степана перед отъездом об осторожности».

Идти назад означало вызвать ненужные подозрения, и он посторонился, дав студенту дорогу. Кручинин сначала равнодушно прошел мимо Степана, потом обернулся, и в глазах его вспыхнуло удивление:

— Степан Ильич? Я не ошибся?

Степан, стараясь говорить как можно спокойнее, вежливо ответил:

— Простите... Не имею чести быть знакомым.

— Боже мой, какое сходство! Прямо двойник. Рост, глаза... Как говорится, и голос и волос.

— Бывает.

— Ну прямо копия с одного знакомого. Правда, он военный, кавалергард...

— Не служил...

Разговор грозил затянуться. Степана выручил контролер. Посмотрев на билет, он, щелкая никелированными щипцами, строго сказал:

— До Иваново-Вознесенска. В Бологом пересадка,— и протянул руку к Кручинину:— Ваш билет?

Кручинин недовольно ответил:

— Я в первом классе. Иду в буфет...

Контролер взял под козырек и пошел дальше.

В это время в дверь выглянула купчиха и крикнула:

— Иванушка! Куда запропал? До Бологого надо позавтракать.

Степан обрадованно сказал:

— Иду, мамаша, иду...

Кручинин взялся за скобу выходной двери:

— Еще раз прошу извинить. А мы с вами попутчики. Я тоже до Иваново-Вознесенска. Но только я через белокаменную, через Москву.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Раньше всех, как обычно, резал морозный воздух низкий, мощный гудок Дербеневской фабрики. Через полминуты к нему присоединялся хриплый бас с Гандуринской, затем с Витовской. Вскоре гудки ревели во всех концах города: на Грязновской, у Зубкова, у Маракушева.

Этот ежедневный утренний концерт заканчивал резкий, писклявый свисток на химическом заводе Лепешкиных.

Яков Савватеев всегда лежал до последнего гудка. Уж очень не хотелось вставать, идти в холодные сени умываться. Последняя минута отдыха казалась самой необходимой, самой приятной.

Но уже шумят, поднимаются с полу многочисленные квартиранты Анны Семеновны Боевой. Потягиваясь на ходу, потряхивая пышными кудрями, подошел к выходу таскальщик основ с Маракушевской фабрики Аким Клещев. Чиркнул спичкой, осветил старенькие, облезлые ходики:

— Опять, окаянные, на целый час отстали! Вот не услышим как-нибудь гудка — и получите, пожалуйста, расчет: на все про все пятьдесят шесть копеек.

— Как раз на бутылку,— отозвался из переднего угла пробойщик Федор Кормаков.— А на селедку я уж, так и быть, добавлю.

— Вставай, Яша! —кричал из другого угла Роман Баландин.— Не забудь, сегодня моя очередь на печке спать.

Зажгли крохотную пятилинейную лампочку, желтый свет которой еле доставал до края большого березового стола. Запрыгали по стенам причудливые тени. Жильцы, кряхтя и охая, а кто с шуткой и прибауткой собирали с полу и скамеек свою одежду, служившую постелью. Гремел железный заслон — лезли в печку доставать по-

ложенные с вечера для просушки валенки. Только двое, кочегары с Куваевской фабрики Ефим Сучков и Алексей Мартынов, устроившиеся возле подпечья, не шевелились, не поднимали головы из-под полушубка. В отличие от остальных жильцов, они работали ночью и только недавно пришли со смены.

Хочешь не хочешь, а вставать надо. Яков спустил босые ноги с печи, ухватился руками за край полатей и спрыгнул вниз, чуть не сбив хозяйку.

— Не можешь без баловства! — укорила его Анна Семеновна, ставя на стол полуведерный самовар.— Чуть ноги не обварила!

Она сунула руку в карман фартука и достала большую луковицу:

— Роман Петрович, последняя. Купить или сам на базаре будешь?

Баландин отсчитал несколько медяков:

— Купи, Анна Семеновна...

Федор Кормаков, наливая кипяток в жестяную кружку, сказал:

— Много ты денег на лук тратишь, Роман.

— Иначе ничего не выходит. Здоровье дороже. Опять у нас черный анилин пошел. К трем часам в глазах мутнеет. Я вчера на окне курительную бумагу утром положил. Около двенадцати посмотрел — а она вся желтая, как будто ее в охру окунули... Вот чем мы дышим. А лук все-таки противоядие...

— А ты к нам приходи, особенно к вечеру. Вчера Нюша Краснова опять в обморок упала.

Яков взял с полки большой кусок хлеба, густо посыпал его солью и, налив кипятку в кружку, сел за стол рядом с Акимом Клещевым:

— Что с тобой?

— Ничего.

— Почему ничего не ешь?

— Аппетит отшибло... Вчера все съел.

— Бери.

Яков отломил половину куска и подвинул Акиму.

— До получки дотянешь?

— Дотяну...

Не только жильцы этой квартиры, а все рабочие Маракушевской фабрики знали, куда Аким Клещев тратит почти весь свой заработок. Год назад приехала к нему

из деревни невеста. Снял Аким у вдовы на Ямах небольшой приделок, купил немудрую обстановку: кровать, три венских стула, стол и комод. Хватило средств даже на небольшое зеркало и самовар. Справили свадьбу, и зажили молодые супруги Клещевы дружно, хорошо. Вскоре поступила Стеша на ткацкую к Маракушеву. Сметливая и проворная, она быстро освоилась со станками и начала приносить в получку не меньше опытных ткачих. Но, к несчастью, очень не понравилась Стеша старому, вечно полупьяному этажному мастеру Быкову. Начал он ее к себе в каморку вызывать сначала просто так, для внушения, потом с куском товара — посмотреть, нет ли, дескать, какого-нибудь скрытого брака.

Как-то работала Стеша в вечерней смене. Перед самым концом смены подошел к Стеше Быков и приказал немедленно зайти к нему. Стеша не ослушалась, зашла.

— Вот что, Клещева,— сурово начал мастер:— велено тебя уволить — плохо работаешь.

Заметив, как побледнела Стеша, мастер заговорил более дружелюбно:

— Конечно, можно поговорить с заведующим, может и оставит. Только при одном условии: будешь после работы ко мне в каморку заходить и докладывать, что рабочие про меня, про управляющего и про хозяина говорят...

— А если я не соглашусь? — обозлившись спросила Стеша.— Если я не захочу про товарок языком трепать, тогда что? Уволишь?

— Уволю!

Стеша, не выдержав, схватила со стола челнок и бросила его прямо в голову мастеру:

— Увольняй, старый бес!..

Мастер взвыл на весь этаж. Как раз в это время остановили паровую, стали станки, и крики мастера разнеслись по всей фабрике.

Через неделю Стешу судили за нападение на административное лицо. Свидетелем Быков выставил своего помощника Мишку Осинкина. Осинкин за бутылку водки мог продать кого угодно. Второй свидетель тоже был не лучше — старший браковщик Мартын Кропачев, самый преданный хозяйский холуй. Присудили Стешу к трем годам тюрьмы и отправили куда-то за Вятку.

Все, что было дома — кровать, комод, самовар, зер-

кало,— все продал Аким, чтобы уплатить адвокату. Как только Стешу отправили, он перебрался в общую комнату, к Анне Семеновне. Жил, как схимник,— отказывал себе во всем: не курил, не пил, ел один черный хлеб, да и того не вдоволь. Все, что мог выкроить, посылал жене.

Аким и Яков вместе вышли из дому. Было еще совсем темно. Во всех домишках светились огни. По тропинкам меж высоких сугробов молча и торопливо шли люди. Скрипел под ногами снег. Сияли в вышине равнодушные звезды.

* * *

Красковарка, где работал Яков, напоминала гигантскую лабораторию средневекового алхимика. Огромные чаны, бочки и кадушки хаотически громоздились под низким сводчатым потолком. Лежали окрашенные во все цвета похожие на весла деревянные мешалки. На грязных стенах висели решета, сита. Повсюду на полу стояли плошки, горшки и около них разбросаны большие, деревянные ковши. Воздух в красковарке был тяжелый; едкий запах сернистого натра и хлорной извести, казалось, въелся даже в оконные, много лет не мытые, позеленевшие стекла.

К полудню в красковарке становилось жарко, как в бане. По полу бежали струи грязной воды. Среди ядовитых испарений, клубами вырывавшихся из бочек, копошились полуголые люди. Скрипели блоки, гремело железо ведер, и то и дело слышались выкрики подмастерьев: «Сыпь крахмал!», «Добавь загустки!», «Растирай лучше!»

В широкую низкую дверь вбегали из печатного цеха промокшие от пота таскальщики красок и коротко бросали: «На пятую машину три ковша бели по кубу».

В углу за конторкой стоял мастер, всегда угрюмый, злой Макар Степаныч Вьюнков. Было от чего испортиться характеру мастера. Ни один рабочий не выдерживал в красковарке больше трех лет. Здоровый, краснощекий человек через два-три года становился желто-зеленым, начинал харкать кровью. Сюда нанимались только из крайней нужды, а Вьюнков провел в этом аду почти тридцать лет. Его старой, но так и не сбывшейся мечтой было попасть в «секретную». Святая святых каждой ситценабивной фабрики, так называемая «секретная», находилась на втором этаже. В ней выписанный хозяином из

Франции химик Андре Кот, или попросту Андрей Иванович Котов, разрабатывал рецепты для окрашивания и печатания ситцев и сатинов. Французу платили десять тысяч рублей в год, а старый мастер, переделывавший все рецепты по-своему, получал в месяц пятьдесят рублей и по месячному окладу наградных к пасхе, рождеству и ко дню именин хозяина.

Был, правда, у мастера еще один тайный доход. Два раза в год — 1 января и 1 июня — заходил к нему Павел Семенович Полубояринов, представитель германской анилино-красочной фирмы, и вручал пакет «за усердие». В пакете лежала сторублевая «катенька». Усердие заключалось в том, что мастер никогда не разделывал краски меньше ушата. В ушат входило не меньше десяти ковшей, а в каждый ковш — самое малое три фунта готовой, разведенной краски. Допустим, нужно было допечатать несколько кусков товара. Требовалось для этого два-три ковша краски, а мастер готовил ушат. Остаток краски, как правило, под конец смены уходил в канаву. Чем больше тратил мастер красок, тем больше покупали их у фирмы. Вот за это усердие и получал Макар Степаныч наградные. И все же никак не мог примириться, что не он, а этот бесов француз Кот хозяйничает в «секретной».

...Яков вошел в красковарку в тот самый миг, когда заревел второй двойной гудок, означавший начало смены. Войдя в крохотную раздевалку, где уже толпился народ, он снял пальто, пиджак и рубаху, бережно положил в ящик валенки и надел опорки. Работать в хорошей одежде было нельзя: от кислот и каустика портилось ее столько, что не хватило бы никакого заработка. Хозяин выдавал опорки, прорезиненные фартуки и перчатки.

Яков вместе с другими подошел к конторке мастера, ожидая приказаний. Макар Степаныч, не отрываясь от толстой книги с образцами тканей, буркнул:

— Сейчас скажу, что делать... Только тебя, Савватеев, это не касается. Тобой табельщик интересовался. Поднимись.

Яков оделся и поднялся на второй этаж. Разговор был короткий. Старший табельщик, даже не посмотрев на Якова, протянул ему клочок бумаги:

— Возьми ярлык... Иди в контору — получи расчет.

— Может, скажешь, за что увольняют?

— Сам не хуже моего понимаешь. Молись своему ангелу-хранителю: дешево отделался.

Объяснять, действительно, было нечего. Яков отлично знал, за что его увольняют с фабрики. Позавчера он, явившись на фабрику до второго гудка, разложил в печатном, плюсовочном и других отделениях прокламации, полученные накануне от Федора Афанасьевича, год назад привлекшего Якова в Российскую социал-демократическую рабочую партию. В прокламации, напечатанной на гектографе, говорилось:

«Товарищи рабочие! Петербургские рабочие пролили свою кровь за освобождение рабочего класса. Неужели вы, товарищи, будете молчать в такое время!»

Дальше в прокламации говорилось, что рабочим надо объединяться для борьбы с царем вокруг социал-демократической партии.

Кто-то, очевидно, заметил, как Яков раскладывал прокламации, и предупредил администрацию. Как из-под земли выросли фабричные приставы, прибежали сменные табельщики. Ко второму гудку все прокламации были собраны и отнесены в главную контору. К Якову, стоявшему в курилке, подошел в сопровождении фабричных приставов постоянно торчавший в проходной городовой Нарбеков:

— Что-то ты, братец, сегодня больно заботлив, рано явился.

— Будильник подвел: рано прозвонил.

— А ну, выворачивай карманы!

— Пожалуйста...

Обыскав Якова и не найдя при нем ничего предосудительного, городовой ушел, погрозив Якову огромным волосатым кулаком:

— Я еще доберусь до тебя, красавец!

А вот сегодня пожалуйста — расчет...

Прямо с фабрики Яков хотел пойти к Балашову, но, оглянувшись, решил, что делать этого ни в коем случае нельзя: на углу он заметил небольшого роста человека в черном пальто и мерлушковой шапке. Яков вспомнил: этот субъект стоял тут вчера, а затем, как будто прогуливаясь, провожал его до самого дома.

«Ах ты, пес! — усмехнулся Яков и пошел прямо на него.— Ничего, я тебя, гончего, сейчас повожу. Побегаешь ты у меня, косолапый!»

Он подошел к шпику вплотную и громко сказал:

— Покурить не найдется?

— Не курящий,— дохнул на него водочным перегаром шпик и отвернулся.

Но Яков успел разглядеть висячие усы, придававшие лицу унылый вид, и желтые, как у кошки, глаза.

Яков быстро зашагал по направлению к дому. Шпик, потоптавшись на месте, двинулся за ним. Коротенькие его ножки смешно семенили под длинным пальто. Яков прибавил шагу, потом побежал. Побежал и шпик. Но он не предвидел, какой конфуз его ожидает. Яков, намного опередив своего преследователя, свернул за угол, перевел дыхание и спокойным шагом пошел обратно. Коротышка вынырнул из-за угла и с размаху налетел на Якова.

— Ты что толкаешься? — сурово крикнул Яков.— Налил себе зенки! Я тебя...

— Виноват...

Яков оглянулся. Улица была пуста. Городовых, к счастью, близко не было.

— Виноватых бьют,— насмешливо произнес Яков и со всей силы ударил кулаком прямо в рыжие усы.

Шпик завизжал и выронил на снег свисток.

— Не ори! И смотри больше за мной не броди! Убью! Ну, лети, некурящий!

Шпик, не оглядываясь, скрылся за углом.

Подойдя к дому, Яков обил веником валенки и открыл дверь. В сенях на скамейке сидел неизвестный человек. Увидев Якова, он встал, и как ни был высок и плечист Савватеев, все же он доходил незнакомцу только по плечо. Великан снял шапку:

— Здравствуйте. Я Анну Семеновну поджидаю. Она, говорят, на базаре и скоро придет.

— Проходите в комнату,— пригласил Яков.— Только нагибайтесь ниже, а то синяков наварите. Наши двери не для вас. Вы на квартиру вставать или родственник?

— Как вам сказать... Я из Петербурга.

— Из самого Питера! Давно ли?

— Только сейчас с поезда.

— Уж не от Тони ли?

— Не совсем... но вроде.

— Как она там?

— А разве Анна Семеновна ничего не знает?

— Нет, а что?
— Убили ее.
— Тоню убили? Когда?
— Девятого...
— Она же недавно матери письмо прислала! Я сам ей читал. Я всегда ей все письма от Тони читал. Она замуж собиралась за своего Ивана. А вы кто будете?
— Я? Я и буду этот самый Иван. Иван Матвеевич Никитин.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В низенькой, темной комнатушке за березовым, скрипучим от ветхости столом сидели Афанасьев и Балашов. Единственное крохотное окно было плотно занавешено лоскутным одеялом. На столе стояли самовар, чашки, фунт сушек и пустая бутылка из-под водки. Со стороны посмотреть — самая обычная картина: собрались приятели, выпили по маленькой, а сейчас беседуют о своих фабричных делах и пьют чай с сушками. Кому придет в голову, что бутылка поставлена на стол пустой, для отвода глаз, на случай внезапного визита полицеймейстера Кожеловского или его усердных помощников...

Оба они были членами Иваново-Вознесенской группы Северного комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Кроме них, в группу, являвшуюся руководящим центром для всех большевиков Иваново-Вознесенска, входили Федор Самойлов, Иван Уткин, Николай Жиделев и другие. В конспиративных целях не только члены группы, но и многие рядовые члены партии носили вторые, подпольные, имена. Семена Балашова называли «Странником», двадцатитрехлетнего Федора Самойлова — «Архипычем», его ровесника Ивана Уткина сначала называли «Дедушкой», а потом стали звать «Станко». Под этими подпольными именами большевики фигурировали в партийных документах, переписке, на собраниях и массовках. Иногда полиция узнавала о тайной сходке, о выступлении «Архипыча» или «Станко». Случалось, попадала в жандармские руки переписка с упоминанием «Северного» или «Рядового». Кто были эти люди, какие у них настоящие имена и фамилии, полиция разгадать не могла. Иногда мужчина носил женское имя, а женщина — мужское. Член пар-

тии Клавдия Ивановна Корякина долгое время называлась «Мишкой», а бородатый, высокий токарь Роман Горелов «Надей».

Члены группы Северного комитета Балашов, Самойлов, Уткин и другие работали на фабриках. Все свои партийные обязанности, сопряженные с постоянным риском, огромной опасностью, они вели в часы, свободные от фабричного труда. А это было нелегко — смены тянулись двенадцать-тринадцать часов. И только один Федор Афанасьев, «Отец», как ответственный организатор группы, занимался исключительно партийными делами.

Федору Афанасьевичу шел сорок шестой год. Из-за большой, окладистой, начинающей седеть бороды и очков в медной оправе казалось, что ему гораздо больше. Прежде чем попасть в Иваново-Вознесенск, он жил во многих городах: в Петербурге, Туле, Москве, Одессе, Риге, Шуе. Из одних его высылала полиция, из других он уезжал сам, не дожидаясь очередной высылки. Но где бы он ни находился, вскоре около него собирался революционный кружок рабочих. Несмотря на чрезвычайные трудности, Федор Афанасьевич всегда, словно из-под земли, находил нелегальную литературу, организовывал подпольные типографии. Никакие угрозы, преследования жандармов, ссылки, тюремное заключение не могли свернуть его с пути, на который он стал еще в начале 90-х годов XIX века. По всей России разошлась изданная группой «Освобождение труда» его речь, произнесенная в 1891 году на первом, тайном, праздновании петербургскими рабочими Первого мая.

Крестьянин по происхождению, он с детских лет стал рабочим. Полиция дважды пыталась упрятать его в глухую деревню Язвицы, Редкинской волости, Ямбургского уезда, откуда он был родом. Казалось, в небольшой деревушке, под бдительным надзором станового, урядника, старосты и попа, невозможно было вести какую-либо революционную пропаганду. Но и в заброшенных Язвищах, без всякой связи с внешним миром, без средств к существованию, Федор Афанасьевич не пал духом, а организовал кружок из крестьян... Потом при первой же возможности он самовольно уехал в город.

Петербургские Кресты, московская Таганка были для него понятиями далеко не отвлеченными. В этих и других тюрьмах он хорошо знал и общие и одиночные ка-

меры. При желании он мог хорошо рассказать и о знаменитом крестовском карцере: он был знаком ему не по наслышке. Федор Афанасьевич ничем не походил на заправского оратора. Голос у него был негромкий, глуховатый, но когда он выступал в кружке или на тайной сходке, сразу становилось тихо, как в классе на очень интересном уроке.

В этом скромном, простом человеке счастливо соединились железная воля, гибкий ум и ничем не поколебимая уверенность в том, что будущее — за рабочим классом. Эта уверенность покоилась на глубоких знаниях. Федор Афанасьевич великолепно знал все переведенные к тому времени на русский язык труды Маркса. «Что делать?» и другие ленинские работы помогли Федору Афанасьевичу стать на правильный революционный путь. Вся его жизнь принадлежала партии. На личную жизнь у него не хватило времени, он даже не успел обзавестись семьей. И хотя своей семьи у него не было, товарищи по партии, рабочие, дали ему подпольное партийное имя «Отец».

...«Отец», разглаживая рукой небольшой листок бумаги, говорил:

— Вот и все наши капиталы. За январь партийных взносов поступило семьдесят два рубля шестьдесят одна копейка. Ушло сорок семь рублей четырнадцать копеек. Остаток — двадцать пять рублей сорок семь копеек. Типографию нам на эти деньги не поднять. Нужен станок, шрифты, краска. Никто нам такого подарка не сделает.

— Будем, Афанасьевич, пока обходиться гектографом.

— Придется... Но и тут одна заковыка есть. Вчера Архипыч сказывал — кончается бумага. Покупать бумагу у Бобкова больше нельзя. Прошлый раз Архипыч взял у него обычную порцию, уложил в корзину и понес. Только отошел от магазина, оглянулся и видит, что за ним сынишка Бобкова идет. Папаша, видно, послал посмотреть, куда покупатель бумагу понес. Придется где-нибудь в другом месте доставать. А бумага нам сейчас очень нужна. Надо народ на новую стачку поднимать.

— Достанем. Попытаюсь в Шуе, через Павла Гусева. У них там новый писчебумажный магазин открылся — «Наука». Хозяин, говорят, из либеральных.

— Поаккуратнее надо с такими либералами. Сегодня он тебя товарищем кличет, а завтра с доносом побежит.

«Отец» аккуратно сложил листок бумаги, подошел к печке, стал на колени и вынул из плинтуса гвоздь. Отодвинув плинтус, «Отец» вынул два нижних кирпича, засунул в дыру руку по локоть и осторожно достал широкую, плоскую железную коробку. В этой коробке, которую Семен шутливо называл сейфом, «Отец» хранил партийные документы и деньги.

Тайничок под печкой сделал ему Семен, богатый на разные конспиративные выдумки. Было у «Отца» еще одно секретное хранилище. На другом конце города, в сарае у своей сестры, вырыл Семен глубокую яму, обложил досками и сколотил плотную крышку. На крышку сверху насыпáлась земля и для большей безопасности летом ставилась бочка с дождевой водой, а зимой громоздились дрова. В этом хранилище «Отец» держал нелегальную литературу, несколько револьверов, пачки патронов и небольшой мешочек со шрифтом.

«Отец» открыл коробку и вынул из нее несколько листков. Балашов спросил:

— Вчера не успел?

— Немного осталось.

Речь шла об отчете Центральному Комитету. Согласно уставу, принятому Вторым съездом партии, отчет надо было посылать не реже одного раза в две недели. Его составление требовало много времени, так как отправлять приходилось только в зашифрованном виде.

Но не только «Отец» в Иваново-Вознесенске, а большинство руководителей партийных организаций в Нижнем Новгороде, Ярославле, Перми, Туле, Харькове, Баку, Красноярске — везде, где были большевики,— не жалели ни времени, ни сил на составление отчетов. Они знали, что их отчеты попадут к Ленину и как бы невидимыми нитями свяжут его с ними. Они хорошо знали и о том, как важно знать Ленину обо всем, что происходит в партии. Отчет, как правило, вписывался невидимыми чернилами между строками обычного, житейского письма с рассказом о разных невинных семейных новостях. На этот раз «Отец» в отчете должен был сообщить, что за январь партийная организация увеличилась на двадцать шесть человек! Надо было не забыть упомянуть, что из этих двадцати шести человек двадцать три приняты в

партию во второй половине месяца, после 9 января.

Отчеты не всегда доходили по назначению. Иногда они с почты или при аресте агента Центрального Комитета, везшего их за границу, попадали в охранное отделение и нерасшифрованными складывались в жандармские сейфы. Но большинство отчетов, миновав все преграды, счастливо избежав искусно расставленных полицейских и цензурных ловушек, приходили к Владимиру Ильичу Ленину. «Отец» знал, как радовался Владимир Ильич росту партии и особенно тому, что в партию шли рабочие, поэтому он с удовольствием зашифровал: «Из 26 принятых в партию в январе все 26 — рабочие-текстильщики».

Закончив отчет, «Отец» сказал Балашову:

— Давай поговорим.

И они начали обсуждать, как лучше написать заметку в газету «Вперед», первый номер которой они недавно получили. Прочитав эту новую газету, «Отец», Балашов, Самойлов и другие большевики поняли, что она идет по пути старой «Искры» и что именно она, эта газета, по существу является центральным органом партии. С особенным вниманием «Отец» прочитал передовую статью «Самодержавие и пролетариат». По тому, как была написана статья, по ее языку, точным и ясным формулировкам, раскрывающим глубокий смысл происходящих событий, «Отец» понял — писал ее Ленин.

В статье «Пора кончить», также напечатанной в первом номере, «Отцу» очень пришлись по душе заключительные слова о том, что большевики делали все возможные уступки, чтобы работать в одной партии с меньшевиками. Но меньшевики в ответ начали еще большую дезорганизационную работу.

«Мы должны,— говорилось в статье,— в отличие от «меньшевиков», которые действуют тайком, прячась от партии, заявить открыто и подтвердить на деле, что партия порывает с этими господами все и всяческие отношения».

Весь первый номер «Вперед», словно угадав мысли «Отца», дал ему ясные, определенные ответы на вопросы, которые его мучили и на которые он сам не мог ответить. Такое же чувство, прочитав газету, испытывал и Балашов. Оба они с нетерпением ждали следующих но-

меров, а они всё не поступали. Путь от Женевы до Иваново-Вознесенска был долгий и опасный.

— С чего начнем? — спросил Балашов.

— Я думаю, надо рассказать о семнадцатом января.

— А не поздно?

— Нет. Может быть, в газету и не попадет, а товарищ Ленин должен знать, как наши рабочие ответили на «Кровавое воскресенье».

— Ну что ж, давай начнем с этого...

О неудачной забастовке «Отцу» и Балашову писать было нелегко.

Забастовку, начатую на двух заводах, жестоко подавили полицейские власти, она угасла, так и не превратившись в общегородскую.

Народная молва, для которой не обязательны ни телеграф, ни телефон, принесла в Иваново-Вознесенск весть о кровавом событии в Петербурге на вторые сутки. Столичные газеты не выходили, да если бы они и печатались, правды в них все равно было бы немного.

В понедельник 10 января везде — на фабриках, в казармах, на базаре—люди говорили только об одном: как по приказу царя расстреляли тысячи людей. Во вторник 11 января на многих фабриках раздавались крики: «А чего мы смотрим? В Питере бастуют, а мы чего ждем?»

В среду, когда несколько человек, прибывших из Петербурга, распространили подробности о расстреле и столичной забастовке, напряжение в городе достигло высшего предела. Надо было начинать забастовку солидарности с питерскими рабочими. И вот тут руководители городского партийного центра допустили ошибку. Совещание фабричных и заводских организаторов по поводу забастовки происходило днем 16 января, а забастовку решили начать утром 17-го. 16 января было воскресенье. Фабрики не работали, поэтому времени для оповещения всех рабочих о целях забастовки оказалось мало. Не приняли мер и к охране участников забастовки, к защите их от казаков.

Утром 17 января небольшая группа рабочих-агитаторов пришла на чугунолитейный завод Анонимного общества. Уговорив литейщиков выйти на улицу, агитаторы вместе с ними направились к Механическому заводу. Около заводских ворот их встретил большой отряд по-

лиции и казаков. Полицеймейстер Кожеловский, как всегда отвратительно ругаясь, без всякого предупреждения скомандовал: «А ну-ка, угостим их!» И началось избиение. Арестованных рабочих отводили в полицию и там во дворе, стащив с них одежду, били нагайками, рубили шашками.

Балашов читал заметку, заглядывая через плечо «Отца».

— Надо добавить, Афанасьевич, о том, что, несмотря на эти побои, наши рабочие мысли о всеобщей забастовке не оставили...

— Обязательно.

В окно стукнули два раза. Семен тотчас же вышел в сени. «Отец» положил листы бумаги в коробку, спрятал ее в тайничок, вставил кирпичи, придвинул плинтус и быстро встал, отряхнув колени.

В комнату вошли Семен и запорошенный снегом Яков.

«Отец», посмотрев на Якова, спросил:

— Уволили?

— Прогнали.

— В полицию не вызывали?

— Нет. Наблюдатель привязался, когда с фабрики вышел. А потом отстал... Шел я быстро, он и выдохся. Меня теперь здесь ни на одну фабрику не возьмут. Придется ехать куда-нибудь.

Балашов спокойно произнес:

— Уезжать тебе никуда не надо, ты и здесь очень нужен. А работу мы тебе найдем.

— Какую?

— Хорошую, Яша. Очень хорошую. Вчера мне машинист Ветров говорил — кочегар ему на паровоз нужен.

— Сроду не ездил!

— Ничего, привыкнешь.

Яков вопросительно посмотрел на «Отца»:

— Федор Афанасьевич, а можно Ветрову кого-нибудь другого в кочегары предложить?

— Кого?

— Познакомился я с одним человеком. Он только сегодня из Петербурга приехал...

— Из Петербурга?

— Да. Говорит, что на Путиловском работал. Рас-

сказывает, будто сам сюда прикатил, по доброй воле. А по-моему, бежал он из столицы.

«Отец» и Балашов переглянулись.

— Бежал? — спросил «Отец».— А почему ты думаешь, что он бежал?

— По всему видно. А сюда он попал очень просто. У моей квартирной хозяйки дочь в Питере была. Ее девятого января убили, а он ее жених... Надо помочь парню. Ростом он,— Яков поднял руку к потолку,— коломенская верста. Один за двоих сработает.

— Нет, Яша, в кочегары тебе надо определяться. Ветров товарные поезда в Новки, Кинешму и Александров водит, а иногда и в Москву. Ты на этом паровозе очень большую нам пользу принесешь. И на паровозе и в депо. Одному Ветрову там тяжело. Беглецу питерскому мы в другой раз поможем. Только сначала Семен с ним познакомится и побеседует... Иди завтра к Ветрову чуть свет.

В окно снова стукнули два раза. Семен, накинув на плечи тужурку, пошел открыть дверь. «Отец» и Яков услышали в сенях голос Семена:

— Вот это новость! Давай скорее, давай! Входи.

В комнату, весь в снегу, вошел Евлампий Дунаев. Он торопливо достал из внутреннего кармана пальто газету и подал ее «Отцу»:

— Читай! Кто-то в Москве царского дядю, великого князя Сергея Александровича, раньше срока на тот свет отправил...

«Отец», подвинув лампу поближе, прибавил огня и, быстро прочитав сообщение о взрыве в Кремле, передал газету Семену и задумчиво отошел к печке. Дунаев торопливо рассказывал:

— Иду я мимо станции. Смотрю — народ. Как раз поезд московский подошел. Все к почтовому вагону так и бросились. Максим Галкин, тот, что газетами торгует, идет с пачками, а народ за ним бежит. Потом старший приказчик купца Куражова начал газету вслух читать. Здорово князя угостили — куда голова, куда ноги...

«Отец» прервал его:

— Кто князя прикончил, пока не сообщают. Одно скажу: сделал это человек смелый и решительный. Но пользы народу от этого убийства мало...

— Как — мало? — перебил Дунаев.— Да знаешь ли,

кто он был? Московский генерал-губернатор! Первый царский советник! Зверь почище Трепова.

— Все знаю. И все же пользы от этого убийства мало. Царь другого советника найдет, и другой зверь приедет Москвой командовать. Еще хлеще. А народу в тюрьмы посажают тысячи.

— Выходит, что от этого больше вреда, чем пользы?

— Пожалуй, так... Одиночными выстрелами царскую власть не сломить.

— Бить их надо! Стрелять, как бешеных псов!..

Дунаев, нервно скручивая цыгарку, торопливо заговорил. «Отец» и Балашов слушали его, не перебивая. Было время, когда «Отец», выслушав горячую речь Дунаева, вступал с ним в спор. Позднее «Отец» понял причину этих вспышек, и самое главное, что в такие минуты не надо Евлампию перечить, пусть выговорит все, что у него наболело.

Уж очень нерадостное выпало Евлампию детство. Ему не было и трех лет, как умерла мать, и он остался на попечении сурового отца, который, пожалуй, ни одного дня не был трезвым.

Как-то зимним вечером пьяный и чем-то особенно разозленный родитель затащил семилетнего сына на речку и, столкнув в прорубь, пытался засунуть под лед. К счастью Евлампия, его крики услышали прохожие. Отец, как ни был пьян, увидев невольных свидетелей своего преступления, бросил сына и побежал вдоль реки. Люди, подбежав к месту происшествия, увидели страшную картину: в ледяной воде барахтался полуголый ребенок, судорожно хватаясь ручонками за острые, скользкие края проруби. Евлампия спасли. Отца догнали и привели в дом, где лежал закутанный в тулуп Евлампий.

— Ты что же, поганец, родного сына хотел утопить?

Сначала отец начал болтать что-то уж совсем несуразное: «Жить он мне мешает. Корми его, пои, а толку никакого». Потом, окончательно протрезвев, повалился в ноги, плакал, бил себя в грудь, обвинял во всем зеленого чорта, который его попутал.

С того дня Евлампий начал жить самостоятельно, старательно избегая даже случайной, короткой встречи с отцом. Кормился он тем, что подавали добрые люди;

ночевал где придется: летом чаще всего на улице, а зимой у кого-нибудь на печке. Через год его определили в подпаски. Несколько лет он помогал пасти крестьянское стадо, переходя из одной деревни в другую. Старый пастух из отставных солдат научил Евлампия читать. Писать он и сам не умел. Это искусство Евлампий постиг только в двадцатилетнем возрасте.

Зимой, когда в деревне делать было нечего, Евлампий «подавался» в город искать случайного заработка.

И в деревне и в городе Дунаев видел одно и то же: хорошо, сытно живут, покупают нарядную одежду и обувь только немногие — лавочники, чиновники. Большинство рабочих едва-едва отличались от нищих.

Как-то Евлампий устроился к богатому лавочнику дворником. Его возмутила праздная жизнь купеческой семьи. Особенно он возненавидел хозяйского сына Герасима, великовозрастного бездельника, выгнанного за дурное поведение из гимназии и реального училища. Однажды Евлампий, внося ящики с товаром, увидел, как Герасим тайком взял из кассы десять рублей. Вечером лавочник, подсчитывая выручку, хватился десятки и начал допрашивать приказчиков. Больше всех досталось ученику, двенадцатилетнему Коле. Хозяин, запустив ему в волосы большую ладонь, долго трепал, приговаривая:

— Говори, кто к кассе подходил?

Евлампий схватил купца за руку:

— Ты сына спроси, Гераську, кто вор... Он лучше знает.

Вечером приказчики слышали, как лавочник «учил» сына. Раздавались глухие удары и крики пьяного Герасима:

— Ой, папаня! Ой, больше не буду!

Часом позже опухший Герасим появился во дворе и набросился на Евлампия:

— Ябеда! Фискал несчастный!

Утром Евлампий пришел к хозяину и, не глядя на него, угрюмо попросил расчета.

— Что не живется?

— Боюсь.

— Чего боишься?

— Убить могу.

— Кого, дурак?

— Сынка вашего... Уж очень он у вас паршивый.

Вчера я сдержался, а может случиться, не выдержу и пришибу...

Лавочник торопливо выдал Евлампию расчет. Через два дня Дунаеву повезло — его приняли на ткацкую фабрику Гарелина учеником проборщика.

Началась новая жизнь. Евлампий быстро вошел в круг фабричных интересов. Через год он уже был активным участником стачки, а вскоре отбывал наказание в тюрьме за чтение нелегальной литературы. По выходе из тюрьмы полиция несколько лет гоняла его из города в город. Он жил то в Царицыне, то в Саратове, но всегда под особым надзором полиции. Год он провел в одиночной камере в «Крестах». И только в 1902 году Евлампий смог приехать в родной Иваново-Вознесенск.

В 1905 году ему было двадцать восемь лет. Недостаток знаний иногда мешал ему правильно понимать то, что наблюдал его острый ум. Но товарищи по партии, рабочие, любили Дунаева за смелость, правдивость и дисциплинированность. Случалось, он не соглашался с большинством. Но каждое решение группы, принятое большинством голосов, являлось для него законом. После знакомства с «Отцом» Дунаев очень изменился. Характер у него сделался ровнее, спокойнее. Совсем поиному он стал оценивать людей и события. Оратор он был исключительный. Его простая, но яркая, образная речь потрясала сердца слушателей. Когда он говорил о царе, фабрикантах и полиции, его темные глаза горели, как свечи, высокий голос звенел. В каждом слове слышалась упорная, многолетняя ненависть.

...Подождав, пока Дунаев кончит свою пылкую речь в защиту убийцы великого князя, «Отец» спокойно сказал:

— На вот, почитай...— Он подал Евлампию «Вперед» и ткнул пальцем в подчеркнутые строки: — Читай вслух!

— Что это?

— Ты читай, читай...

Дунаев начал читать:

— «...у нас индивидуальные политические убийства не имеют ничего общего с насильственными действиями народной революции... из революционной интеллигенции особенно увлекаются террором (надолго или на минуту)

именно те, кто не верит в жизненность и силу пролетариата и пролетарской классовой борьбы».

— Кто это написал? — спросил Дунаев.

— Ленин, — ответил «Отец». — Над этими словами тебе, Евлампий, надо хорошенько подумать...

Дунаев молча курил, пуская большие клубы дыма.

В окно тревожно забарабанили. Балашов выскочил в сени, оставив дверь открытой. Мальчишеский голос тревожно сообщил:

— Полиция идет! Сначала к Рогачевым во двор зашли, а сейчас, наверно, к вам направляются...

— Спасибо, парень! Беги.

Балашов вошел в комнату:

— Слышали? Иди, Афанасьевич. И ты, Евлампий, ступай. Я их один приму. Яша, одевайся. Через огород иди — выйдешь к железной дороге.

«Отец» неторопливо спрятал газету в нагрудный карман и, повязывая шею шарфом, бросил Дунаеву:

— Вот она, твоя «польза»! Заработала...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Трудно было Важеватову принести тяжкую весть Анне Семеновне. Если бы не обстоятельства, может быть и обошел бы он ее домик стороной. Старушка, узнав о смерти дочери, несколько минут молча смотрела на Степана, словно не веря свалившемуся на нее горю. Поверив, она, бледная, растерянная, ушла в чулан и долго сквозь слезы разговаривала там сама с собой:

— Господи, Тонечка, как же я теперь без тебя жить буду?

К полудню она вышла из чулана. На голове вместо белого ситцевого платка темнела шерстяная косынка. Анна Семеновна принялась за свои обычные дела: затопила печь, слазила в подполье за картошкой и капустой. Она старалась спокойно разговаривать со своим гостем, но Степан видел: руки у нее дрожали. Потом попросила рассказать, как погибла Тоня, где и когда ее похоронили.

Степан после так и не мог разобраться, отчего он растерялся: от жалости к Анне Семеновне или с непривычки говорить неправду. Но сказанного было уж не вернуть.

— Мы их в одну могилу положили. И Тоню и Ваню.

— Какого Ваню?

Он понял, что проговорился, и смутился.

— Какого Ваню? — переспросила Анна Семеновна.— А ты кто же такой? Чего-то ты, парень, путаешь!

Степану ничего не оставалось, как рассказать ей всю правду. Утаил он только свою настоящую фамилию и то, что служил в гвардии и был арестован. Выслушав его, Анна Семеновна сказала:

— Вот что, дорогой: ты как был для меня Ваней, так им и останешься. Не мое старушечье дело вникать, почему ты из Петербурга уехал. В одно ухо влетело, а в другое вылетело. Но здесь тебе жить нельзя. У меня что ни жилец, то обязательно у полиции на подозрении. Они все здешние, а ты приезжий, и в этой компании тебе быть не с руки: схватят быстро. Я тебя завтра сведу на Ямы. Живет там сестра моего покойного мужа и недорого сдает приделок. Она тебя с удовольствием пустит.

На другой день утром Анна Семеновна повела своего гостя в поселок Ямы.

Когда-то вместо города Иваново-Вознесенска было село Иваново и посад Вознесенский, разделенные несудоходной речкой Уводью. Иваново издавна, с петровских времен, слыло богатым торгово-промышленным селом. Выделка льняных тканей, ручная их набойка и окрашивание почти три столетия составляли основное занятие местных жителей. Не было, пожалуй, ни одного дома, в котором бы не стучал один, а то и три ручных ткацких станка. Летом берега Уводи были покрыты холстами. Окропленные речной водой, они под солнцем отбеливались до снеговой белизны. По всей России шли ивановские ткани: в деревенские хаты где-нибудь в южном Поволжье, в купеческие хоромы Нижнего Новгорода, в дворянские усадьбы. Более высокие сорта, нарядные, узорчатые скатерти, шли и в царские дворцы.

Особенно бурно начала здесь развиваться промышленность после войны 1812 года. В начале XIX века на одной из мануфактур появилась паровая машина, затем ситцепечатная и бумагопрядильная. Лён все больше и больше уступал место хлопку. Как грибы, росли фабрики. К концу века их насчитывалось больше полусотни.

После освобождения крестьян безземельная, голодная беднота из окрестных деревень хлынула за заработком на фабрики. Село и посад срослись, получили новое

наименование: «город Иваново-Вознесенск». Вокруг стихийно, без всякого плана, вырастали поселки и слободки. О невеселой жизни их обитателей говорили сами названия: Ямы, Голодаиха, Рылиха, Сахалин... Была, правда, и Сластиха, но и в ней жилось далеко не сладко.

Власти не любили этот город, потому что в нем, начиная с 80-х годов, беспрерывно вспыхивали бунты и забастовки. К 1905 году в Иваново-Вознесенске было около ста тысяч жителей, не считая, конечно, непрописанных и беспаспортных, а их имелось немало на каждой фабрике. По количеству населения Иваново-Вознесенск значительно превышал губернский город Владимир и почти вдвое — Шую, уездный. И все же он оставался «заштатным».

...Чтобы попасть из Рылихи, где жила Анна Семеновна, на Ямы, надо было пройти через весь город. Степан шел, с интересом разглядывая незнакомые улицы.

Поселок Рылиха чем-то напоминал деревню: кривые улицы, ветхие домишки. Попадались и соломенные крыши. Потом потянулась улица, вдоль которой вперемежку с приземистыми, деревянными домами стояли двухэтажные, каменные, с высокими заборами, крепкими воротами на кирпичных столбах. В центре колодцы с журавлями пропали, вместо них то и дело попадались цепные.

Когда перешли мост через Уводь и пошли по бывшему посаду, чаще стали попадаться огромные особняки с большими зеркальными окнами. Особняки стояли в садах, и Степан подумал, что летом в этих домах очень хорошо: они все окружены зеленью.

Особенное впечатление произвел на Важеватова великолепный, обложенный розовым гранитом дом на углу Вознесенской улицы. Он даже остановился, чтобы получше рассмотреть его. В одном окне была открыта большая форточка, и до Степана донеслись звуки рояля.

— Любуешься? Вот это квартира... Говорят, райские птицы тут живут, золотые рыбы в пруду плавают, а пруд в комнате. Самого богатого фабриканта семья тут живет, а вся семья — жена и дочь, да и та, говорят, полоумная.

Они пошли дальше. Только в одном Степан нашел сходство с Питером: снег здесь был такой же, как и там,— ноздреватый, грязный от копоти фабричных труб.

И еще одно он априметил: в Иваново-Вознесенске было мало церквей.

Анна Семеновна, подумав, сказала:

— А я что-то и не замечала. Стало быть, хватает. Нашему народу молиться некогда. Работают по пятнадцати часов...

Поселок Ямы полностью соответствовал своему названию. Узенькие, кривые улицы перерезались неглубокими оврагами. Дома стояли, тесно прижавшись один к другому. И здесь, как и в Рылихе, было много соломенных крыш. Увидев, как из трубы, торчавшей из-под кучи грязного снега, идет дым, Важеватов спросил свою спутницу, что эта за труба.

— Землянка. Тут за каждым почти домом такие хоромы вырыты. Живут люди, как в норах. Все лучше, чем под открытым небом скитаться...

Как будто в подтверждение слов Анны Семеновны, в одной из снежных куч вдруг распахнулась сколоченная из дощечек дверь. Из нее выскочила маленькая девочка в больших заплатанных валенках, с корзиной мокрого белья.

Из двери послышался женский голос:

— Лучше полощи!.. Не торопись!

Дом родственницы оказался на замке, но это мало смутило Анну Семеновну. Она пошарила рукой под ступенькой крыльца и, достав ключ, отомкнула замок:

— Входи...

Степан нагнулся и, миновав крохотные сени, вошел в чисто прибранную комнату, устланную домотканными половиками.

— Раздевайся. Это я не рассчитала. Я думала, что в вечерней смене работает, а она, видно, в утренней.

Анна Семеновна разделась, ушла в кухню и загремела посудой.

— Придет Паша с фабрики, а на столе самовар. И ей приятно, и мы погреемся. Вам у нее понравится. Она женщина заботливая, тихая. Вы с ней поладите... Да вот и она сама идет.

Через несколько минут в комнату вошла маленькая, сухонькая старушка.

— Это ты, Аннушка, у меня хозяйничаешь? А я думаю, кто это ко мне без спросу забрался. А это что за молодой человек?

— Я тебе квартиранта привела. Принимай, Паша. Из самого Питера.

— Уж не от Тони ли?

— Пашенька, голубушка... Нет больше моей красавицы...

— Господь с тобой, Аннушка! Что ты говоришь? Опомнись!

— Правду говорю. Убили ее проклятые...

Старухи обнялись и заплакали. Важеватов вышел на улицу.

* * *

В день выезда из столицы у Степана из десяти рублей, которые ему дал на дорогу Михаил Фрунзе, осталось только восемь. Два рубля он истратил на разные мелкие покупки. В дороге израсходовал семьдесят копеек. К приезду в Иваново-Вознесенск у него было семь бумажных рублей и тридцать копеек мелочью. Перебравшись к Прасковье Федоровне, он отдал ей три рубля за квартиру, вперед за два месяца. Рубль двадцать ушло на прописку паспорта. Прописка стоила всего двадцать копеек, но участковый полицейский до тех пор рассматривал паспорт, пока не увидел протянутую Степаном желтую рублевую бумажку. К концу второй недели жизни в Иваново-Вознесенске у Степана оставалось всего-навсего два рубля, а работы и не предвиделось.

Он обходил фабрику за фабрикой и везде наблюдал одну и ту же картину. Рано утром, а иногда и с полуночи у фабричных ворот собиралась толпа безработных. Стояли на холодном ветру, мерзли и молчали. Да и о чем говорить, когда на уме одна мысль: «Авось подвезет, возьмут. Не на станок, куда уж там, а хоть что-нибудь поделать по двору, на топливном складе или разбирать под навесом перепутанные початки, на самую что ни на есть старушечью работу».

После первых гудков выходил табельщик или конторский сторож и бросал в толпу жесткие, страшные слова: «Расходись! Сегодня брать не будем!»

Из разговоров рабочих Степан узнал, что лучше всего работать на фабриках, где три смены. Хотя ночная работа и утомительна, но все же рабочий день не превышал восьми часов. Там, где были одна и две смены,

люди работали по одиннадцати и даже по четырнадцати часов.

В конце февраля, когда у Степана оставалось только двадцать копеек, ему наконец повезло. Старший табельщик Маракушевской фабрики, заметив человека высокого роста, приказал подойти ближе.

— Здоров! Вон какой вымахал! Фамилия?

— Никитин.

— Звать?

— Иваном.

— Проходи. Возьму тебя таскальщиком основ. Будем платить пятнадцать рублей. Работать в две смены. Паспорт при тебе?

— При мне.

— Давай.

Табельщик взял паспорт и ушел в контору. Вернувшись, он бросил паспорт:

— Не надо. Знаем мы вашего брата, питерских!

Степан, ни слова не говоря, повернулся и пошел к воротам. На полпути его остановил крик табельщика:

— Эй ты, каланча, подожди!

— Что тебе?

— За десятку пойдешь?

Важеватов нащупал в кармане последний двугривенный, почему-то вспомнил Наташу и ответил:

— Пойду.

— Тогда иди. Давай паспорт.

Через полчаса табельщик привел его в пахнувшее клеем и мылом шлихтовальное отделение и представил старшему рабочему:

— Вот тебе новый таскальщик. Проэкзаменуй, пусти на третий этаж.

— А куда Акима Клещева?

— Приказано уволить. Пришли ко мне. Я ему сам объявлю.

— Жаль. Хороший мужик.

— Всех жаль. Нас не жалеют.

Степан с трудом дождался конца смены. Тяжелые, в несколько пудов, основы приходилось носить на третий этаж по скользкой железной лестнице, до блеска обтертой тысячами ног. Двери в ткацком зале были узкие и низкие, с непосильной ношей надо было сгибаться в три погибели. От непривычного шума ткацких станков,

беспрерывного хождения по лестнице и от голода он шатался, как пьяный. Мокрая от пота рубаха прилипала к бокам и спине. Шлихтовальщик, заметив его усердие, скомандовал:

— Отдохни, парень. Ты хоть хлеба пожуй, а то на этой должности недолго и ноги протянуть. Тут, брат, большая привычка нужна.

В конце смены конторский мальчик принес Степану расчетную книжку:

— Грамотный?

— Кое-что соображаю.

— Распишись.

Мальчишка грубил, явно подражая кому-то из старших. Он небрежно сунул химический карандаш и какую-то ведомость.

— Прочитай правила, пока живой.

Степан сел у окна и начал перелистывать книжку. «Правила», о которых ему сказал мальчишка, занимали двенадцать страниц, напечатанных мелким, убористым шрифтом.

В это время в шлихтовальную зашел небольшого роста человек с реденькой рыжей бородой. На нем были брюки навыпуск, черная сатиновая рубашка с таким же галстуком. Поверх рубашки была когда-то белая, а теперь желтая, засаленная пикейная жилетка. Человек уставился на новичка крохотными, заплывшими глазками:

— Брось читать. Тут тебе не библиотека!

— А вы кто такой?

— Влеплю тебе штрафу полтинник, тогда узнаешь, кто я!

В разговор вмешался шлихтовальщик Осокин:

— Никитин! Неси.

Степан взвалил на плечо основу и пошел по лестнице. Рыжий человек смотрел ему вслед, задрав бороденку. Когда Степан вернулся, Осокин сказал ему:

— Поаккуратней с этим рыжим. Старший браковщик Мартын Кропачев. Подлюга страшная.

— Он мне не начальник! — запальчиво произнес Важеватов.

— Эх, парень, у нас на фабрике над рабочим все начальники. Отойди в сторонку, почитай.

«Рабочий обязан,— читал Степан,— беспрекословно подчиняться фабричному управлению и выполнять все

его требования. Под словами «фабричное управление» подразумеваются не только хозяин или заведующий фабрикой, но и все прочие лица администрации, как-то: механик и его помощник, мастера, конторщики, табельщики, браковщики, сторожа и другие лица, заведующие отдельными частями фабричного производства».

Он полистал книжку дальше и увидел заголовок: «Перечень проступков, за которые должен налагаться штраф». Проступков было сорок три. Нельзя было дремать, читать книги, чинить одежду, часто курить. В конце перечня говорилось: «За дерзкие слова и поступки, за дурное поведение при разговорах со старшими на первый раз штраф в двойном размере, при повторении — расчет».

Степан сунул книжку в карман и подошел к Осокину, возившемуся у машины.

— Прочитал? Интересно?

— Очень. Как на каторге.

— Каторга и есть...

Их разговор прервал все тот же конторский мальчик. Он подошел и грубо крикнул:

— Эй ты, столб, давай твою книжку!

— Зачем она тебе?

— Штраф велено вписать. Полтинник. За грубое обращение. Смотри, напишут тебе — получать будет нечего. Давай...

Осокин незаметно кивнул головой: давай, мол, не ерепенься.

* * *

Вечером дома, умываясь из железного рукомойника, Степан услышал, как кто-то за его спиной сказал:

— Красоту наводит, не мешай.

Он оглянулся. В приделке стояли Яков и Аким Клещев. Яков не улыбался и не протягивал руки, а угрюмо посматривал исподлобья. Первым заговорил Аким:

— Ты за сколько работать согласился?

— За десять рублей.

— За десять... Кто это тебе посоветовал?

— Сам.

— Очень хорошо. Своим умом, стало быть, до этого дошел. Сам догадался. Хорош гусь!

— За что вы меня ругаете?

Яков жестом остановил Акима и сказал:

— Я думал, ты, Никитин, настоящий питерский рабочий, а выходит, ошибся — ни то ни се, середка на половинку. Я тебя в одном месте хвалил, работу подыскивать начали, а ты такую штуку отмочил! Сегодня ты на десять рублей согласился, завтра другой такой дурак найдется — хозяева таким дуракам очень рады. А там, глядишь, и остальным рабочим расценок снизят. Акима вот уволили. Ему восемнадцать рублей платили, а ты за десятку пошел.

— Что же делать, Яша?

— Это уж тебе знать. Наше дело было тебя предупредить.

— Может, расчет взять?

— Как знаешь.

Яков и Аким ушли, не попрощавшись. В приделок тотчас же вошла Прасковья Федоровна:

— Начудил ты, парень. Я тоже думала, что ты как следует быть. На вот твои деньги, ищи себе новую квартиру. Я таких не держу...

Она положила на стол три рубля и вышла.

Утром Степан стоял перед табельщиком:

— Дайте мне мой паспорт!

— Ишь, загорелось. Жениться захотел, что ли? Наследство получил иль купца какого пристукнул?

— Дайте паспорт!

— Белены, что ли, объелся? Заладил: «паспорт, паспорт»!

Степан положил руки на стол и глухо сказал:

— Давай, тебе говорят, паспорт. Не буду я на вашей каторге за десять рублей спину гнуть. Ну!..

Табельщик вскочил и заметался около большого шкафа, испуганно озираясь.

— Получи.

— Давно бы так.

Важеватов взял паспорт и пошел из табельной. Табельщик закрыл дверь на ключ и крикнул через окошечко:

— Больше не приходи, чорт долговязый! За трешницу не возьмем!

Выйдя из проходной, Степан нос к носу столкнулся с Игорем Кручининым. Но студент его не узнал. Он шел задумавшись, низко опустив голову.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Игорю Кручинину было над чем задуматься. Он шел со свидания с жандармским ротмистром Шлегелем.

Этому свиданию предшествовал ряд неприятных событий, которые Кручинин сейчас снова переживал с мучительной остротой.

Приехав после окончания гимназии осенью прошлого года в столицу, Кручинин на первой же студенческой вечеринке встретил свою землячку Веру Орлову, дочь учителя Иваново-Вознесенского реального училища. Вера была старше Игоря и уже третий год училась на медицинских женских курсах. Дома, на каникулах, Вера не однажды встречалась с Игорем, знала о его планах ехать учиться в Петербург и обрадовалась ему, как родному:

— Боже мой, Игорь! Наконец-то! Студент!

Она внимательно осмотрела его великолепно сшитый костюм и насмешливо сказала:

— А вы франт, Игорь. Вас за это могут невзлюбить.

— Кто?

— А хотя бы я, — улыбаясь, ответила Вера. — Ну ладно, не сердитесь. Идемте, я буду вас знакомить с моими друзьями.

В числе друзей Веры оказался и Михаил Фрунзе.

После вечеринки Игорь зачастил к Вере. Она жила в небольшой комнатке на Песках, недалеко от медицинских курсов. Но разговоры, которые велись между друзьями Веры, собиравшимися у нее почти ежедневно, были далеки от медицины.

Игорь впервые услышал здесь о Марксе, о существовании социал-демократической рабочей партии. Никогда раньше — ни дома, в семье своего отца, акцизного чиновника, ни в гимназии — он таких разговоров не слыхал.

Игорь совсем забросил лекции и с жадностью накинулся на книги, рекомендованные Верой. Через месяц он уже не сидел во время споров истуканом, а с апломбом цитировал Гегеля, Каутского, Плеханова, щеголяя и удивляя всех своей памятью. Но он и сам заметил, что в отсутствие Веры все его красноречие пропадало. Михаил Фрунзе в кружке Веры бывал не часто, всего один-два раза. Он больше молчал и только однажды

в ответ на очередную бурную речь Игоря улыбнулся и сказал:

— Зачем столько пороха тратить попусту?

Уходя от Веры, Фрунзе подал Игорю руку и повторил:

— Не тратьте сил понапрасну. Идите пропагандировать в другое место.

— Куда?

— На заводы, к рабочим, — просто ответил Фрунзе.

Через несколько дней после этого разговора вечером к Вере нагрянула полиция. Произведя обыск и найдя много нелегальной литературы, жандармы арестовали всех, кто был в комнате, и отвели в дом предварительного заключения на Шпалерной. В числе задержанных был и Игорь Кручинин.

Когда его поздней ночью ввели на допрос, Кручинин растерялся. Одно дело было сидеть в уютной комнате за столом и ораторствовать, видя одобряющий, ласковый взгляд Веры. Тогда он чувствовал себя героем и сам искренне верил в свои убеждения. А тут ему даже не предложили стула. За столом сидел суровый жандармский полковник. Он посмотрел на Игоря и желчно сказал:

— Добаловались, молодой человек!

Затем позвонил телефон. Полковник снял трубку, быстро встал, вытянулся и отчетливо отрапортовал:

— Слушаю, ваше императорское высочество! Так точно, привели. Как раз его допрашиваю. По-моему, закоренелый, ваше высочество. Не вижу никаких следов раскаяния. Слушаюсь! В случае непризнания — на каторгу. Рад стараться, ваше высочество!

Кручинин оцепенел. Разве могло прийти ему в голову, что никто полковнику не звонил, а он незаметно нажал кнопку звонка и, сняв трубку, говорил сам с собой! Откуда было сыну акцизного чиновника, как кур во щи попавшему в компанию горячих молодых людей, знать все жандармские трюки!

Офицер остановился около Игоря, заложил руки за спину и сказал:

— О вас справляются из дворца. Советую вам хорошенько обо всем подумать. Сами изволили слышать — каторга. Пошлем мы вас в какой-нибудь Вилюйск. Дадут вам там в руки тачечку. Убежите — поймают, еще

годков десять прибавят. Еще раз убежите — поймают и повесят.

Игорю хотелось узнать, в чем его обвиняют, где Вера и можно ли с ней увидеться. Но полковник позвонил и вызвал конвой. Когда два огромных молчаливых солдата уводили Игоря, полковник крикнул вслед:

— В карцер!

Игоря поместили в низенькую, узкую одиночку без кровати. Ночью он чуть не сошел с ума от темноты, шороха и писка возившихся крыс.

Уснул он под утро, на полу, свернувшись клубком и закутав голову студенческой тужуркой. Впрочем, это был не сон, а какой-то кошмар. Ему снилось, что он уже осужден на пожизненную каторгу и спущен в глубокую, сырую шахту.

На другой день его снова привели на допрос. В кабинете никого не было. Игорь подошел к зеркалу и чуть не вскрикнул. На него смотрело чужое лицо с ввалившимися глазами и перекошенным ртом. Он сел на стул и заплакал от жалости к себе, от страха. Не мог же он знать, что из соседней комнаты, через специально замаскированное отверстие, за ним наблюдают зоркие глаза.

Полковник вошел в кабинет неожиданно, с размаху широко распахнув дверь. Игорь даже не успел вытереть слезы.

В голосе жандарма вчерашней строгости уже не было, он звучал приветливо и заботливо:

— Ну, как спали? — Он подошел к окну и раскрыл форточку.— День сегодня изумительный! А воздух — не надышишься.

Усаживаясь в кресло, жандарм крякал, как старый добрый дядюшка, готовящийся журить любимого племянника.

— Ну-с, давайте продолжим нашу беседу.

— Я ничего не знаю.

— Зато я все о вас знаю. Да, знаю. И очень сожалею. Очень. Говорю как друг, как старший брат. Пожалейте и вы себя, пожалейте вашу матушку.— В голосе полковника послышалась скорбь.— Вы подумайте, что будет с ней, когда она узнает о вашей печальной судьбе.

Кручинин не выдержал и заплакал:

— Скажите, что мне делать?

— Расскажите все о ваших знакомых — и вы на свободе.

Игорь беспрекословно подписал расписку в том, что он обязуется сообщать охранному отделению все, что ему будет известно о революционной деятельности его друзей.

На другой день его освободили. Прикрывая своего нового агента, охранка вместе с ним выпустила «за недоказанностью улик» еще двух студентов, арестованных у Веры Орловой. Веру вскоре выслали в Восточную Сибирь. Перед отправкой ей разрешили свидание с приехавшими в столицу родителями. Она, кроме них, пожелала видеть Игоря.

Он надолго запомнил, как она стояла за решетчатой перегородкой и улыбалась. А на глазах были слезы

Перед отъездом из столицы Игорь в очередной беседе с полковником рассказал ему о Михаиле Фрунзе. Тот выслушал, попросил все написать. Когда Игорь подал ему исписанные листы, жандарм протянул ему пухлую руку:

— Благодарю. Очень тронут. Сегодня вы меня порадовали.

Игорь впервые за последние месяцы почувствовал прилив уверенности и попросил разрешения выехать на родину.

— Ну что ж, съездите, отдохните. Развлекитесь. Надолго?

— Я возьму в институте отпуск на этот год. Стало быть, до будущего учебного года. Можно?

— Отчего же. Пожалуйста...

Игорь решил никогда больше не возвращаться в Петербург и, отдохнув, перевестись учиться в Москву. Он надеялся, что полковник забудет о его существовании. А вот сегодня его вызвал ротмистр Шлегель и заявил, что ему известно все прошлое Игоря.

— Расписку я с вас не буду брать, поскольку вас в столице должным образом оформили.

Затем ротмистр без всяких предисловий совершенно определенно предложил ему втереться в доверие местных социал-демократов и действовать по его указанию. В отличие от изысканного в обращении столичного полковника, ротмистр Шлегель был грубо прямолинеен. Он так и сказал: «Надо втереться в доверие».

Заметив, что его слова покоробили Игоря, он усмехнулся и разъяснил:

— А вы не смущайтесь. Не все ли равно, как это звучит? Это им там, столичным, можно разные онёры разводить, их там целый штат, а у меня времени нехватает. И еще — поторапливайтесь, батенька: у меня есть сигналы о новой забастовке. Толковые донесения мне очень нужны.

* * *

Прасковья Федоровна, узнав, что ее жилец взял на фабрике расчет, согласилась оставить его на квартире и приняла обратно три рубля. На последние оставшиеся у него деньги Степан купил два фунта хлеба, полфунта печенки и с жадностью выпил бутылку пива. Ему казалось: вот он поест, и ему станет лучше, исчезнет из сердца тоска. Но он был сыт, а чувство, похожее на голод, не проходило. Он лег на койку и закинул руки за голову. Сначала он, как всегда, подумал о Наташе. Но на этот раз даже воспоминание о ней не могло заглушить всего происшедшего за последние дни. Кто-то звякнул щеколдой калитки. Степан подумал: «Не ко мне ли?» И сам себе ответил: «Кому ты нужен? Кто к тебе может прийти?» И тут он с необычайной ясностью понял, почему ему так тоскливо: «Один, совсем один. Никого нет у меня здесь. Ни одного друга, ни одного близкого человека. Попался хороший человек, Яков — и около него не сумел удержаться... А почему не сумел?— сам себя спросил Степан и сам себе ответил: — Подлость допустил, вот и не удержался».

Потом Степан начал размышлять, как завтра продаст на толкучем рынке пиджак и шапку и уедет. Куда поедет, он не знал, но твердо решил — надо уехать.

Вдруг он услышал, как кто-то спросил Прасковью Федоровну:

— Спит?

— По-моему, нет. Проходите.

В приделок вошли Яков, Аким и незнакомый Степану невысокий худощавый рабочий. Важеватов вскочил с койки и от неожиданности по военной привычке встал, вытянул руки по швам.

Аким протянул ему руку:

— Ну, вот и свиделись. Теперь мы видим — питерский.

Яков протянул ему бумажку:

— Тебе на старый адрес почтовый перевод пришел. На двенадцать рублей.

Степан взял перевод и вспыхнул от радости — почерк на переводе был Наташин.

Худощавый рабочий сел на табуретку, свернул цыгарку и, протягивая кисет, спросил:

— Давно из столицы? Девятого января там еще был?

Степан замялся. Яков обнял его за плечи и ласково сказал:

— Ты от нас не таись, а держись за нас. Если мы и накричали на тебя, так для твоей же пользы. Кто против товарищей идет, всегда плохо кончает. Был у нас на фабрике случай...— Яков посмотрел на худощавого: — Рассказать ему про Васю-изобретателя?

— Расскажи.

— Так вот, работал у Гарелина слесарь Вася. Было ему лет под тридцать. Жену имел, двух ребятишек. С самого раннего возраста занимался Вася слесарным делом. Мог часы любые починить, граммофон, гармонь, паровую машину мог с закрытыми глазами разобрать и собрать. Если бы его немножко подучить, вышел бы из него не механик, а золото. Замки делал с музыкой, к самоварам свистки припаивал. Задумал однажды Вася изобрести машину, которая бы сама товар паковала. Начал он мудрить. Узнали об этом паковщики и говорят ему: «Зачем это ты делаешь? Без работы нас оставишь!» А он отвечает: «Не могу я этого дела бросить. Я эту машину даже во сне вижу. А насчет себя вы не беспокойтесь: я с управляющим договорюсь, вас на другие работы поставят, да еще с повышением. Я же вам труд облегчить хочу».

Выдумал Вася машину, и как только она действовать начала, рассчитали восемь паковщиков. И был среди них Тимофей Санкин, вдовец с тремя детьми. Рассвирепел Тимофей до крайности: «Не Вася он, а подлец, и мы из-за него страдаем!» Порешили все рассчитанные паковщики Васю проучить. Купили бутылку водки и уселись около железнодорожной линии на травке Васю поджидать, когда он с фабрики домой пойдет. Тимофей говорит: «Убивать мы, конечно, его не будем, но бока намнем». Сидят, ждут. Видят, идет Вася, как всегда, по железнодорожной

линии и руками размахивает. Тимофей скомандовал: «Приготовься, ребята, изобретатель показался! Ишь, как руками по воздуху чертит! Опять, наверно, какую-нибудь машину выдумывает».

Вася все ближе и ближе. И вдруг видят — идет навстречу Василию из Кинешмы пассажирский поезд. Поезд идет, а Василий в сторону не сворачивает. Все забыли, что Васю бить хотели. Вскочили с травы и кричат ему: «Васька, уходи с полотна! Задавит!»

А он словно не слышит и не видит ничего. Руки на груди сложил и стал. А поезд уже рядом. Свисток ревет, надрывается. Тимофей побежал к Васе и не успел. Ударил паровоз Василия, сшиб и подмял под себя и только после этого остановился.

Вытащили изорванное, искромсанное тело. В кармане нашли записку: «Замучила меня совесть. Обманул заведующий. Пес, а не человек. Не могу я больше жить. Стыдно людям в глаза смотреть, которые из-за моей глупости страдают».

Яков кончил рассказ Все молчали. Первым заговорил худощавый:

— Слышал? Ты посмотри — нас в комнате четверо. Яшу со всех фабрик увольняют, только вчера на паровозе кочегаром устроился. Аким безработный. Жену у него ни за что ни про что в тюрьму укатали. Тебе тоже не сладко, видно, в Питере жилось, если семейных там покинул и здесь скитаешься. Хозяйке твоей Прасковье Федоровне седьмой десяток на исходе. В эти годы положено человеку отдыхать, на внучат радоваться, а она за десять рублей в месяц спину целыми днями гнет, недоедает, недосыпает. Мужа фабрика сожрала — лопнул в отбельной котел, вынули Алексея Петровича бездыханного. Сын на «Варяге» погиб. Сноха, не выдержав, с ума сошла и во Владимирской больнице мается. Все обездоленные. А сколько таких домов в нашем городе. Под каждой крышей свое горе, своя беда. Слезы женские можно бочками мерить. И если мы сами себе помогать не будем, дружить не будем, кто нам поможет? Ты девятого января в Питере был, видел, как царь рабочему народу помог. Держаться нам надо друг друга. И ты правильно сделал, что расчет взял. Мы тебе поможем. Потерпи немного.

— Спасибо! Большое спасибо! — торопливо ответил Степан.— Я здесь человек новый, порядков здешних не

знаю, вот и промахнулся. А уж так мне, братцы, потом тяжело было! Вы такой у меня сейчас с души камень сняли...

Прасковья Федоровна подсела к Степану и пошутила:

— Ничего, обомнешься. Привыкнешь к нашей жизни. Таким еще орлом будешь...

Худощавый, свертывая новую цыгарку, сказал:

— Обомнется.

Он внимательно посмотрел на Степана и, сделав знак Прасковье Федоровне, чтобы она вышла, в упор спросил:

— Скажи, парень, по совести: ты язык за зубами держать умеешь?

Степан от неожиданности растерялся и невпопад ответил:

— Какой язык?

— Свой, конечно,— усмехнувшись, разъяснил Яков.

— Наверно, умею...

— Давай поговорим об одном предмете... Ты пока без работы, делать тебе нечего. Есть у меня к тебе, товарищ Никитин, просьба. Завтра Яков поедет с товарником в Шую. Ему от паровоза отлучаться нельзя, а в Шуе надо захватить небольшой груз, пуда два-три. Пока паровоз стоит, воды набирает, сходи на Малую Ивановскую улицу, в дом Замятиной, и разыщи там Павла Дмитриевича Гусева. Скажи ему: «Я к вам от крестного». Он тебе выдаст дорожную корзинку. Неси ее на паровоз, а как в Иваново вернешься, храни до распоряжения у себя.

Степан выслушал и спросил:

— А можно знать, что в той корзинке?

— А зачем тебе?

— Как зачем? А вдруг полицейского встречу и он спросит, что я ему отвечу?

— Правильно. Я вижу, котелок у тебя варит. В корзинке будет бумага. Самая обыкновенная чистая бумага номер шесть.

— А если меня спросят, зачем мне столько бумаги, что отвечать?

— Надо подумать... Говори так: работы, мол, нет, хочу бумагу на половинки порезать, конвертов наделать и пока по деревням в разнос, а потом мечтаю лавочку открыть.

— Понял. Прикинусь.

— Действуй.

Посидев еще минут пять, худощавый ушел, пожелав Степану удачи.

— Вернешься из поездки, мы насчет твоего устройства поговорим.

Степан после его ухода долго молчал, поглядывая на улыбавшегося Якова, и, не выдержав, первый спросил:

— Кто это?

— Очень хороший человек.

— Как его зовут?

— Это тебе знать пока рано. Одно помни: с этим человеком не пропадешь. Многому научит. Сам он с малолетства годов двадцать пять по фабрикам мается. Не раз в тюрьме сидел.

— За политику?

— За ее самую. Книг он столько прочитал, что нам с тобой и во сне не снилось. О чем его только ни спроси, на все ответит. Я с ним однажды в село Авдотьино по делу ходил, так он мне всю дорогу про медного всадника читал, сочинение Пушкина. Наизусть знает... Какие государства в мире есть, как там люди живут, про моря, про океаны— про все знает...

Важеватов перебил Якова:

— А все-таки он неосторожно поступает...

— Не понимаю, о чем ты.

— Видит меня в первый раз, не знает, кто я, и поручает мне такое дело.

— Какое дело?

— Бумагу привезти.

— Ну, и что тут особенного?

— Я же понимаю, для чего ему бумага требуется.

— Для чего?

— Прокламации печатать, листовки.

— Догадлив!

— Ребенок и тот догадается. А вдруг я подведу?

Яков встал и, уже не улыбаясь, серьезно сказал:

— Он меня о тебе спрашивал, и я за тебя поручился. Если я ошибся, у нас только корзинка бумаги пропадет, а тебе, Никитин, не жить больше в этом городе...

— Не обижайся, Яша.

— Не в обиде дело, а в том, что я тебе, сам не знаю почему, верю и хочу с хорошими людьми свести.

Степан протянул ему руку:

— Знакомь! Я тебя никогда ни в чем не подведу. Не обманщик я...

На другой день, прежде чем идти на станцию, Степан забежал на почту и получил деньги.

«Дорогой Ваня,— писала Наташа,— посылаю тебе немного денег. Дома у нас все по-старому, только мама прихварывает. Миша уехал к себе на родину. Он не хотел, но его очень об этом попросили, и он не смог отказаться. До свиданья. Крепко целую. Любящая тебя сестра Наташа».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Михаил Фрунзе уехал не на родину. Конец февраля и первую половину марта он жил в Петербурге, ночуя то у Никитиных, то у рабочего Путиловского завода Петра Чернышева, с которым его когда-то познакомил Иван Никитин.

Подходя как-то вечером к дому, где жили Никитины, Михаил заметил на углу подозрительного типа, явно смахивающего на шпика. Тот стоял, засунув руки в карманы пальто, и равнодушно, казалось, посматривал по сторонам. Фрунзе зашел в помещавшуюся напротив бакалейную лавку и, делая вид, что выбирает покупку, начал наблюдать за шпиком.

Мимо прошел студент. Шпик ринулся за ним и, очевидно, разочаровавшись, отошел на старую позицию.

Сомнения не было — шпик кого-то ждал. Может быть, он ждал и не его, но Фрунзе справедливо рассудил: лучше к Никитиным не заходить.

Уйти от шпика, пока тот не разглядел его в лицо, особого труда не представляло. Ничего студенческого на Михаиле не было. По одежде — ватной тужурке, сапогам и шапке-ушанке — он ничем не отличался от рабочего. Идти к Чернышеву ему не хотелось — он только что провел у него две ночи подряд. Больше беспокоить сердечную, радушную семью было неудобно, и он пошел, раздумывая, куда ему деться.

Оставалась еще одна квартира, где ему всегда были рады и принимали, как самого дорогого гостя,— квартира Оли Генкиной.

С Генкиной его тоже познакомил Иван Никитин. Когда они шли к ней впервые, Иван предупредил, что Ольга Ми-

хайловна член партии и выполняет очень важные поручения Петербургского комитета. На звонок им открыла дверь молоденькая девушка, почти девочка, в коричневом форменном платье гимназистки, с белым кружевным воротничком. Две тяжелые косы темнорусых волос с синими бантами опускались ниже талии. Большие серые глаза из-за густых, длинных ресниц казались черными.

Она приветливо пригласила:

— Проходите, раздевайтесь.

Иван, обняв Михаила за плечи, сказал:

— Ну вот, Оленька, и мой друг Михаил. Прошу любить и жаловать.

Фрунзе, никак не ожидавший, что эта девочка и есть Ольга Генкина, смущенно произнес:

— А я думал... Здравствуйте.

Оля улыбнулась, а Иван откровенно расхохотался:

— Я так и знал! Ты, Миша, наверно, предполагал, что Ольга Михайловна совсем другая: высокая, полная, в очках и годится тебе по крайней мере в мамы. А она у нас...

Ольга не дала ему договорить:

— Послушайте, Ваня, я когда-нибудь на вас всерьез рассержусь! Идемте в комнату...

С этой встречи и началась их дружба. Михаил был бы рад хоть ежедневно видеть Олю, но делать этого было нельзя по конспиративным соображениям; кроме того, Генкиной часто не было в столице — она уезжала по заданиям комитета.

Сегодня, Михаил это знал, Оля была дома, и можно направиться к ней. На Обводном канале ему пришла мысль, что он поступает неосторожно — может притащить за собой шпика и провалить Олю,— и он решительно зашагал обратно. Внимание привлекла вывеска трактира для ночных извозчиков, и Фрунзе подумал, что на сегодняшнюю ночь лучшего места, пожалуй, и не найти. Здесь можно совершенно спокойно пробыть до утра.

Он спустился по грязным ступенькам, выбрал столик подальше от входа и заказал бутылку пива, воблу и пару чая.

За соседним столиком сидел пожилой крестьянин и старательно выводил на конверте печатными буквами адрес. Кончив писать, он тяжело вздохнул, лизнул конверт языком, заклеил и достал из кармана коробочку из-

под ландрина. В коробке была махорка. Он пошевелил махорку тугими пальцами и вытащил марку. Увидев, что Михаил наблюдает за ним, крестьянин печально сказал:

— Мало радости в моем письме. Думал заработать здесь, а у меня лошадь пала. И не пойму, отчего. Кормил, кажется, как следует. Сам недоедал, а все в нее впихивал. Раздулась, как дом, и сдохла.

Он пересел к Михаилу и шопотом заговорил:

— Ты, я вижу, парень толковый, ходовой. Есть, говорят, общество пособия бедным. На Пантелеймоновской улице, в доме Кноппа. Дадут мне там пособие иль нет?

— Нет, не дадут. Там только бедным женщинам помогают, а вы мужчина.

— Какой я мужик! Силы у меня — что у воробья. Совсем износился. Значит, не дадут? Плохо. Я думал, дадут.

Крестьянин положил конверт на стол, и Фрунзе невольно прочитал адрес: «Деревня Пречистенка Сибирской губернии». Он спросил:

— Куда вы письмо посылаете?

— Как — куда? Домой.

— Откуда вы?

— С Волги мы. Из-под Симбирска.

— Я так и понял. А вы написали — Сибирской губернии. Нет такой. Если не исправить, письмо ваше не дойдет.

— Помоги, братец, напиши как следует.

Михаил исправил адрес, написал, какого уезда деревня Пречистенка.

— Вот теперь дойдет.

— Спасибо! Большое тебе спасибо! Дай тебе бог здоровья.

Мужик пошел к выходу. Около одного столика он остановился и, держа конверт в вытянутой руке, что-то говорил возчикам, показывая на Михаила.

Фрунзе налил себе стакан чаю, но выпить ему не удалось. К нему подошел молодой возчик и деловито осведомился:

— Письмо написать можешь?

— Могу.

— Давай пиши.

— На чем писать? У меня ни бумаги, ни конверта нет.

— Это мы устроим.

Возчик подошел к стойке и спросил бумаги. Буфетчик, высокий рябой мужик, кивнул в сторону Фрунзе:

— Адвокат?

— Нет, писарь.

— То-то. А то адвокатов тут щелкают.

Парень положил на стол несколько листков почтовой бумаги и один конверт.

— Пиши.

— Диктуй.

— Чего?

— Сказывай, что писать.

— «Дорогие тятенька и маменька! Любезные братец Николай, сестрицы Лиза, Маня, Катя, Феня, Мотя и Варя...»

Михаил улыбнулся:

— Все?

— Все.

— Много у тебя сестер.

— Вот и беда, что много! Земли на них не полагается, только на мужскую душу, а есть они горазды. Замуж без приданого никто не берет. Ты давай пиши. Мне ехать надо.

Перебрав всю многочисленную деревенскую родню и отвесив каждому по поклону, возчик сказал:

— Теперь пиши так: «Во первых строках сообщаю, что дядю моего Алексея Митрича Солонкина я свез на кладбище. Доктор сказывал, что умер он от простуды. Валенки у него были худые, а на кожаные калоши денег не собрал Лошадь, сбруя и все имущество у хозяина, где мы стояли. И еще — дошли до вас слухи о здешнем большом смертоубийстве...»

Михаил положил ручку:

— Об этом не надо. Письмо может не дойти.

— Как это так — не дойти? Правильно напишешь — дойдет.

— Я напишу правильно, но на почте могут письмо прочитать.

— Как же они прочитают? Оно заклеенное.

— Отклеят.

— Могут разве?

— Могут.

— Тогда не пиши. Они, наверно, и так знают. Наш поп две газеты получает.

Получив письмо, возчик встал, порылся в кармане и протянул Михаилу пятачок. Фрунзе чутьем конспиратора понял: отказываться от вознаграждения нельзя. Гораздо удобнее прослыть среди возчиков и ночных посетителей трактира писарем. Он взял пятак и сказал:

— Много даешь. Хватило бы трояка.

— Ничего, заработаю. Будь здоров.

Молодого возчика тотчас же сменил высокий старик с длинной белой густой бородой:

— Прошенье мне надо в суд. Напишешь?

Михаил посмотрел на буфетчика, прислушивавшегося к их разговору.

— Прошений не пишу. Не имею права.

— А ты потихоньку.

— Не могу. Судят за это. Письмо родным напишу.

— Давай пиши...

Всю ночь, до самого рассвета, писал он письма. Втихомолку сочинил два прошения в суд.

Разделавшись со своей неожиданной клиентурой, Михаил начал письмо к матери. Он долго сидел, перебирая в памяти события последних дней. Вспомнил, как в конце лета мать, провожая его в столицу, говорила: «Кончишь институт, мне легче будет. Инженеры, наверно, хорошо живут, доходы у них большие. Заберешь тогда меня и сестренок к себе, учиться им поможешь»,— и вздохнул: «Эх, мама, мама! Не оправдались твои расчеты! Не будет твой Миша инженером. Не брани меня, мама. Пойми. Иначе я жить не могу».

На листок легли слова: «Жребий брошен. Рубикон перейден».

Под утро в трактир ввалился молодой возчик:

— Все пишешь, парень? Смотри, какую я тебе коммерцию устроил! Причитается с тебя. Сколько наскреб?

Уходя, Михаил подошел к стойке и положил шесть пятаков, половину своего ночного заработка. Буфетчик ловко смахнул медяки в ладонь и кивнул бородой:

— Захаживай!

Из трактира Михаил направился к Чернышевым.

Петр встретил его на пороге:

— А тебя вчера разыскивали.

— Кто?

— Семенов. Ты очень нужен.

Семенов был большевик, активный работник Нарв-

ского района. И с ним Михаил познакомился через Ивана Никитина.

— Хорошо,— сказал Михаил.— Я пошел к нему.

Семенов жил недалеко от завода. Войдя во двор большого дома, Михаил сразу увидел его. Он стоял с колуном около большой кучи расколотых дров. Рядом истопник собирал поленья в вязанку.

— Здравствуй. Вот зарабатываю — колю дрова для котельной. Люблю эту работу: полезная для здоровья.

Истопник крякнул, поднял вязанку и ушел в кочегарку. Семенов снял шапку и закурил:

— Собирайся.

— Куда?

— В Москву. Здесь тебе оставаться нельзя.

— Почему?

— Возьмут. Полиция словно бешеная. Не постеснялась даже Горького арестовать. Сажают направо и налево.

— Я не боюсь.

— Чудак ты, брат! Я не об этом. Ты партии нужнее на свободе, нежели в тюрьме. Успеешь еще насидеться. Надо будет — в Питер вернешься. Время сейчас горячее, скоро Третий съезд. Надо выбивать у меньшевиков почву из-под ног. «Вперед» шестой номер видел?

— Нет еще.

— Сейчас я тебе дам. Там есть статья «Две тактики». Ленин, чувствуется, писал. Его мысли и стиль. Почитай.

— Обязательно.

Вернулся истопник. Семенов поднялся:

— Покурили — и хватит. А ну, племяш, поработай.

Михаил взял колун и ударил по толстому полену. Оно разлетелось со звоном.

— Молодец! Нашей, семеновской, породы!

Вечером, получив явки и деньги на дорогу, Михаил, благополучно избежав слежки, выехал в Москву.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Главный полицейский начальник Иваново-Вознесенска полицеймейстер Кожеловский, несмотря на то, что он мог как хотел управлять большим городом со стотысячным населением, был недоволен своей должностью. Происхо-

дило это оттого, что он считал себя пригодным для более видного поста.

Оставаясь в кругу семьи и особенно наедине с женой, молчаливой, очень запуганной женщиной, он часто осуждал действия московского обер-полицмейстера Трепова:

— Везет ему, Мите Трепову! А все почему? Связи. Деньги. Как-никак, генерал-майор свиты его величества. Только этим и берет. А порядки в Москве аховые. Я бы там навел тишину!

Когда Трепова назначили петербургским генерал-губернатором и поселили в Зимнем дворце, Кожеловский воспринял это как личную обиду.

— Митьку — в Зимний! — говорил от жене.— Мне бы его связи!

И уже совсем неодобрительно отзывался он о своем непосредственном начальнике, владимирском губернаторе Леонтьеве:

— Старый хрыч! Ничего не смыслит!

Особенно раздражало его придворное звание губернатора, которое, он знал, никогда, ни при каких обстоятельствах, ему, Кожеловскому, пожаловано не будет. Копируя Леонтьева, он кривил рот, сгибал ноги в коленях, сутулил спину и шепелявил:

— Егермейстер высочайшего двора! Подумаешь! Дубина великосветская!

Высокий, худой, в болтающемся, как на вешалке, мундире, он никогда не улыбался и весь исходил завистью и желчью. Завидовал он всем — Трепову, Леонтьеву, фабриканту Гарелину, завидовал даже своей кухарке Авдотье, глядя на ее пышущее здоровьем лицо.

Рабочих он ненавидел. Но к арестованным Кожеловский вначале испытывал нечто вроде своеобразной любви. В каждом заключенном он видел шанс прославиться раскрытием необычайного заговора, что дало бы ему возможность выдвинуться поближе к высшему начальству.

Но всех больше Кожеловский ненавидел жандармского ротмистра Шлегеля.

У Шлегеля было одно преимущество, которого у полицеймейстера не было и о котором он мечтал: ротмистр имел право лично связываться с министром внутренних дел. От секретных донесений Шлегеля зависела судьба и самого Кожеловского. Он, Кожеловский, был хотя и

крупным, но все же только полицейским чиновником, а Шлегель был доверенным лицом.

Он не только ненавидел ротмистра — он его боялся. Всегда одетый с иголочки, в белоснежных перчатках, надушенный французскими духами, спокойный, невозмутимый, Шлегель с его легкой иронической улыбочкой вызывал у Кожеловского необъяснимое чувство страха и уважения. Шлегель никогда не бранился, не гневался. В минуты раздражения он лишь слегка оттопыривал нижнюю губу и торопливо лез в карман за тяжелым золотым портсигаром с бриллиантовой монограммой.

Был в Иваново-Вознесенске еще один жандармский ротмистр, Левенец, бывший гвардейский офицер, исключенный из гвардии за растрату казенных сумм, ухлопанных на карточный долг. Левенца никто и никогда не видел трезвым. Он ходил в старом, обтрепанном мундире, курил дешевые папиросы «Трезвон», занимал деньги у рядовых жандармов и отдавал долг только после многократных напоминаний. На службе он держался благодаря Шлегелю, который терпеть не мог людей умнее себя.

Донесения, составляемые Левенцом, были всегда кратки, он не любил себя утруждать. Когда доносить было не о чем, он выдумывал.

Кожеловский окрестил Левенца «скоморохом». Но в одном они сходились — Левенец также ненавидел Шлегеля и боялся его.

В руках трех этих людей было стотысячное население города. Сами по себе они ничего не представляли, но за ними стояла вся государственная власть, с судом, тюрьмами, каторгой, смертными приговорами. В их распоряжении были сотни городовых, конных стражников, казаков. По их вызову в любую минуту в город могли прибыть карательные отряды. Каждый житель города, исключая, конечно, фабрикантов, дворян и духовенства, мог быть арестован, заключен в тюрьму, избит по одному подозрению, по доносу домовладельца, дворника и просто шпика.

В середине марта главной задачей Шлегеля было найти подпольную типографию большевиков. Во-первых, это сулило награду и еще большую благосклонность высшего начальства; во-вторых ему надоело выслушивать донесения о все появляющихся и появляющихся листовках и прокламациях.

...Шлегель сидел за столом и, не глядя на сидевшего напротив Кожеловского, внимательно изучал листовку. Она была напечатана гектографическим способом на четвертушке обыкновенной писчей бумаги № 6. Кое-где строки лежали неровно, криво.

«Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ко всем рабочим города Иваново-Вознесенска.

Товарищи! Наши хозяева сбавляют нам полчаса, вводят 11-часовой рабочий день. Хозяева входят с нами в панибратские отношения, приходят (у А. И. Гарелина), дают папиросы и объявляют о своей милости рабочим. Что это такое?

Впрямь ли такая забота напала на хозяев об нас? Что за причина их благодеяний? Знайте, товарищи,— это волки приходят к нам в овечьей шкуре, чтобы легче обмануть нас, легче захватить добычу.

Боязнь забастовок заставила их скинуть полчаса. Скинувши полчаса, наши волки, однако, наверстают свое. Почти везде переменены шестерни и приводы. Ход у машин стал быстрее, труд рабочих будет напряженнее и тяжелее, а хозяева получат большую выгоду. Выходит, не мытьем — так катаньем».

Шлегель, дочитав листовку, сказал:

— Умно написано, ничего не скажешь. Поэтому и вредно, что умно.

Кожеловский махнул рукой:

— Особенного ума не нахожу. Так, обычная босяцкая агитация. Рабочие — овцы, фабриканты — волки. Не в первый раз.

— Вода камень точит, ваше благородие. А это посильнее. Это написано очень знающими людьми. Вы обратите внимание — ход у машин быстрее. Пронюхали, скоты!

Полицеймейстер, повертев листовку между пальцами, иронически заметил:

— Скажу вам по совести: содержание этих высокоталантливых произведений подпольных литераторов меня абсолютно не интересует. Вот если бы узнать, где их делают, это другое дело.

— Попытайтесь.

— Пытаюсь. Нюхаю.

— А может быть, извините, принюхались? Чутье в некоем роде потеряли...

Кожеловский побледнел от злости, встал и протянул руку к своему черному портфелю. Ротмистр мягко отвел его руку:

— Давайте не будем ссориться. Сейчас не время. Вы посмотрите, чем кончается эта листовка. Читайте вслух.

Полицеймейстер громко прочитал:

— «Долой самодержавие!»

— Ну как? Нравится? Поняли, ваше благородие? Это впервые здесь. Для здешних мест лозунг новый. Вот что нам с вами не нужно забывать. «Долой самодержавие!» Это значит долой и вас, и меня, и всех нас... А типографию мы найдем. Я уже зацепил одну ниточку. Тяну. Может, размотаю весь клубок. Но хочу вас предупредить: провинциальные методы надо сдать в архив. Враги у нас умные. Ум-ны-е!

В дверь постучали.

— Ну, кто там? Войдите!

Вошел дежурный:

— К вам какой-то студент, ваше благородие.

— Я занят.

— Говорят, что очень важное, неотложное дело.

— Пусть зайдет... Извините, ваше благородие.

Кожеловский поклонился и пошел к двери. В распахнутую им дверь не вошел, а влетел Игорь Кручинин. Увидев его, полицеймейстер удивленно пожал плечами.

Ротмистр предложил Кручинину стул, закурил и деловито спросил:

— Докладывайте! Что-нибудь важное?

Кручинин страдальчески сжал губы и театрально схватился руками за голову:

— Не могу я больше! Не могу! Освободите меня.

Шлегель брезгливо пододвинул ему стакан воды:

— Успокойтесь. Что вы, собственно говоря, просите? Чего вы не можете?

— Я жить не могу. Я иду по улицам, и мне кажется, что на меня все смотрят и шепчутся: «Смотрите, вот он идет».

— Кто же это «он»?

— Нехороший, противный человек.

Кручинин встал и, набравшись решимости, закричал:

— Я не хочу быть предателем! Не хочу!

Шлегель откинулся на спинку кресла и зевнул:

— Прекратите истерику, вы не девица. А насчет того, что вы не хотите быть предателем, я сомневаюсь.

— Как вы смеете так разговаривать со мной?

— Да, совершенно верно, я очень сомневаюсь, что вы хотите отказаться от сотрудничества со мной.

— Я мечтаю об этом.

— Зачем мечтать? Откажитесь. Это ваше личное дело.

— Значит, я могу отказаться?

— Пожалуйста. Как вам угодно.

— А как поступите вы?

— Это уж мое личное дело. Кто нам не друг, тот, стало быть, нам враг. Я постараюсь где-нибудь обронить вашу расписку, данную в петербургском охранном отделении, и копии протоколов вашего допроса. Обронить так, чтобы они попали в эти... как их... нелегальные газеты. А может, даже и в легальные. И все ваши знакомые, ваши друзья узнают, что любившая вас Вера Орлова столь отдаленным местопребыванием обязана вам. Это в лучшем случае. В худшем — вы однажды, возвращаясь ночью домой, натолкнетесь на какого-нибудь верзилу. Он слегка сожмет ваше горло у самого галстука, и, как пишут в некрологах, «горе осиротевших родителей не поддается описанию».

— Как это подло!

— Не люблю пышных слов! Они для поэтов Я человек практический. Почему подло? У каждого своя точка зрения. У поэтов солнце — источник жизни, светило, а для моего дворника Никиты солнце самый лучший дворник. Все, говорит, высушит во дворе, все приберет. Луна для поэтов — непременная спутница влюбленных, а для ночных воров чистая помеха. Найдите и вы свою, правильную точку зрения на ваши обязанности и успокойтесь. — Голос Шлегеля стал сух, в нем послышались повелительные нотки. — Успокойтесь и не смейте являться ко мне без вызова. Больше я от вас ваших сентиментов выслушивать не намерен. Идите.

Игорь встал и, шатаясь как пьяный, пошел к выходу. Дойдя до середины комнаты, он повернулся:

— Я покончу с собой. Вы будете во всем виноваты.

— Это ваше личное дело. Но я думаю, что вы буде-

те жить. До свиданья. Я извещу, когда вы мне понадобитесь.

Выпроводив незваного гостя, Шлегель звонком вызвал дежурного:

— Есть там кто-нибудь?

— Никак нет, ваше благородие.

— Никого не пускать.— Он посмотрел на часы.

— Вы не забыли, ваше благородие?

— Что?

— К Гарелину сегодня.

— Помню. Значит, никого не пускать. Через полчаса подать коляску.

Вскоре Шлегель, захватив из дома супругу, отправился на именины главы фирмы «Товарищество мануфактур И. Гарелин с сыновьями».

* * *

Предки у большинства иваново-вознесенских фабрикантов — Гарелиных, Куваевых, Витовых, Дербеневых, Зубковых, Грязновых и других — были крепостными.

К началу XX века Гарелины считались в округе самой богатой семьей. С их миткалеvоткацких, отбельных и ситценабивных фабрик ежегодно уходило на Нижегородскую ярмарку, в Москву, а оттуда расходилось по всей России почти два миллиона кусков ситца, бязи, миткаля, сатина, обойных и разных других тканей. В каждом куске было сто двадцать аршин. Гарелинскими тканями можно было несколько раз опоясать земной шар.

На Гарелиных работало несколько тысяч рабочих. Никто не знал, сколько у первейших иваново-вознесенских богатеев денег, но досужая молва говорила, что не меньше двадцати миллионов.

Главе фирмы, Александру Ивановичу, было за сорок лет. Это был крепкий, красивый человек, всегда хорошо, со вкусом одетый. Он ничем не походил на своих отдаленных предков—крепостных, ходивших в армяках и евших щи и кашу в общей трапезной из одной чашки. Он мало походил и на своего отца, всю жизнь не снимавшего долгополого сюртука, подстригавшегося по старинке под кружок и бившего своих детей за обедом ложкой по лбу. Александр Гарелин получил хорошее образование, не раз бывал за границей, и не только на курортах Ниццы и

Баден-Бадена. Он лично осмотрел многие текстильные фабрики Англии, Франции, Германии. Все, что было нового и безусловно сулило новые прибыли, Гарелин вводил на своих фабриках.

Многие из ивановских фабрикантов отличались чудачествами, прихотями. Мефодий Гарелин был настолько скуп и жаден, что мог догнать нищего и отобрать поданный женой гривенник, заменив его копейкой. Миллионер Фокин, державший отличных лошадей, выезжая на дачу, требовал, чтобы в плохую погоду вместо лошадей на станции его ожидал кучер Трофим. Кучер был богатырского сложения и легко доносил хозяина до дачи на закорках. Когда знакомые спрашивали Фокина о столь странном способе передвижения, он, удивляясь, переспрашивал:

— А как же? По такой дороге экипаж портится и лошадям трудно. А Трофиму одно удовольствие.

Сыновья Полушина все свободное время, а его у них было предостаточно, убивали на разные выдумки. Им ничего не стоило заложить парадную коляску и, усевшись в нее совершенно голыми, проехаться по всему городу медленным шагом. Впереди шествовал духовой оркестр.

Фабрикант Бурылин, совладелец крупнейшей Куваевской мануфактуры, все свои огромные средства вкладывал в музей. Он скупал мумии в Египте, древние книги у раскольников, фарфор в Китае, письма Толстого, рукописи Флобера. В огромном особняке, выстроенном специально для музея, хранились ценнейшие экспонаты, сделавшие бы честь любому национальному хранилищу.

Грязнов, внук крепостного, ходившего в лаптях и разбогатевшего после убийства проезжего купца, изощрялся в приготовлении необычайных блюд. Держал двух поваров, француза и грузина, которого сманил из какого-то южного приморского кабачка. Грязнов за всю жизнь не прочитал ни одной книги, не имевшей отношения к ткацкому делу и коммерции. Но он обладал редчайшей библиотекой поваренных книг на всех основных языках мира. За новый, неизвестный рецепт салата, соуса или сладкого блюда Грязнов не жалел тысячи рублей. Его мечтой было создать такое блюдо, которое вошло бы в историю кулинарии, как вошли бефстроганов, гурьевская каша. Но мечте так и не суждено было сбыться — не хватило фантазии.

Рабочие знали слабости своих хозяев и давали им пре-

зрительные клички. Мефодия Гарелина называли Мефодкой Сиротой, Грязнова окрестили Пузырем, Зубкова, любителя лошадей,— Конокрадом. Прозвища настолько прилипали к их обладателям, что одного из Дербеневых даже собственная жена под горячую руку величала Кащеем.

Но сколь ни различны были фабриканты по своему образу жизни и по привычкам, в одном они были одинаковы: в жестоком, беспощадном уменье выколачивать из рабочих каждую копейку. Не было, кажется, нигде такой дикой, бесчеловечной эксплуатации людей, как на текстильных фабриках Иваново-Вознесенского района.

У Гарелина прозвища не было. Он был просто Александр Иванович. Он знал в лицо всех своих рабочих, стариков-мастеров и подмастерьев, называл по имени и отчеству. Беседуя с рабочими, он никогда не повышал голоса, мог раскрыть золотой портсигар и раздать все папиросы.

Фокина, когда фабричный инспектор предложил ему устроить нормальную вентиляцию, чуть не хватил удар. Гарелин сам пригласил инспектора, посоветовался с ним.

И все же гарелинские рабочие зарабатывали столько же, сколько и остальные. Жилось им так же плохо. Но прибыли у Александра Ивановича было куда больше, чем у Фокина и Бурылина.

* * *

Старик-швейцар, приняв в ярко освещенной электричеством передней шинель Шлегеля и ротонду его супруги, гостеприимно пригласил:

— Пожалуйте, пожалуйте, батюшка.

— Что мало гостей? Экипажей у подъезда не видно.

— Всех отпускают. Приказывают приезжать не раньше часу ночи.

— И мой отпустят?

— Зачем же лошадкам мерзнуть?

— Пусть стоят, могут срочно потребоваться

— Ничего, если надо будет, на наших доедете.

Поднявшись по мраморной, устланной пушистым ковром лестнице на второй этаж огромного гарелинского дома и пройдя в большую, богато обставленную гостиную, Шлегель услышал сиплый голос Грязнова:

— Сегодня мне рецепт нового салата приволокли. Еще не пробовал, но, видно, толковая будет пища. У меня свои соображения появились. Хочу вместо чернослива миндаль положить...

Его перебил мрачный Зубков, давно страдавший печенью и сидевший поэтому на диете:

— Охота тебе болтать о таких пустяках! Приедешь домой, буди своего француза и толкуй хоть до зари.— Заметив Шлегеля, Зубков, не стесняясь, продолжал: — Уловитель заблудших душ прибыл! Вот с ним толковать сейчас в самый раз. Ну как, ваше благородие, будет у нас забастовка или минует нас чаша сия?

— Высказывать предсказания, к сожалению, в мои обязанности не входит.

— Жаль, ваше благородие. Не к гадалке же нам обращаться!

— Ничем не могу, к сожалению, помочь.

— Да что вы, ваше благородие, заладили — сожалею, сожалею! Жалеть нас нечего, не нищие!

Зубков раздражался все больше. Он уже не говорил, а кричал. На него стали оглядываться. Шлегель невозмутимо отошел от расходившегося фабриканта.

Толстяк Щапов начал увещевать Зубкова:

— Напрасно в ссору лезешь. Не вышло бы неприятностей. Донесет министру.

— Подумаешь! Сегодня он министр, а завтра ко мне в управляющие наниматься придет. А на Шлегеля я смотреть спокойно не могу! Вырядился, надушился... А у меня вчера в корпусах все простенки прокламациями заклеили. Он, как старый кот, мурлыкает, а мышей не ловит.

— Но потише все же надо...

— А я не на базаре, промеж своих.

В другом конце гостиной разговор хотя и в более спокойном тоне, но все же вертелся вокруг возможной забастовки и прокламаций.

— Скажите,— допытывала Шлегеля Витова,— правда ли, что от нас якобы отзывают казаков? Куда их переводят?

— Мне об этом ничего неизвестно. Но в одном я уверен: отзовут эти сотни — прибудут новые. Наш город и вас, дорогая, без охраны не оставят.

После обильного обеда хозяин попросил наиболее име-

нитых гостей в кабинет. Когда все расселись и закурили, Гарелин озабоченно сказал:

— Молодежь и дамы пусть там развлекаются, а нам, поскольку мы все вместе собрались, надо кое о чем посоветоваться. Рассказывай, Петр Ксенофонтыч.

Управляющий домовой конторой Гарелина Рыкунов, только утром возвратившийся из Москвы, начал докладывать о своей поездке:

— Утешительного в первопрестольной мало. Видел я Ивана Никаноровича Дербенева. Он накануне прибыл из столицы. Говорит, что беседовал с министром Коковцевым, спрашивал, какие предположения у правительства по рабочему вопросу. А тот ему якобы ответил: «Делайте как хотите, мы вам помогать ничем не будем, да и не знаем как». Так что вернулся он ни с чем

Зубков, ковыряя в зубах, проворчал:

— Не надо было и ездить! Словно не знал! Они все там в Питере головы потеряли...

Рыкунов продолжал:

— Позавчера в бирже было собрание. Зачитывалось резюме комиссии по рабочему вопросу. Решили, что платить рабочим за время забастовки никто не будет. И даже заключили такую конвенцию — не платить. Кто конвенцию нарушит и будет платить, тому бойкот. А в общем, шуму в Москве много, разговоров разных еще больше, но никто не знает, что делать.

Зубков возбужденно крикнул:

— Мы не знаем, зато они знают — товарищи! Что ни день, то новая прокламация. Я бы всех, кто пишет в газеты, в порошок истер. Пишут чорт знает о чем, а вот не догадаются написать для рабочих, чтобы не слушали агитаторов. Очень просто: агитаторы им работы не дадут. Все равно, как ни бастуй, а век доживать придется с нами, с фабрикантами. Рассказали бы народу — глядишь, и перестали бы по городу красные тряпки трясти.

Гарелин, не отвечая Зубкову, сказал:

— Мы должны об этом подумать сами. Время мы переживаем тревожное, застой в делах большой. В одиночку, вразбивку мы ничего не достигнем. Надо и нам действовать сообща, дружно. Рабочие на нас стенкой — и мы на них. Так и будем жить — стенка на стенку. Их, конечно, побольше, но мы зато поплотнее.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Случалось, и нередко, что открытие или изобретение, сделанное пытливым русским человеком, долгое время не признаваемое на родине, возвращалось из-за границы домой под новым, мудреным иностранным названием. Этой горькой судьбы не избежал и множительный аппарат, изобретенный в конце 60-х годов XIX века типографом Михаилом Ивановичем Алисовым. Многим техническим комитетам и министерствам предлагал Алисов свой чудесный ящик, заменявший труд доброй сотни переписчиков.

Аппарат рассматривали, удивлялись простоте его действия, одобряли дешевизну... и отказывались: «Ну к чему это нам!».

Через несколько лет изобретение Алисова вернулось на родину под новым названием, «гектограф», и быстро начало завоевывать свое место в государственных учреждениях, конторах торговых фирм и в армии. Но особенно его оценили революционеры. С помощью этого недорогого множительного аппарата даже небольшой студенческий или рабочий революционный кружок мог издавать прокламации и листовки. Правительство, разгадав, какую страшную силу таит гектограф, запретило пользоваться им без разрешения полиции. Только за одно хранение гектографа полагалось тюремное заключение, а за печатание листовок грозила каторга. Для изготовления гектографического слоя требовались химически чистый глицерин и желатин. Оригинал рукописи, с которого хотели сделать копии, писался специальными анилиновыми гектографическими чернилами. Желатин продавали в каждой бакалейной лавке. Труднее было раздобыть глицерин и гектографические чернила. Химически чистый глицерин, кроме аптек, нигде не продавали. Всякого, кто требовал его больше обычной дозы, аптекарь мог уже рассматривать как лицо явно подозрительное, о котором следует оповестить ближайшего городового или околоточного надзирателя.

И все же эти трудности были неизмеримо меньше возникавших при создании нелегальной типографии даже с самым несложным печатным станком. В этом случае всё — станок, шрифт, типографскую краску — приходилось добывать ценой невероятных усилий и опасности.

Поэтому самым распространенным средством для издания нелегальных листовок в конце XIX и в начале XX века оставался гектограф.

В конце марта Станко, ведавший типографией, по решению группы Северного комитета занялся военными делами. Он начал организовывать производство и склад оружия для небольшого отряда боевиков.

Но прежде чем отпустить Станко из типографии, группа обязала его научить Архипыча обращению с гектографом.

Поздно вечером, отработав вторую смену, Архипыч прямо с фабрики отправился в Хуторово, где на Сретенской улице Станко облюбовал себе комнату у одинокой, почти совсем глухой старухи. Впустив Архипыча, Станко поплотнее закрыл окно и предложил:

— Начнем?

— Давай показывай.

— Смотри... Сначала мы сварим уху.

— Какую уху?

Станко, разжигавший керосинку, засмеялся:

— Я так смесь для заливки гектографа называю. Она на самом деле ухой пахнет. Запомни рецепт: девять частей глицерина и одна часть желатина, растворенного в воде. Весов у меня нет, меряю стаканом. Но ничего, получается неплохо.

— А что в большой кастрюле?

— Вода.

— Зачем ты ее греешь?

— В нее я поставлю банку с глицерином, он будет нагреваться медленно и не подгорит.

Станко опустил банку с глицерином в кастрюлю с водой и, прибавив огня, часто опускал палец в глицерин, пробуя, как он нагрелся.

— Попробуй, Архипыч. Вот сейчас хорошо. Теперь мы в глицерин положим желатин и погреем еще немножко. Мешай чаще и не давай кипеть. Это все-таки не уха, пусть лучше немного не доварится...

Станко вооружился тряпкой и насухо вытер небольшой железный противень

— От ящика я давно отказался. Противень лучше: не вызывает подозрений. Смотри! Сейчас я буду разли-

вать. Надо, чтобы слой получился одинаковой толщины и верх у него был ровный, гладкий, как зеркало.

Он ловко опрокинул кастрюлю и залил противень ровным светложелтым слоем. От слоя шел легкий пар.

— Пока застывает, мы будем печатать на другом.

Он достал из-под койки покрытый газетой противень меньшего размера.

— Я его вчера промыл, сейчас буду заряжать.— Станко разгладил свернутый в трубочку оригинал листовки.— Переписывать всегда заставляй Якова. Не пишет, а словно печатает: буквы ровные, четкие. И следи за ним. Он два-три раза перепишет хорошо, а потом ему надоедает. А надо не меньше десяти раз, потому что с каждого оригинала получается самое большее полтораста оттисков. Затем надо смывать и заряжать новым оригиналом... Чуть не забыл: чернила мне достает Пучков...

— Наборщик из соколовской типографии?

— Да. Я ему завтра скажу, чтобы он тебе пару флаконов добыл. Пробовали мы писать разбавленной типографской краской. Получается, но чернилами лучше.

— А где глицерин берешь?

— Поставщик у меня один, Иван Токарев. У Витовых в печатной лаборатории работает. Он через день выносит в маленьком пузырьке, а как накопит — ко мне. Вчера приносил. Я тебя с ним познакомлю.

Рассказывая, Станко приложил оригинал к слою, несколько раз провел по нему валиком.

— Немного полежит, снимем и будем печатать. Хоть и канительное это дело, а я люблю им по ночам заниматься. Сначала одна листовочка получилась, потом вторая, третья... Смотришь — к утру большая пачка. Хорошо! Конечно, лучше бы нам настоящую типографию завести, но чего нет, того нет, будем пока этой пользоваться. Ну вот, Архипыч, все хозяйство. Орудуй. До поры до времени действуй здесь, а потом подыщем новое помещение. Ты сейчас давай самостоятельно печатай, учись, а я пойду.

— Куда?

— Дело одно есть...

Станко оделся и вышел. Архипыч посидел, покурил и принялся за работу. Стараясь подражать Станко, он аккуратно положил на слой чистую бумагу, провел по ней валиком и снял. Один край листовки отпечатался

плохо, буквы еле проступали. Архипыч наложил другую бумагу и провел валиком не один, а три раза, стараясь захватить всю поверхность. Сняв, он даже засмеялся от удовольствия: листовка получилась четкая, почти такая же, как у Станко.

А Станко тем временем шел к центру города, направляясь к оружейному магазину Рослякова.

Как-то «Отец», разговаривая с Балашовым о Станко, шутливо сказал:

— Из него бы вышел справедливый разбойник!

В этом случайно оброненном замечании было скрыто много наблюдательности. Даже в самой наружности Станко было что-то от старых, романтических сказок о добрых разбойниках. Огромные карие глаза ярко горели на смуглом лице. Из-под небольших усов мелькали белые, как кипень, зубы. На высокий лоб крутыми, плотными завитками падали темнокаштановые волосы. Высокий, широкоплечий, он ходил легкой походкой. Одевался Станко так же, как и все, но многим казалось, что он даже «форсун» — так складно и красиво выглядели на нем самые обыкновенные пиджак и кепка.

Ничто на свете Станко ненавидел так, как ненавидел он всяческие проявления деспотизма, жестокость. Тот, кто хоть однажды позволил себе в присутствии Станко унизить чье-либо человеческое достоинство, становился его личным врагом на всю жизнь. Правдивый, до предела честный, он не терпел лжи и обмана и навсегда прекращал знакомство с теми, кто легкомысленно относился к своему слову. Отважный, не знающий никакого страха, он охотно брался за самые опасные поручения. Но он не был безрассудным — в каждое порученное дело он вкладывал весь свой ум и смекалку.

Родись Станко во времена Разина или Пугачева, он, наверно, примкнул бы к казачьей вольнице. В начале XX века за свободу боролась партия большевиков. Станко без колебаний вступил в эту партию и беспрекословно выполнял все, что от него требовали. Сейчас от него требовали создать и вооружить небольшой отряд боевиков. Он не прикладывал руки к козырьку, не щелкал каблуками и даже не сказал: «Будет сделано», но «Отец» и вся группа Северного комитета твердо знали: отряд будет.

Подходящие люди для отряда нашлись. Сложнее оказалось раздобыть оружие. Покупать револьверы не хвата-

ло денег. У нескольких членов партии нашлись два-три «бульдога» и «смит-вессона». Станко решил, как он сказал кочегарам Сучкову и Мартынову, первыми вступившим в отряд, «одолжить» оружие в магазине Рослякова. Два вечера он заходил в магазин и приценивался к дорогому охотничьему ружью, за которое, он это знал, Росляков не уступит и копейки. Торгуясь, уходя и снова возвращаясь, словно он никак не мог уйти без понравившегося ему ружья, Станко внимательно рассмотрел расположение магазина Входная дверь запиралась изнутри на два огромных крюка и засов. Служащие и хозяин входили через черный ход, который запирался снаружи двумя висячими и одним внутренним замком

Станко повезло: он услышал, что хозяин вечером уезжает в Москву за товаром. Станко очень обрадовался этому обстоятельству: закрывать магазин будет старший приказчик, а он не будет тщательно осматривать все закоулки. А Станко уже заприметил небольшую, задрапированную ковром нишу, где, по его расчетам, мог спрятаться невысокий человек

О том, чтобы проникнуть в магазин через черный ход или взломать дверь главного входа, нечего было и думать. Лезть в окна тоже невозможно — на ночь опускались железные жалюзи. Оставалось одно: незаметно спрятать кого-нибудь в магазине на ночь. Для этого Станко и облюбовал нишу с ковром. Была еще опасность — сторож, охранявший несколько магазинов сразу и ходивший всю ночь вдоль тротуара

На другой день после отъезда хозяина Станко перед самым закрытием зашел в магазин с Костей Зуевым. Поздоровавшись со старшим приказчиком, Станко принялся рассматривать охотничье ружье, умоляя «уступить». Почти вслед за Станко вошли неразлучные друзья, кочегары с Куваевской Сучков и Мартынов. Они загородили нишу и громко спросили:

— Дробь есть?

Пока молоденький приказчик подавал им дробь, Костя юркнул за ковер. Станко продолжал торговаться, кочегары затеяли с приказчиком спор о дроби. Хозяйка, поняв, что от этих покупателей мало толку, заторопила старшего приказчика:

— Пора закрывать. Приходите завтра, господа!

Потоптавшись еще, «покупатели» по очереди покину-

ли магазин. Сначала ушел Станко, за ним, ухмыляясь, выскочили кочегары.

Через полчаса Станко увидел, как старший приказчик провожал домой одетую в зеленую ротонду Рослякову. Они шли спокойно, обсуждая какие-то свои дела. Донесся тихий голос хозяйки:

— Жду во вторник...

Убедившись, что Костя остался в магазине, Станко пошел домой.

Костя, по уговору, мог открыть входную дверь только в два часа ночи и после того, как услышит тройной стук по жалюзи. А до этого ему поручили приготовить не менее трех десятков револьверов и как можно больше патронов.

...Ночь стояла темная, безлунная. Неподалеку от магазина Станко увидел, как впереди вспыхнул и тут же исчез красный огонек. Потом огонек вспыхнул еще раз, рядом с ним появился другой.

Подойдя вплотную, Станко спросил:

— Где сторож?

Сучков и Мартынов в один голос ответили:

— Бродит тут...

— Который час?

Сучков осветил папиросой часы:

— Без пяти два.

— Пора... Ты, Алексей, останешься на улице и будешь следить за сторожем. Мы выйдем только после твоего стука. Пошли!

Станко три раза стукнул гайкой о жалюзи. И почти мгновенно с легким скрипом приоткрылась дверь. Станко и Сучков, как тени, проскользнули в магазин. Дверь тихо закрылась.

Мартынов стал за афишную тумбу, прислушиваясь, не застучат ли кожаные калоши сторожа.

Через несколько минут к магазину подошли двое в тулупах. Один тихо говорил другому:

— Открывали... Слышал...

— А может, тебе показалось?

— Я тебе говорю — открывали!

Один из сторожей подергал дверь.

— Смотри, закрыто...

— А может, они там сидят... Я пойду к управе за городовым.

— А я?

— Ты постой тут.

— Что я, с ума спятил? А вдруг они выйдут? Если они там, так не за конфетками забрались. Выскочат и прямо в морду выстрелят. Пойдем вместе.

Сторожа, подобрав полы тулупов, затрусили к управе. Алексей сообразил: медлить нельзя ни минуты. Он подскочил к магазину и стукнул в жалюзи. Тихонько скрипнула дверь.

— Скорее! Сторож заметил. В полицию побежал.

Первым из магазина выскочил Костя, за ним Сучков с большим свертком в руках. Последним не торопясь вышел, также со свертком, Станко и скомандовал:

— На вот, держи. Алексей, помоги Ефиму... — Он протянул ему пистолет: — Осторожно, заряжен. Пошли, ребята!

Все четверо быстро пошли сначала по Соковской, потом свернули на Негорелую. Вскоре до них донеслись свистки городовых и крики.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В конце марта Степану удалось наконец поступить в заварку на ситцевую фабрику Зубковых.

Место было незавидное. Все одиннадцать часов приходилось стоять по щиколотку в воде. Воздух в заварке был тяжелый, наполненный запахом каустика, мыла и нафтола. Машинисту промывного аппарата платили одиннадцать рублей, но и это уже было счастьем, так как число безработных росло с каждым днем.

Но в новом положении Степана имелось одно преимущество. Для холостых рабочих у Зубкова была «спальня» — огромная трехэтажная казарма. Важеватов очень привык к своему приделку у Прасковьи Федоровны, но, по совету Балашова, перешел жить в спальню.

— Во-первых, — доказывал Балашов, — на рубль дешевле, а во вторых, в спальне тебе найдется кое-какая работенка.

Степан похудел, осунулся. Внешне он теперь ничем не отличался от коренного иваново-вознесенского ткача. Пальто, суконный пиджак и барашковая шапка давно были проданы на толкучем рынке. Он обзавелся короткой

тужуркой, синей сатиновой рубашкой с белыми пуговицами и высоким картузом с лакированным козырьком.

Смотрительница спальни тетка Ираида отвела ему место на втором этаже, около окна с разбитым стеклом, из которого ночью немилосердно дуло. Степан заколотил дыру сиденьем от старого венского стула, которое он нашел во дворе. Вечером к окну подошел бледный до синевы рабочий. Его место на нарах находилось далеко от окна, у противоположной стены. Он, громко ругаясь, отодрал сиденье, разломал и выбросил.

— Барин, видно, у нас поселился, привык на перине спать! Свежего воздуха боится!

Он сильно закашлялся и лег ничком на пол. Сосед Степана по нарам, Никодим Соловьев, объяснил:

— Чахоточный, Куликов. Как только застеклят, он подойдет — звяк, и готово. Так и бросили стекла вставлять. Воздуха ему не хватает.

На другой день Важеватов стал героем дня не только в общежитии, но и на всей фабрике.

У иваново-вознесенских ткачей издавна в обиходе был обычай удалять с фабрики нежелательных людей на тачках. Случалось, потребуют рабочие от хозяев уволить заравшегося грубияна-мастера или не в меру усердного хозяйского подлипалу-браковщика — хозяева, понятно, на дыбы: «Как бы не так, не уволим!» Вот тогда появлялась тачка. Осужденного на вывоз ловили, сажали в рогожный куль, укладывали на тачку, вывозили под «Дубинушку» с фабричного двора и сваливали в дорожную канаву, а нередко на свалку.

В тот день, когда Степан перебрался в спальню, на фабрике произошел такой случай. Сшивалка товара, молодая бойкая Евдокия Рожнова тихонько расщипывала кусок рогожи. Это увидел проходивший мимо конторщик Власиков и поспешил донести об этом начальству. Начальство переполошилось, заметалось по фабрике, гадая, кого на этот раз решили «прокатить» в рогожном куле.

Вызвали полицейского надзирателя. Тот немедленно прибыл, как всегда в сопровождении казаков Управляющий фабрикой, надзиратель, казаки и вездесущие фабричные приставы окружили Евдокию. А она нимало не смущаясь таким вниманием, спокойно продолжала щипать рогожу.

— Куль мастеришь? — взвыл управляющий.

Рожнова подняла голову, посмотрела на окружившую ее ораву и рассмеялась:

— Да что вы, мужики! Две недели в бане не была, страсть как спина чешется. Мочалку готовлю...

Сбежавшиеся рабочие загрохотали. Конторщик Власиков, желая хоть чем-нибудь выслужиться, замахнулся на Рожнову кулаком:

— Врешь, подлая! Говори, куда куль спрятала?

Ударить Евдокию Власиков не успел. Степан схватил его за руку и легко, как слабенького подростка, отшвырнул от Рожновой. Власиков, не удержавшись, растянулся на скользком полу, Важеватов погрозил ему пальцем:

— Храбер с бабами! Поаккуратнее руками размахивай!

И не сказав больше ни слова, пошел к своему аппарату. Все остолбенели. Швырнуть конторщика в присутствии управляющего, полицейского надзирателя и казаков — нет, на это мог решиться не всякий.

Управляющий, побледнев от гнева, закричал:

— Уволить! Расчет ему! Кто такой? Взять!

Тогда из толпы рабочих вышел угрюмый Анфим Крутов. Он засунул руки за ремень и, глядя на управляющего в упор, ровным голосом сказал:

— Хотим предупредить, ваше степенство: уволите этого парня — все забастуем. Лучше не тронь!

Вечером в спальне Степана встретили одобрительным гулом. Со старого места его перевели в теплый, светлый угол. Когда он, окруженный молодыми рабочими, сидел на табуретке у своих нар, к нему подошел Куликов:

— Прости меня, что я тебя вчера барином назвал. Вижу, не барской ты крови, а нашей, рабочей. Молодец!

Балашов, узнав о его подвиге, как будто вскользь обронил:

— Выделяться тебе не надо.

Степана это сначала удивило и, чего греха таить, обидело.

Заметив его недовольство, Балашов сказал:

— В Шую надо еще раз тебе съездить. За бумагой. А на мое замечание не обижайся — я правду говорю: нам выделяться не надо. Ну, как поедешь?

— Поеду.

— Вот и помирились. Собирайся, я скажу, когда выезжать.

* * *

«Отец» беседовал со Станко:

— Сколько, говоришь, добыли?

— Тридцать шесть «смит-вессонов», восемь «бульдогов», патронов...

— Ясно,— перебил «Отец».— Ну что ж тебе сказать, товарищ Станко? За оружие тебе спасибо, а за метод, которым ты его заполучил, стоило исключить тебя из партии.

— За что?

— За нарушение партийной дисциплины. Ты не имел права идти на экспроприацию вообще, а без ведома группы тем более. Сегодня ты ограбил оружейный магазин, завтра другой кто-нибудь, вроде тебя, казначейство обчистит. Мы не уголовники, и кражами нам заниматься не с руки. Нечего полицейским языкам пищу давать. Они рады будут! Загалдят: «Социал-демократы — грабители!»

— Я же хотел...

— Оправданий тебе, товарищ Станко, нет. Ты виноват...

— Верно, виноват,— сказал Станко и поднял глаза на «Отца».— Понял. Очень виноват. И даю слово: это никогда больше не повторится.

«Отец» снял очки и уже другим, более мягким тоном произнес:

— Вот и хорошо, что понял.

— А как быть с оружием?

— Обратно не понесем... Сдай пока Балашову. Тебе надо ехать.

— Куда?

— В Москву. Надо привезти шрифт. Адрес такой: Москва, Каретный ряд, дом Немчинова, квартира девять. Звонить два раза. Когда откроют, сказать: «Я от портного, за материалом». Тебе ответят: «Войдите, сейчас вынесем». Запомнил?

— Все запомнил. Шрифта много?

— Много. Привезешь — можем наладить типографию.

— А станок?

— Будет... И еще — напомни при разговоре, что обещали прислать нам опытного пропагандиста.

— Скажу.

— Обязательно.

* * *

В первое посещение Шуи Степан из-за недостатка времени не успел рассмотреть уездный город. Он едва-едва сумел разыскать Павла Гусева и, получив от него бумагу, добраться до водокачки, где машинист Ветров и Яков нарочно задержали паровоз.

Во второй приезд Ветров вел товарный состав до станции Новки и должен был возвратиться в Шую только к вечеру следующего дня. Этот день приходился на воскресенье, фабрики не работали, и Степан мог не торопиться. Погода выдалась теплая, настоящая весенняя.

Утром немного подморозило, а к полудню зашумели ручьи, на пригорках от земли шел пар. Степан уговорил Павла Гусева показать ему город.

Как только они вышли на большую Ивановскую улицу, Павел показал на новый, широкий, с десятком окон дом:

— Вот первая наша достопримечательность: дом бакалейщика Козлова. Охотно продает нашему брату в долг. Для постоянных покупателей завел заборные книжки. Допустим, захотелось тетке Анфисе поесть пшенной каши с постным маслом. На пшено она кое-как денег наскребла, а на масло не хватает. Она к Козлову:

«Выручи, Дмитрий Алексеевич, запиши за мной полфунта масла».

«Пожалуйста, Анфиса Антоновна, с удовольствием».

Отвесит полфунта масла, конечно, самого паршивого. Или одни подонки, или прогорклого. А тетка Анфиса и этому рада — все же масло.

«Спасибо, Дмитрий Алексеевич, век не забуду!»

«И я не забуду. У меня записано. Дай твою книжечку».

Берет Козлов книжку и записывает.

«Батюшка, да что это ты записал? Что-то уж очень дорого! У всех масло на пятак дешевле».

«У всех, матушка, за наличные, а у меня в кредит. Я ведь, Анфиса Антоновна, рискую. За тобой по книжечке шесть рублей значится. Долго ли тебе заболеть? Заболеешь, а потом умрешь. С кого я буду твой долг взыскивать? С царя небесного? Вот этот пятачок я за риск и беру».

В получку Козлов со всех должников все, до последней полушки, сдерет. Вон какие хоромы выстроил. Мать моя пришла к нему в лавку и говорит:

«А ведь фундамент под твоим домом мой».

«С чего это ты взяла?».

«Из моих пятаков».

На этом знакомство кончилось. Больше он матери ни в кредит, ни за наличные не продает. И книжку заборную порвал.

«Иди,— говорит,— к Носкову, у него все бери».

Лавка Носкова в городе, от нас версты три. Теперь мать и бегает туда за каждым пустяком.

На Московской улице Павел указал на красивый двухэтажный дом, облицованный разноцветными плитками.

— Еще одна наша достопримечательность. Теремок на крови. Терем-теремок, кто в тереме живет? Жулик и убийца, подрядчик строительных работ Терпилов. Приехал в Шую босой, в одной рубахе. Поступил к купцу в дворники. Вскоре купец отбыл в загробный мир и, как говорят, не без помощи дворника. Через год вдова купца вышла за дворника замуж. Ей было под шестьдесят лет, а ему тридцать. Через два месяца купчиха поела рыбы, занедужила и отправилась вслед за первым супругом.

Дворник Васька стал купцом Терпиловым. Наследники шум поднимали, требовали следствия, но ничего не добились. Терпилов сейчас церковный староста, попечитель приюта. Вся полиция, духовенство, городские власти знают, что он убийца, а обедают у него, христосуются с ним. Недавно какую-то медаль ему выхлопотали.

Пройдя Московскую улицу, они повернули налево, обогнули стоявшую на углу церковь и вышли на длинный деревянный мост через реку Тезу. На мосту стояло много народу. Перила скрипели под тяжестью облокотившихся на них людей, наблюдавших за ледоходом. От берега оторвалась большая льдина. Сначала она медленно, словно раздумывая, стоит ли ей пускаться в путь, повернулась, затем, попав на середину реки, слегка покачиваясь, понеслась к мосту. В толпе послышалось:

— Эта качнет!

Но льдина налетела на ледорез, раскололась и скрылась под мостом. Чей-то голос с сожалением произнес:

— Не выдержала. А то бы качнула. В прошлом году...— и не договорил.

Перила скрипнули особенно сильно, одна из стоек повалилась. Толпа отшатнулась на середину моста, и в тот же миг пронзительный женский крик ударил людей в самое сердце:

— Спасите!

Степан увидел: в воде, у самого ледореза, барахталась девочка. Через секунду она скрылась под мостом, там, где недавно прошла льдина. В расступившейся толпе металась молодая, хорошо одетая женщина с детской беличьей муфтой в руке.

— Спасите, Наташу мою спасите!

Важеватов перебежал на другую сторону моста, снимая на ходу тужурку и фуражку:

— Павлуша! Держи.

Он вскочил на перила и, сильно оттолкнувшись ногами, прыгнул далеко вперед и очутился почти около девочки. Степан увидел ее широко раскрытые, полные ужаса глаза. Затем голова девочки исчезла под водой, и только маленькая детская рука, словно умоляя о помощи, несколько секунд виднелась над рекой. Важеватов нырнул, схватил ребенка обеими руками и поднял над мутным потоком. Потом он обнял свою драгоценную ношу одной рукой и поплыл к высокому, не залитому водой правому берегу, откуда какие-то парни уже спешили к нему на лодке.

На берегу под навесом, около больших кип с хлопком, стояла толпа людей. Степан вынес девочку и подал ее матери. Стуча зубами от холода, он сказал, ни к кому не обращаясь:

— Водочки бы сейчас стаканчик...

Из толпы выскочил молодой рабочий с полбутылкой водки в руках. Он ловко вышиб ладонью пробку:

— Пей, дорогой! Пей, сколько душа примет. Грейся...

Степан отпил несколько глотков и, поддерживаемый Павлом, пошел в пристанскую сторожку. К нему подбежала мать спасенной девочки:

— Скажите, за кого я молиться должна? Как ваше имя, отчество? Где вы живете? Как мне найти вас?

Важеватов, забыв от волненья свое положение, сказал:

— Зовут меня Степаном, по отчеству Ильич...

И тут же спохватился. На него в упор смотрел Игорь Кручинин.

— А фамилию мою знать не к чему. И благодарить меня не за что.

...Степан сидел на скамейке, завернувшись в тулуп сторожа. Павел, развешивая его одежду около раскаленной железной печки, приговаривал:

— Герой! Я оглянуться не успел, как ты прыгнул...

Увидев, что сторож, взяв топор, ушел за дровами, Павел тихо сказал:

— Значит, тебя Степаном раньше звали. Ну ладно, поговорим об этом после. Отогрелся? А знаешь, чью ты девочку вытащил?

— Откуда мне знать?

— Был у нас в Шуе инженер Перевощиков. Очень хороший человек. Убит под Порт-Артуром. Так это его дочь.

— Меня это, Павлуша, совсем не интересует. Не нравится мне, как он на меня смотрел.

— Кто?

— Один мой знакомый. Еще по Питеру. Как я его раньше не заметил?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Михаил Фрунзе жил в Москве третью неделю. В Московском комитете партии его снабдили паспортом на имя Бориса Точанского, родом из города Ташкента, и небольшой суммой денег. Питался он в студенческой столовой на Никитской, ночевал в маленькой комнатке на Пречистенке, неподалеку от Первой мужской гимназии. Из окна Михаилу был виден двор, где в большую перемену играли гимназисты. Совсем, кажется, недавно он вот в такой же серой шинели ходил по улицам Верного с книгами и тетрадками, перевязанными узеньким ремешком. А сейчас он профессионал-революционер, целые дни проводит в библиотеке Румянцевского музея и ждет, куда пошлет его подпольный комитет большевиков.

Раньше Михаил бывал в Москве только проездом и почти не знал города. Теперь он бродил по улицам, заходил в музеи, подолгу не уходил из Кремля, любуясь его старинными постройками. На Сенатской площади,

там, где бомбой, брошенной 4 февраля Иваном Каляевым, был убит генерал-губернатор, стоял крест, огороженный решеткой. У креста теплилась лампада. Фрунзе заметил: люди шли мимо креста равнодушно, не останавливались. Только две старухи подошли, перекрестились и направились дальше. Однажды он попал на Пресню. На Прохоровской мануфактуре как раз кончилась смена. Из проходной один за другим выходили рабочие, отряхиваясь, поправляя одежду после обыска.

За высоким забором шумела фабрика. Через решетчатые железные ворота видно было, как толпа рабочих помогала шестерке лошадей везти большой котел.

Хриплый бас однотонно командовал:

— Пошел, пошел! Взяли!

Но котел долго не трогался с места и только после особенно надсадного крика загремел по булыжной мостовой.

Разве мог Михаил предполагать, что пройдет всего лишь семь месяцев и он будет в этом самом дворе лежать в укрытии и вести огонь по наступающим семеновцам!

А пока Михаил один раз в неделю заходил в условный час в первое отделение почтамта у Патриарших прудов. За высокой конторкой для посетителей писал письмо молодой человек в очках.

Михаил негромко спрашивал:

— Простите, вы скоро освободите место?

Человек поднимал голову и внятно отвечал:

— Пожалуйста, занимайте через пять минут.

Это означало, что никаких новостей для Фрунзе нет, он может спокойно уйти и обязан явиться через пять дней. В конце апреля после обычного вопроса человек ответил:

— Пожалуйста. Я освободился.

Михаил подошел к конторке и услышал:

— Вы что-то обронили.

У ног лежала бумажка. Он поднял ее и прочитал:

«Завтра. В шесть вечера. Каретный ряд, дом Немчинова, квартира 9. Звонить три раза».

На звонок дверь открыла молодая женщина в сером шерстяном платье с кружевным воротничком.

— Раздевайтесь. Проходите.

В переднюю вышел худощавый человек с небольшой бородкой и длинными волосами.

— Добрый день, товарищ Фрунзе. Ждем вас. Очень ждем.

В комнате за столом, покрытым белосиней клетчатой скатертью, сидели двое. Один молодой, почти юноша, с большими карими глазами на бледном лице и маленькими темными усиками. Второго, постарше, с небольшой бородкой клинышком, в пенсне, Михаил узнал сразу. Он случайно познакомился с ним осенью в Петербурге, на квартире путиловца Семенова.

Семенов тогда рассказал Михаилу, что товарищ Воронин не раз сидел в тюрьме, бежал с каторги, а сейчас, совсем недавно, нелегально приехал из Женевы, от Ленина.

И Воронин узнал Михаила. Он встал и, протягивая руку, приветливо улыбаясь, произнес:

— Вот мы с вами снова встретились, товарищ. Очень рад видеть вас в добром здравии. Познакомьтесь — это товарищ Станко, иваново-вознесенец...

Кареглазый встал и молча крепко пожал Михаилу руку. Вошла женщина в сером платье с подносом. Расставив стаканы с крепким чаем, она ушла, плотно прикрыв за собой дверь.

— Ну, как вы себя здесь чувствуете? — спросил Воронин.

— Очень хорошо. Любуюсь Москвой, но, признаюсь, без дела уже надоело...

— Давайте говорить о деле. Есть предложение послать вас в Иваново-Вознесенск. Как вы на это смотрите?

— Я готов ехать куда угодно и когда угодно.

Кареглазый одобрительно улыбнулся. Воронин деловито продолжал:

— Очень хорошо. Вы поедете в Иваново-Вознесенск в горячее время. Товарищ Станко вам о своем городе многое расскажет. Он влюблен в него, считает, что это самое лучшее место на земле.

Станко снова сердечно улыбнулся Михаилу:

— Не спорю, есть города получше. Но мне Иваново-Вознесенск всех милее.

— Вот видите,— продолжал Воронин.— Так что уж

кто-кто, а он вам про новое место вашего жительства все выложит. Скоро там ожидается большая забастовка. Хочу вас предупредить об одной особенности. Иваново-вознесенская партийная организация входит в Северный комитет. У них сейчас трудно — не хватает людей. Получилось, что и Московский комитет не стоит в стороне от иваново-вознесенцев, помогает всем, чем может. Вы тоже, если хотите, олицетворение этой помощи. Но вообще настала пора организовать в Иваново-Вознесенске самостоятельную организацию, городской комитет. Вот это и будет наряду с другим вашим делом...

Воронин очень хорошо знал Иваново-Вознесенский промышленный район, бывал во Владимире, Шуе. Он многое рассказал Михаилу, о многом расспросил и его. Он не навязывал своих советов, а мягко, незаметно давал понять, что надо делать.

— Владимир Ильич говорит, что самое главное сейчас — организовать рабочих для прямой борьбы с самодержавием... Успешная борьба с ним невозможна без широких и разносторонних рабочих организаций, без сближения их с революционной социал-демократией. Работы у вас в Иванове будет много. И еще об одном хочу вас предупредить — иваново-вознесенцы сходятся с новыми людьми туго, не сразу. Дело, понятно, не в излишней подозрительности, а в том, что к ним иногда по ошибке попадали любители пышных фраз. А народ там решительный и деловой.

Станко снова улыбнулся Михаилу:

— Не пожалеете, что к нам едете. Город наш замечательный, и народ у нас хороший...

На прощанье Воронин совсем уж по-отцовски сказал:

— Ну, одним словом, благословляю! Будьте осторожны. Помните, вы в Иваново-Вознесенске партии очень нужны. Соблюдайте все правила конспирации.

* * *

Шлегель вызвал Игоря Кручинина на понедельник. Но Кручинин в назначенный час не явился. Ротмистр приказал навести справки. Через полчаса переодетый в штатское жандармский унтер-офицер Вяткин беседовал с дворником дома, где жил Кручинин, о всякой всячине и ненароком вызнал, что молодой барин еще в субботу уехал погостить к тетке в Шую.

— Болен он у нас. Говорит, подцепил в Петербурге какую-то новую болезнь. Жара никакого не дает, а человек худеет, бледнеет. Да вон он, с поезда шагает. Пойду мамаше ихней доложу.

Поздно вечером Кручинин, явившись по вызову ротмистра, устало сел в кресло и закурил.

— Я вас слушаю. Зачем вы меня вызвали?

Шлегель с удивлением отметил странные изменения в поведении студента.

— Затем, чтобы сказать: пора начинать работу. Мне надо, чтобы вы как можно скорее установили связь с местной организацией большевиков.

— Хорошо. Постараюсь. Но это, предупреждаю вас, очень трудно.

— Поэтому я вас и тороплю.

Кручинин замолчал. Последние два дня он не переставая думал о Важеватове. Закрывая глаза, видел шуйскую пристань, мать погибающей в реке девочки и Степана — мокрого, с синими от холода губами: «Зовут меня Степан, отчество Ильич...» Рассказать Шлегелю об этой встрече или нет?

— О чем вы думаете?

Кручинин улыбнулся и небрежно произнес, доставая из портсигара свежую папиросу:

— Не знаю, может быть я ошибаюсь, но, мне кажется, я напал на след.

Шлегелю пришлось удивиться еще раз. Но, верный своей привычке держаться со своими агентами настороженно, он равнодушно сказал:

— Интересно. Расскажите, что это за след. Верный или ложный?

— По-моему, верный.

И Кручинин все, что он знал о Степане, рассказал ротмистру. Шлегель уже не ходил по кабинету, а сидел за столом, торопливо записывая:

— Так. Значит, выдает себя за убитого Ивана Никитина. Интересно. Очень интересно. Живет в Иваново-Вознесенске, а ездит зачем-то в Шую. Очень интересно. Очень. Знакомого называют Павлом... А скажите, как выглядит этот Павел?

— Как обычно: молодой рабочий

— Особых примет не заметили?

Кручинин недовольно пожал плечами:

— Позвольте, я же все-таки...

— Извините...

Шлегель встал и торжественно протянул Игорю руку:

— Большое вам спасибо! И не только мое. Выражаю вам благодарность от имени государя императора. За правильно понятый вами долг. А теперь — к делу. Конечно, этого беглого солдата, понятно с вашей помощью, легко выследить, посадить и по этапу сопроводить в столицу. Но мы этого не сделаем. Такую глупую роскошь мы себе не позволим. Он от нас никуда не уйдет. Рано или поздно мы его прихватим. Но пока за ним надо наблюдать. Осторожно. Вдумчиво. Вам надо его найти и восстановить знакомство. Может, это как раз та самая печка, от которой надо танцевать.

* * *

— Так вот, Павлуша, я вовсе не Иван Никитин, а Степан Важеватов. Никогда я на Путиловском не работал, а служил в солдатах. Сказать об этом раньше я не решался ни Якову, ни Семену Ивановичу. Думал, не поверят, бросят меня, а мне без всех вас жизни нет. Ну, что ты на это скажешь?

— Что скажу? Хочется мне тебе поверить. Наверно, поверю, и не только я. Но бумагу я сам к Якову снесу. А тебе советую — возвращайся с пассажирским в Иваново-Вознесенск и жди, когда за тобой Семен Иванович кого-нибудь пришлет. Сам к нему не ходи. На улице увидишь его или Якова, это все равно, не здоровайся, не подходи. Не обижайся. Дело наше трудное, суровое, и мы обязаны быть строгими. За каждым нашим шагом следят враги. Враги умные, злые. Растяпами нам быть не дозволено. Иди. Свидимся — поговорим...

Дома, в зубковской спальне, Степана ждала тяжелая весть. Аким принес письмо от Наташи, которое она послала по старому адресу.

«Дорогой Ваня,— писала она,— у нас огромное горе: мы похоронили маму. Она, бедная, не выдержала всего, что постигло нашу семью. И папа очень плох, похудел страшно, измучился, все кашляет и не спит по ночам. Вот какая нерадостная у нас выходит жизнь. Ваня, милый, очень я по тебе соскучилась. Если бы у меня были крылья — прилетела бы к тебе хоть на один час...»

Степан сидел на нарах, понуро опустив голову. Аким тронул его за плечо:

— Ты что, брат, загрустил? Неприятные вести из дома получил?

— Мать умерла,— сказал Степан и сам вздрогнул от этих простых и страшных слов. «Как же так? Моя мать жива»,— подумал он. Он вспомнил Дарью Михайловну и все, что она для него сделала. «Да, вторая мать Такая же родная и близкая».

— Мать умерла,— повторил он и вытер рукавом слезы.

Аким сел рядом:

— Вот и будем вместе горевать. У тебя мать умерла, а я вчера из тюрьмы извещение получил. Не выдержала моя Стеша... Повесилась.

На другой день Степан, выйдя из проходной, стал около покосившейся афишной тумбы, раздумывая, куда ему идти. Дома, в спальне, делать было нечего, и он, вздохнув, пошел без всякой цели вдоль грязной улицы. Совершенно неожиданно он услышал сзади голос Якова:

— Приходи к десяти вечера в Рылиху, к Анне Семеновне. Ждать буду. Не опаздывай.

Важеватов даже не успел ничего ответить. Яков, не оглядываясь, быстро обогнал его и пошел дальше, разбрызгивая лужи.

Ровно в десять Степан был у домика Анны Семеновны. Еще издали он увидел Якова. «Меня поджидает»,— подумал он и не ошибся. Яков хмуро сказал·

— Пошли дальше.

— Куда?

— Куда поведу.

Они долго шли по узеньким уличкам и кривым переулкам. Яков всю дорогу молчал и только раз обронил:

— Держись ближе к забору. Тут утонуть можно.

Наконец они пришли к низенькому, покосившемуся домику. Света в окнах не было. Казалось, в доме никого нет или все уже давно спят.

— Постой. Я сейчас.

Яков скрипнул калиткой и исчез в темноте. Вскоре он вернулся и коротко скомандовал:

— Идем!

Открылась дверь, и они очутились в крохотных сенях.

На скамейке рядом с ведром воды стояла пятилинейная лампочка. Яков запер дверь на засов и сказал:

— Проходи.

В комнате с большой русской печью за столом сидели Балашов, Павел Гусев и еще несколько незнакомых Степану мужчин и одна женщина.

Человек с большой бородой, в очках, сидевший рядом с Балашовым, приветливо поздоровался:

— Ну, здравствуй, Иван... или Степан. Как тебя правильно звать?

— Степан.

— А по отчеству?

— Ильич.

— Вот что, Степан Ильич, расскажи нам всю правду. Всю Кто ты, как к нам попал, зачем. Говори смелее. Все, что ты скажешь, дальше этой комнаты не пойдет.

У Степана от волнения с трудом повиновался язык. По пути сюда он думал: «Я все расскажу, мне поверят, и опять можно будет жить хорошо, с сознанием, что в любое время можно повидать Якова, Акима. Можно будет рассказать Якову и Акиму о Наташе, о доме и находить у них полное сочувствие и душевную поддержку».

А сейчас, стоя перед этими суровыми, пристально смотревшими на него людьми, Степан с ужасом подумал: «Не поверят они мне! Я совсем чужой для них».

Голос у него дрожал и прерывался:

— Не знаю, как вам все объяснить. Я в гвардии служил... Потом он мне книжку дал ..

— Кто дал? Какую книжку?— спросила женщина.

— Никитин...

Очкастый, с большой бородой заметил:

— Подожди, не мешай! А ты, парень, спокойнее, не волнуйся.

Больше его не перебивали. Только когда он сказал, что покойный Иван Никитин давал ему читать нелегальную литературу и в том числе «К деревенской бедноте» Ленина, бородатый спросил:

— Ну, и как по-твоему, правильно Ленин написал?

Степан убежденно ответил:

— Уж так правильно, лучше не скажешь!

Рассказав все, не забыв упомянуть о последней поездке в Шую и о встрече с Кручининым, Степан заключил:

— Все. Больше мне рассказывать нечего. Я все открыл.

Балашов спросил у бородатого:

— Что дальше будем делать, Федор Афанасьевич?

«Отец», подумав, обратился к Степану:

— А доказать свои слова чем-нибудь можешь?

— Могу.

— Чем?

Степан протянул «Отцу» письмо Наташи и талон почтового перевода:

— Она мне деньги переводила. Братом меня называет.

«Отец» внимательно рассмотрел талон и письмо.

— Хорошо, Степан Ильич. Выйди на минутку. Мы тут кое-что обсудим. Яша, проводи.

Как только захлопнулась дверь, Балашов оживленно сказал:

— По-моему, правду говорит...

«Отец» остановил его:

— Подожди, Семен Иванович, твоя очередь сегодня последняя. Как твое мнение, Илья Михеич?

Пожилой рабочий с яркими голубыми глазами, смотревшими из-под густых бровей, поддержал Балашова:

— Конечно, правду. По всему видно — хороший человек.

— А ты как, Архипыч?

Федор Самойлов кивнул головой:

— Можно верить.

— А ты, Мария Федоровна?

— Подумать надо... Как будто верный человек, а там кто его знает, что у него на уме.

«Отец», тщательно, как всегда, подбирая слова, сказал:

— Шлегель и Кожеловский нам не страшны, пока они в мундирах. А вот если у Шлегеля помощники заведутся среди нас, не в мундире, а в рубашке с поясочком, да с нами в лес на собрание, а потом в охранку побегут — это хуже пса, хуже змеи: кусает и жалит потихоньку, невзначай.

Балашов решительно бросил:

— Такому псу голову в мешок да в воду!

— А может, и поздно будет. Пока ты его спрячешь, он о тебе все уже донес, доложил. И ты, Семен Ивано-

вич, допустил большую ошибку. Ты ему дал адрес Павла Дмитрича, доверил бумагу привезти, а дело вон как обернулось. Хорошо, что еще так вышло. Я тоже ему верю, чистый парень, не плут. А ведь могло выйти хуже. Я думаю, надо нам так решить: первое — в солдате не сомневаться. Но временно ему ничего не поручать, поскольку в дело вмешался сын акцизного. А от него надо держаться подальше. Пусть Яков с Важеватовым почаще встречается. Семену Ивановичу за допущенную беззаботность — указать. Кто за это мое предложение, прошу поднять руку.

Решение было принято единогласно. «Отец» попросил Самойлова:

— Позови, извелись они там оба.

Степан по улыбке «Отца» понял, что ему поверили, и невольно заулыбался сам. Понял и Яков. Он крепко сжал локоть приятеля.

— Иди, товарищ Никитин, спокойно домой, — сказал «Отец».— Ты для нас как был, так и останешься Никитиным. И ты, Яков, иди. Об одном я тебя, Никитин, попрошу: не всегда сам за любое дело берись. Сначала посмотри, нет ли кого поблизости, кому поручить можно.

— Когда я в воду прыгал, рассуждать было некогда.

— Я не об этом. Тогда ты совершенно правильно поступил. А вот конторщика Власикова бил напрасно. Руку ему мог отвести, а бить не стоило. Надо было после с рабочими посоветоваться, как они думают, и навалиться на Власикова всей кучей, увольнения требовать или на тачке прокатить. Понял?

— Начинаю понимать.

— Вот и хорошо! Ну, будь здоров. Мы еще поговорим с тобой.

Яков и Степан ушли. Слышно было, как Яков в сенях сказал:

— Ну, что я тебе говорил?

— А ты мне ничего не говорил. Молчал, как пень.

«Отец» засмеялся и довольно произнес:

— Дружки... Это хорошо! А теперь, товарищи, перейдем к нашим делам. На повестке у нас два вопроса: о ходе подготовки к забастовке и о праздновании Первого мая. Давай, Семен Иванович, докладывай твои соображения.

ГЛАВА ЩЕСТНАДЦАТАЯ

Почти треть тканей, выработанных на его фабриках, Гарелин сбывал на Нижегородской ярмарке, продолжавшейся ежегодно с 15 июля до 5 сентября. Хотя Гарелин и имел на ярмарке фирменный магазин, но розничная продажа существовала лишь для рекламы. Бойкие, ловкие, хорошо одетые продавцы так и летали, выкидывая на прилавок перед покупателями куски пестрых ситцев, гладко окрашенных сатинов, белоснежных, с чуть заметной голубизной батистов. Здесь начинался, а в отдельном кабинете ресторана кончался разговор гарелинского управляющего с крупными оптовиками. С особо почетными клиентами Александр Иванович беседовал сам, то и дело одним пальцем приказывая всепонимающим лакеям наполнять бокалы.

Плыли потом по Волге-матушке баржи, груженные гарелинскими тканями, в Казань, Самару, Царицын и Астрахань. Везли их по железным и шоссейным дорогам по всей России. Несли в тюках верблюды в Семиречье, в Монголию, Персию.

Перед Нижегородской ярмаркой успешно совершались, конечно, не крупные, но все же неплохие сделки на Кинешемской ярмарке, начинавшейся в июне, и на Шуйской, проходившей неделей позже.

К ярмаркам начинали готовиться с весны. Опаздывать не годилось: слишком много развелось конкурентов. То московская ситценабивная фабрика товарищества Циндель ножку подставит — пустит ситец на копейку дешевле, то ближний сосед, шуйский повелитель Павлов, такие расцветки выпустит — только удивляйся, где он такие красители добыл.

С половины апреля начинали приходить письма от агентов из Нижнего, Петербурга, Одессы, Астрахани.

В конце апреля Гарелин, как правило, отправлялся в Москву, затем заезжал на неделю в столицу: заглянуть на биржу, в министерство финансов.

В этом году в обеих столицах, судя по газетам и письмам доверенных лиц, было неспокойно, да и виды на сбыт вырисовывались явно неблагоприятные. Приходилось сидеть в Иванове, где в воздухе так и пахло новой забастовкой. Год предвиделся тяжелый. Убытков, конечно, не ожидалось, но прибыль предчувствовалась меньше обычной.

И Александр Иванович начал действовать. По давно установившемуся обычаю, на всех иваново-вознесенских фабриках наем рабочих производится два раза в год. Один раз на срок от 1 октября до пасхи и второй раз от пасхи до 1 октября.

Выгоду двухсрочного найма понимали все фабриканты: с 1 октября, на зимний период, легче было найти рабочих. На этот срок, как правило, снижались расценки, увеличивался рабочий день. Рабочим учинялся полный расчет. Контора подчистую удерживала все штрафы, выданные мелкие авансы. Расчетные книжки отбирались, на некоторых фабриках даже выдавали паспорта. Всю пасхальную неделю фабрики стояли, за исключением кочегарок да слесарно-механических отделений, производивших текущий ремонт. В понедельник, на так называемой фоминой неделе, начинался наем.

Гарелин предложил сообща решить волновавшие всех вопросы. Сначала фабриканты хотели собраться в зале городской управы, но вмешался Зубков:

— Нынче и у стен уши есть. Обязательно мерзавцы подслушают и товарищам донесут! Ежели Александру Ивановичу своего дома жалко, соберемся у меня. Не так богато, но зато уж будьте спокойны — все будет шито-крыто, как в склепе.

Так и порешили. Любопытным, собравшимся на противоположном тротуаре, дворник охотно разъяснил:

— Маменька у хозяина плоха. Говорят, совсем в дальний путь собралась. Прощаться приехали.

Собрание было коротким, без долгих речей, без всякого угощения. Гарелин кратко изложил свои соображения. Они сводились к следующему: рабочим ни в чем не уступать, для более согласованного отпора создать, по примеру Москвы, комитет фабрикантов, просить губернатора добавить на всякий случай казаков и войск.

Даже обычно несговорчивый Зубков первым подписал протокол собрания. Когда расходились, он же предложил:

— Надо через приставов и через верных людей разузнать, кто больше всех о забастовках кричит, да и уволить втихомолку. И хорошо бы промеж себя об этих людях списки рассылать. Надо эту полынь с корнем выдергивать. А то получается вроде баловства: у меня уволят — они к Дербеневу идут. Дербенев прогонит по шее — они к Фокину. Заслон надо поставить...

* * *

Первое мая 1905 года приходилось на воскресенье. Это очень радовало Афанасьева, Балашова и других членов группы Северного комитета большевиков. В воскресенье легче собрать народ на массовку, да и безопаснее. Даже полицеймейстер Кожеловский и тот не мог придраться, увидев, как люди идут за город. Кому какое дело, как и кто проводит теплый весенний день! Но члены группы знали: без их направляющей руки, без листовок, без смелого правдивого слова Первое мая может не удаться, превратиться в простую прогулку. И они начали заранее готовиться к празднику.

За несколько дней до маевки приехавший из Москвы Станко сообщил «Отцу» и Балашову, что следом за ним едет командированный Московским комитетом опытный пропагандист, носящий партийное имя «Трифоныч».

«Отец» спросил:

— Пожилой?

Станко улыбнулся:

— Старик... лет девятнадцать-двадцать. Но башковитый. Сами увидите. Не завтра, так послезавтра появится. Ну и парень! Я с ним около часу посидел, а как будто мы с ним у одной мамы росли. И все знает.

Станко благополучно довез полученные в Московском комитете большевиков шрифт, две верстатки и три банки типографской краски. Даже Станко не знал, что Федор Самойлов давно уже хранил случайно купленный по дешевке ручной типографский станок. Теперь листовки можно было печатать уже не на гектографе. В день приезда Станко «Отец» получил из Северного комитета несколько экземпляров листовки «Первое мая». Под листовкой стояла подпись: «Бюро Комитетов большинства. Редакция «Вперед». «Отец» дал листовку Балашову.

Семен Иванович прочитал вслух последние строчки:

— «Товарищи! Мы стоим теперь в России накануне великих событий. Мы вступили в последний отчаянный бой с самодержавным царским правительством, мы должны довести этот бой до победоносного конца».

Возвращая листовку «Отцу», Балашов кратко сказал:

— Ленин.

«Отец кивнул головой:

— Он. Вот ее мы первой и напечатаем в нашей новой

типографии. В отчете Центральному Комитету партии так и сообщим: «Начала действовать организованная с помощью Московского комитета новая подпольная типография. Первой была напечатана листовка «Первое мая», написанная, по нашему предположению, товарищем Лениным».

29 апреля ткачиху Марью Наговицину, исполнявшую обязанности партийного организатора первого района, вызвали поздно вечером на квартиру к Балашову. Наговицина знала, зачем ее вызывают, и захватила с собой небольшую бельевую корзинку.

Переходя Шереметьевскую улицу, Марья увидела — навстречу ей шел Петр Веселов, помощник организатора второго района.

Высокий, стройный, в мягкой темной шляпе, с лихо закрученными усами, он производил впечатление направляющегося в гости франта. В правой руке — букет искусственных цветов, в левой — небольшой, изящно запакованный, перевязанный голубой лентой сверток.

Поравнявшись с Наговициной, Веселов оглянулся и, убедившись, что никто на них не смотрит, замедлил шаг и тихо сказал:

— Иди быстрее. Ждут.

И пошел, размахивая свертком, сдвинув шляпу на затылок, насвистывая какой-то бравурный мотив.

Балашов, увидев Марью, заворчал:

— Опять с корзинкой? Веселова встретила? Орел парень! Кто подумает, что у него в свертке листовки? Жених к невесте идет. Давай что-нибудь придумаем. Тут у нас хозяйки в овраге клад нашли — со всего города ходят за черноземом для цветов. Насыпай в корзину, а вниз листовки. Так все-таки лучше будет.

Через час Наговицина раздавала листовки фабричным организаторам. Утром на фабричных корпусах, на стенах домов, у колодцев, в ящиках, в которых ткачи носят уток,— всюду были листовки: «Товарищи рабочие! Наступает день великого праздника рабочих всего мира...»

Весь день 30 апреля фабричные организаторы оповещали членов партии и передовых, надежных рабочих о массовке.

Сбор назначили в лесу около деревни Горино. О месте сбора заранее знали только патрульные. В Горино вели два пути. Жители Ям и Хуторова, миновав вокзал, могли

идти по железнодорожной линии. В трех верстах от города железная дорога уходила в лес. У самого леса находились переезд и будка обходчика пути. Жители Рылихи, Сластихи могли добраться до переезда по шоссейной дороге, через молодой сосняк. Переезд и был первоначальным местом сбора. Здесь стоял первый патруль.

Патрульные — Яков и кочегары Ефим Сучков и Алексей Мартынов — сидели на перилах переезда, внимательно осматривая каждого прохожего. Если человек шел мимо, равнодушно посматривая на парней, Ефим Сучков забавлял приятелей игрой на балалайке, весело подпевая: «Ах вы сени, мои сени, сени новые мои».

Но чаще прохожий, дойдя до переезда, останавливался и спрашивал:

— Лошадь тут с жеребенком не проходила?

Парни хором отвечали:

— Пробегала.

Яков показывал тропку в лес:

— Прямо по этой тропке.

В лесу, там, где тропка неожиданно расходилась на две, стоял второй патруль, шагах в ста от места сбора — третий. К часу дня на небольшой поляне собралось около двухсот человек.

Накануне Яков спросил «Отца»:

— Как думаешь, Федор Афанасьевич, моего Ивана-Степана можно позвать?

«Отец» посмотрел на него поверх очков и, подумав, ответил:

— Зови. Но явку дай, как всем, на переезд.

Так Степан впервые попал на массовку. Он удивился, увидев в лесу своего соседа по спальне слесаря Петра Караваева. Молчаливый, замкнутый Караваев производил в спальне впечатление старательного рабочего, недавно приехавшего из деревни и стремящегося только к одному — как-нибудь сколотить немного денег. В лесу он казался совсем другим. На широком лице Петра сияла радостная улыбка. Он оживленно сказал Степану:

— Вот где хорошо, товарищ Никитин! Воздух чистый, полицейских нет, и Власикова не видно. Не жизнь, а малина!

Еще больше удивился Степан, увидев ткачиху Зубковской фабрики Анну Кочневу. Ей едва исполнилось двадцать лет. Сероглазая, с длинной толстой косой, она чем-

то напоминала Степану Наташу. Сходство увеличивала круглая аккуратная родинка на щеке чуть пониже глаза, такая же, как у Наташи. Неделю назад Степан, увидев Анну, заметил в ней какую-то перемену, но в чем она заключалась, он сразу не отгадал. Но когда Анна сняла платок, он увидел — коса короной лежала вокруг головы.

Максим Грачев шутливо сказал:

— Проворонил девушку: замуж вышла.

На массовку Анна пришла с мужем. Степан узнал и его. Высокий, плечистый Анфим Болотин снимал квартиру неподалеку от домика Прасковьи Федоровны.

Молодожены стояли около высокой сосны. Анна поднялась на пенек, доверчиво положила руку на плечо мужа.

Степан думал, что на массовке встретит людей, похожих на Балашова, — суровых, неулыбчивых, — а вокруг стояли, сидели на пеньках и на спиленных соснах обыкновенные люди, те самые, которых он привык видеть на улицах, в фабричных корпусах, в своей спальне. Только одеты по-праздничному — женщины в новых кофтах, у многих мужчин новые картузы. Рядом со Степаном стоял молодой парень. Из-под темного пиджака огнем горела кумачовая рубаха. Под ремешком картуза белел билетик с ценой. Парень явно хвастался обновкой.

Когда все собрались, «Отец» поднял руку и внятно сказал:

— Говорить будет товарищ Странник.

Балашов взобрался на пенек и, сильно окая, начал свою речь.

— Товарищи! Все вы, наверно, читали листовку «Первое мая». В ней ясно и понятно сказано, чего хотят социал-демократы...

И Степану пришлось удивиться еще раз. Того Балашова, которого он знал, не было. Семен Иванович обычно ходил немного ссутулясь, говорил негромко, и голос его звучал глухо.Сейчас он казался высоким, голос у него окреп, и его было отчетливо слышно, хотя Степан стоял не близко.

Когда Балашов, кончив речь, соскочил с пенька, ему долго хлопали. Важеватов украдкой посмотрел на Анну. Она громко била в ладоши, повернув лицо к мужу. Потом она обхватила Анфима руками за шею и поцеловала. Степан увидел ее счастливые глаза, снова вспомнил Наташу, и ему на минуту стало грустно, оттого что она далеко. И она так же могла быть в этом лесу, рядом с ним.

После Балашова кратко, но, как всегда, горячо и взволнованно, говорил Евлампий Дунаев. Потом «Отец» зачитал резолюцию. Степану особенно запомнились слова:

— «Когда победит пролетарская революция, все фабрики, машины, созданные руками рабочего класса, земли перейдут в общую собственность. Тогда все человечество будет трудиться на общую пользу, а не на кучку капиталистов. Тогда не будет стоять перед нами и тысячами наших товарищей призрак безработицы и голодной смерти на улице. Не будем мы, чьими руками создается все необходимое для человечества, ходить и униженно, из милости, просить работы».

Стоявший рядом Аким Клещев убежденно сказал:

— Крышка тогда будет и Куваевым и Зубковым!

А «Отец» читал дальше:

— «Политической свободы мы добьемся только тогда, когда окончательно будет низвергнуто самодержавие. Долой же умывающееся кровью народной преступное самодержавие!»

Анна снова захлопала в ладоши, а за ней и другие. Потом «Отец» спросил:

— Какие еще будут добавления?

Ткачиха с Полушинской фабрики Надежда Яркова с места крикнула:

— Мало про войну сказано! Скорее бы она кончалась, проклятая!

Аким Клещев нагнулся к Степану:

— На прошлой неделе сообщение получила: мужа у ней убили. В ситцевой у Дербенева работал.

«Отец» сделал карандашом пометку в резолюции:

— Правильно, товарищ Яркова, пора войну кончать!

Расходились с маевки небольшими группами, по два-три человека. Последними ушли патрульные.

Около пяти часов вечера в другом конце города, по дороге к Витовскому бору, гарцевали казаки. Впереди сотни, рядом с есаулом, ехал полицеймейстер Кожеловский.

Умело пущенный Балашовым слух о том, что массовка будет происходить вечером за Витовским бором, дошел по назначению.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Накануне отъезда Михаил Фрунзе, помня совет Воронина соблюдать в Иваново-Вознесенске все правила кон-

спирации, решил обзавестись более подходящим костюмом. На эту мысль его навело замечание Станко: «Студентов в нашем городе мало, не больше пяти, да и те появляются только в каникулы».

Ехать в студенческой тужурке и фуражке никак не годилось. Наряжаться во все новое ему тоже не хотелось, и он, поборов свою неприязнь к одежде с чужого плеча, пошел на Сухаревку подобрать что-нибудь подешевле. Едва ступив на шумную, крикливую, заполненную народом площадь, Михаил натолкнулся на чистенькую, робкую старушку, державшую в руках черный пиджак и картуз с лакированным козырьком.

Михаил примерил пиджак — он пришелся ему в самый раз. Подошел и картуз, да и цена оказалась явно подходящей. Старушка, получая деньги, обрадовалась, словно получила подарок:

— Спасибо, молодой человек! Уж такое спасибо! Я ведь с ними несколько дней ходила: смотреть смотрят, щупают, а не берут. Может, вам сапожки еще нужны? Сына у меня в солдаты угнали, он мне и велел все продать, чтобы я тут без него себя питанием поддержала...

— А где же сапоги?

— Дома... Я тут совсем рядом живу. На Первой Мещанской. Знаете трактир Романова? Через дом от него. Может, не поленитесь, зайдете? Я уступлю.

Кроме сапог, Михаил купил у старушки черные диагоналевые брюки и синюю косоворотку. Старуха показала набор хороших столярных инструментов и тут же убрала их, аккуратно завернув в чистые тряпки:

— Сережины. Пока продавать не велел, только если уж очень худо станет...

Придя к себе на Пречистенку, Михаил переоделся в обновку и, осмотрев свой наряд, остался очень доволен — теперь он никак не походил на студента. В сумерки Фрунзе пошел последний раз прогуляться по Москве. Незаметно добрался до Кремля, обошел его и заглянул в Александровский сад. Едва он опустился на скамейку, как мимо важно проплыл огромный полицейский. Сначала он не обратил на Михаила никакого внимания, затем остановился, посмотрел через плечо и, тяжело повернувшись, шагнул к скамье:

— Чего расселся?

— А разве нельзя? — вежливо осведомился Михаил.

— Проваливай! Для вашего брата гулянка в другом месте!

Не желая бесполезно спорить с блюстителем порядка, Михаил пошел из садика, довольно улыбаясь:

«Если этот мастодонт облаял, значит я действительно похож на мастерового...»

От Кремля он направился в Каретный ряд, к дому Немчинова. Дергая за ручку звонка у квартиры номер девять, он подумал: как-то его сейчас здесь встретят?

Дверь открыла все та же молодая женщина в сером платье с кружевным воротничком. Михаил слегка отодвинулся от полосы света, идущего из передней.

— Вам кого? — сухо спросила женщина и быстро, не дождавшись ответа, захлопнула дверь.

Михаил снова позвонил.

На этот раз из двери выглянул знакомый человек с бородкой клинышком. Он снял очки и, узнав гостя, пригласил:

— Входите.

Осмотрев Михаила, он засмеялся и громко позвал:

— Машенька! Идите сюда — это Фрунзе.

В переднюю вошла женщина:

— Я вас не узнала. Смотрю — стоит кто-то и лицо от света прячет.

Мужчина довольно сказал:

— Очень хорошо, замечательно вы оделись!.. Ну, пойдемте.

Он выдал Михаилу по три экземпляра только что полученных из Женевы тринадцатого и четырнадцатого номеров «Вперед» со статьей «Социал-демократия и временное революционное правительство».

— К сожалению, больше дать не могу.... Последний транспорт из Женевы где-то застрял. Это мы получили в конвертах по почте. Кстати, Владимир Ильич просил, чтобы рабочие давали свои адреса для посылки «Вперед» в конвертах. Попробуйте организовать это в Иваново-Вознесенске.

— Не дойдут: полиция перехватит.

— Владимир Ильич считает, что полиция сможет перехватить одну-две десятых конвертов, а бóльшая часть дойдет.

— Как это сделать?

— Надо постараться выслать в Женеву один рубль и сообщить свой адрес...

Увидев, что Михаил вынул карманную книжку, собеседник спросил:

— Что вы хотите делать?

— Записать адрес, который вы мне сказали.

— Не надо. Постарайтесь запомнить.

— Я запишу только номер дома.

— Тогда можно... Посылать деньги лучше коллективно. Это обойдется дешевле, потому что, согласно правилам о частной международной корреспонденции, за каждое отправление до шестисот рублей, пусть это будет даже один рубль, взимается по полкопейки с рубля и рубль пятьдесят копеек за всю пересылку. Если вы пошлете десять рублей порознь, вам придется заплатить пятнадцать рублей за пересылку, а если сразу десятку, то только полтора рубля. Поняли?

— Понял. А как же с адресами? Нельзя же все десять адресов сообщить в одном переводе.

— Адреса отдельным письмом.

— Все ясно.

— Запомните еще два адреса. По ним можно посылать заметки для «Вперед». Владимир Ильич пишет, что редакция очень нуждается в рабочих корреспонденциях. Он настойчиво требует от нас, чтобы десятки, сотни рабочих писали во «Вперед». А иваново-вознесенцы пишут мало. Прислали всего несколько заметок... Приедете на место, постарайтесь выполнить просьбу Владимира Ильича.

— Обязательно.

— И еще — напомните в Иваново-Вознесенске «Отцу», чтобы он не забывал отправлять интересные документы и все местные издания в Женевский архив партии и библиотеку. Адрес он знает. Ну вот, кажется, и все. О Третьем съезде вы, конечно, знаете?

— Знаю.

— Он еще не закончился. Как только получим материалы съезда, постараемся снабдить вас всем, чем сможем. Но одно уже сейчас ясно: с меньшевиками разошлись, и, очевидно, навсегда.

— Товарищ Станко рассказывал мне, что в Иваново-Вознесенске меньшевики не популярны. Их там нет.

— Почти нет... И вот для того, чтобы они там совсем

исчезли, надо хорошенько разъяснить рабочим суть меньшевизма. Не забывайте и об эсерах.

— Не забуду...

— Ну, давайте прощаться... Когда едете?

— Завтра утром.

Из Каретного Фрунзе зашел в свою комнатку, аккуратно зашил под подкладку пиджака номера «Вперед», затем, уложив все свое небогатое имущество в заплечный мешок, сел у раскрытого окна. Ночь была лунная, серебристо-белая. На улице было тихо, только со двора доносился мальчишеский голос, беспрерывно повторявший:

— Нина! Иди домой, мама велит...

Михаил вспомнил родной Пишпек, мать и милых сердцу сестренок.

«Как-то они там без меня? Даже ведь не знают, где я! А я снова еду в новый город. Надолго ли?»

Он вздохнул и лег на узенькую, жесткую кушетку. Молодость, усталость взяли свое, и он уснул, подумав напоследок: «Как бы завтра не проспать, поезд уходит рано...»

* * *

Ротмистр Шлегель установил, что приехавший из Петербурга Иван Никитин работает у Зубкова и живет в общей спальне при фабрике. Шлегелю стал известен и случай с конторщиком Власиковым. Ротмистр вызвал студента и, сообщив ему все это, приказал:

— Во что бы то ни стало восстановите знакомство с этим фруктом. Не мне вас учить, как вам вести себя с ним. Хочу только предупредить: за провал ответите головой. Будьте поаккуратнее. Судя по всему, ваш романтический красавец — парень весьма решительный.

На другой день Кручинин выбрал в пивной столик у окна, из которого хорошо видна была дверь проходной фабрики Зубкова. После гудка из проходной повалил народ. Кручинин издалека заметил Степана, возвышавшегося над толпой почти на целую голову.

Студент торопливо расплатился и выскочил на улицу. Еле сдерживая волнение, он пошел навстречу походкой человека, которому некуда торопиться и он просто наслаждается теплым весенним днем.

Не дойдя до Важеватова нескольких шагов, он широко распахнул руки и бросился к нему:

— Степан Ильич! Как я рад вас видеть!

— Здравствуйте,— сухо сказал Степан, поняв, что отпираться бесполезно.

— Как ваше здоровье после шуйского купанья?

— Ничего, благодарю, здоров.

— Ловко вы тогда... Я до сих пор о вас всем знакомым и незнакомым рассказываю... Имени вашего, конечно, по некоторым соображениям, не называю. Вы куда сейчас?

— Домой.

— Позвольте вас проводить... Я так, без всякого дела, шатаюсь. Уж очень день сегодня великолепный... Герой! Какой же вы герой! Я хотел о вас в газету написать, но воздержался, принимая во внимание нашу встречу в пути.

Важеватов прибавил шагу. Кручинин неожиданно остановился и с дрожью в голосе сказал:

— Нехорошо. Очень нехорошо.

— Что нехорошо? — зло спросил Степан.

— Зачем вы от меня бежите? Если вам неприятно, что я иду с вами, так и скажите.

Степан остановился. Кручинин подошел к нему вплотную:

— Вам от меня бежать не надо. Я не враг, а друг. Я все давно понял. Поймите и вы: если я враг, одно слово любому полицейскому — и вы в участке. Я же молчу. В Петербурге ко мне мои друзья по-другому относились.— Он стал говорить совсем тихо: — Вы бежали, а я выслан на родину. Зачем же нам быть врозь? — Он взял Степана под руку.— Пошли... Нам надо поговорить. Только не здесь. Здесь неудобно. Знаете что? Пошли ко мне. Кстати, есть чертовски захотелось. При виде вас у меня даже аппетит появился. Матушка моя обрадуется...

* * *

В понедельник 9 мая ткачиха Дербеневской фабрики Аграфена Васильевна Николаева должна была работать в первой смене, которая начиналась в три часа утра и заканчивалась в два часа дня. Это Аграфену Васильевну никак не устраивало, так как утром в лесу около деревни Поповское группа Северного комитета большевиков назначила нелегальную партийную конференцию. Об

этом Николаеву предупредил помощник районного организатора Веселов. В субботу вечером он подошел к ней и, остановив станок, чтобы она лучше слышала, сказал:

— Переменись сменами, Груня.

Груня тотчас же отправилась к табельщику. Старшего табельщика Стратилата Иудовича Жучкина ткачи иначе как иудиным сыном не называли. Маленький, весь высохший, похожий на скопца, он радовался и весь расцветал при известии о чужом горе. Записать штраф, доложить управляющему о проступке подчиненных было для него наслаждением.

Особенно люто ненавидел он молодежь. Не дай бог, если он узнавал, что кто-нибудь из рабочих справлял свадьбу. Насмешкам, гаденьким разговорам не было конца. Нередко жертва не выдерживала и огрызалась. Иудычу только этого и надо было — он немедленно вписывал штраф «за дерзкое поведение». Иным становился Жучкин, узнав о чьей-нибудь смерти. Он бледнел, истово крестился и на короткий срок добрел.

Груня вошла в табельную и, вытирая концами платка сухие глаза, заголосила:

— Ой, батюшка Стратилат Иудович, горе-то какое!

— Чего воешь? — сердито крикнул табельщик.

— Как же мне не плакать? Сейчас сестренка в окно кричала: тетенька моя, мать крестная, померла.

Иудыч, перекрестившись, ласково сказал:

— Все там будем. Все. Не в одно время, а все! Домой побежишь?

— Побегу, Стратилат Иудович, побегу.

— Беги, беги,— крестил ее Иудыч.— Не беса тешить идешь, не на веселье — на божье дело.

— Запишите, Стратилат Иудович, может я в понедельник в вечернюю смену выйду.

— Запишу.

В понедельник Груня встала чуть свет, помогла матери истопить печь и, захватив узелок с печеной картошкой, отправилась в Поповское. При выходе из города, около кирпичного завода, ее окликнул слесарь Фома Котов.

Груня остановилась, подождала его, и они пошли дальше вместе.

Фома Котов никогда не отличался словоохотливостью, а сейчас у него были все основания не быть разговорчи-

вым. Он третий месяц был без работы. Сознание, что он, молодой, здоровый человек, вынужден жить на заработок жены Нади, невероятно угнетало его С этим еще как-нибудь можно было примириться, но одно мучило Фому — Надя никак не одобряла его образа мыслей и всячески осуждала его поведение. Она, не стесняясь, говорила ему: «Забыл, что говорил, когда сватался? «Работать буду, жить хорошо будем». А что получилось? Чуть с голоду не подыхаем! С пятой фабрики в шею гонят!»

Сегодня перед уходом Котов опять поссорился с женой. Надя, узнав, что он уходит на весь день, со злостью крикнула: «А кто будет огород копать? Опять я? Ты со своими дружками лясы точить, а я после смены опять запрягайся! Дал господь муженька!..»

Груня слышала о семейных делах Котова и поэтому, идя с ним, старательно избегала этой темы. Но Фома не выдержал и пожаловался:

— Опять меня жена распушила! Не знаю, что с ней делать

Груня предложила:

— Позволь, я с ней поговорю.

— Попробуй. Только бесполезно. Она тебя так турнет — не опомнишься.

— Не турнет. Меня бабы слушаются...

Так за разговором о разных делах они подошли к лесной сторожке, где их встретили Яков с Акимом, сегодня, как и Первого мая, выполнявшие обязанности патрульных. Проверив пароль, они показали им стоящие вдалеке два стога сена:

— Дойдете до стогов, спускайтесь к речке. У мостика ребята вам покажут, куда идти.

Груня думала, что они с Котовым пришли если не раньше всех, то уж, во всяком случае, одни из первых. Но она ошиблась. Все пятьдесят делегатов конференции уже собрались. Открыл конференцию «Отец». Он, по привычке оглядев всех присутствующих, сказал:

— Кажется, все. Давайте начнем. Вопрос, товарищи, у нас один — о забастовке. Давайте советоваться. Своевременно ли начинать ее? Самое главное — как смотрят на забастовку рабочие, особенно женщины Готовы ли они к ней? Прошу высказаться. С кого начнем? Может быть, ты, товарищ Николаева, начнешь?

Груня вышла на середину:

— Начну. Пора бастовать! Я всю неделю с ткачихами говорила, и все они в один голос — бастовать. Есть у нас на фабрике Татьяна Сажина. Детей у ней пятеро, муж инвалид, руку ему в прошлом году на машине оторвало. Татьяна раньше о забастовке и слышать не хотела, а позавчера она мне сама напомнила: «Чего ждут? Надо бы нашим хозяевам сундуки потрясти». Не знаю, как на других фабриках, но за нашу я ручаюсь — все выйдут.

Кончив говорить, Груня села недалеко от «Отца». Тут она впервые заметила, что на нее внимательно смотрит незнакомый молодой человек. Она услышала, как незнакомец спросил у Балашова:

— С какой она фабрики?

— С Дербеневской.

Выступали делегаты с Куваевской, Грязновской, Зубковской и других фабрик. Все они говорили об одном: пора бастовать.

На пенек поднялся Евлампий Дунаев. По всему видно было — говорит прирожденный оратор. Голос у него был звучный и очень приятный.

— Если мы забастовку не объявим, рабочие сами бросят станки.

«Отец» предложил голосовать. Полсотни рук взметнулись вверх. Забастовку решено было начинать в четверг 12 мая. После голосования «Отец» сказал:

— А теперь давайте обсудим требования к фабрикантам. Слово имеет товарищ Дунаев. Начинай Евлампий.

Дунаев стал зачитывать требования. Первое — о введении восьмичасового рабочего дня — ни у кого не вызвало возражений. За него голосовали все сразу. Так же легко были приняты требования об отмене двух сроков найма — на пасху и на 1 октября. Спор разгорелся по поводу требования об одинаковой заработной плате для мужчин и женщин.

Зачитав это требование своим звучным голосом, Дунаев спросил:

— Включим?

Первым высказался Иван Мурашов. Он усмехнулся и махнул рукой:

— Не надо, не к чему. Где это видано, чтобы женка

вровень с мужиком получала. Разве они столько наработают? Какая у них сила...

Мурашов еще не кончил своей речи, как его перебила ткачиха Настасья Баландина:

— Какая у баб сила, говоришь? Не будут женщины бастовать — и стачка сорвется. А насчет того, сколько женщина работать может, не тебе судить. Ты свою жену спроси. Да что с тобой говорить!

Настасья махнула рукой и села. Дунаев тронул Мурашова за плечо:

— Садись, Иван, не то заклюют.

«Отец» под общее одобрение добавил:

— И правильно сделают!

Требование было принято единогласно, при одном воздержавшемся.

Когда обсуждали требование о том, чтобы отпускать роженицу за две недели до родов и на четыре недели после родов с сохранением полной заработной платы, Иван Мурашов, желая, повидимому, исправить свою оплошность, под общий смех выкрикнул:

— Каждый год!

Дунаев жестом остановил смех и поправил:

— Каждый раз. Правильно, товарищ Мурашов?

— Правильно... Пусть рожают.

Потом голосовали все двадцать шесть требований.

Груня заметила, как Балашов в это время нагнулся к молодому человеку и спросил:

— Трифоныч, ты не забыл?

— Разве можно!

— Расскажи.

— Нет. Идите вы. — Он достал из кармана и подал Балашову листок бумаги.

Балашов встал и громко сказал:

— Есть предложение утвердить текст обращения ко всем рабочим и работницам Иваново-Вознесенска. Оно короткое. Позвольте его зачитать?

— Читай.

Балашов развернул листок, поданный ему молодым человеком, и начал читать:

— «Товарищи! Не хватает сил больше терпеть! Оглянитесь на нашу жизнь — до чего довели нас наши хозяева? Нигде не видно просвета в нашей жизни. Довольно! Час пробил! Не на кого нам надеяться, кроме как на са-

мих себя. Пора приняться добывать себе лучшую жизнь. Бросайте работу, присоединяйтесь к вашим забастовавшим товарищам. Выставляйте требования, изданные нашей группой. Присоединяйте к ним, кроме того, свои местные требования. Собирайтесь для обсуждения ваших нужд в городе и за городом. Иваново-Вознесенская группа Северного комитета РСДРП». Вот все, товарищи! Какие будут замечания?

— Есть замечания.

— Давай.

Поднялся старый шлихтовальщик Краснов:

— Там у тебя сказано: «нигде нет просвета в нашей жизни».

— Правильно.

— Добавь: «в нашей собачьей жизни».

— А надо ли?

— Надо! Жизнь-то у нас на самом деле собачья: чуть состаришься — и, как собаку, со двора долой.

— Хорошо. Добавим

— Отпечатать надо бы побольше.

— Отпечатаем.

Начинать забастовку поручили Бакулинской фабрике. На ней была самая крупная партийная ячейка. Возглавлял ее Евлампий Дунаев.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Полицеймейстер Кожеловский торжествовал: Шлегель еще раз остался в дураках.

О маевке близ деревни Горино ротмистр узнал только к вечеру, когда все участники благополучно возвратились домой. Прогулка под конвоем казаков в Витовский бор доставила полицеймейстеру много приятных минут Покачиваясь в седле, он предвкушал, как по возвращении будет издеваться над ротмистром: «Опять подвели вас ваши агенты! Плохо вы их тренируете, ваше благородие».

А тут еще один сюрприз — где-то за городом большевики проводили конференцию. Шлегель опять проворонил. На днях, говорят, в Иваново-Вознесенск прибыл новый агитатор. Шлегель ничего о нем не слыхал. И, самое главное, не сегодня-завтра вспыхнет забастовка, а ротмистр уверяет, что это вздорные слухи. Ну и пес с ним!

Кичится своей гвардейской выправкой, мундиром, духами, женой — одним словом, всем. Ему же хуже, что не слушается. Сейчас нужны облавы. Одна, другая, третья. Облава за облавой, каждую ночь. Надо сажать всех, кто не отводит при встрече глаз, кто не снимает на улице кепку при виде начальства. Не хватит тюрьмы в Иваново-Вознесенске, есть еще свободные камеры в шуйской и владимирской. На худой конец можно арендовать у монахов, в Суздальском монастыре. И побольше казаков. Не донских и не терских, а астраханских «желтяков». Все они безграмотны и городских не любят до зверства.

«Интересно знать, что сейчас пишет Шлегель. Собачий сын! Видит, что перед ним сидит полицеймейстер, и не хочет оторваться от писанья! Пиши, пиши. Посмотрим, чья возьмет! Много вас тут перебывало, а Кожеловский один. Если бы мне связи да денег побольше, ты бы, фитюлька несчастная, стоял передо мной навытяжку!..».

Ротмистр положил перо, откинулся, как всегда, на спинку кресла и закурил.

— Так вы, ваше благородие, говорите, что будет забастовка? А по-моему, не будет. Безработных в городе несколько тысяч. При таком положении эти негодяи фабрики не бросят. Весь этот шум только дипломатический. Просто рабочие хотят припугнуть хозяев, добиться уступок.

— Ну нет, извините... Впрочем, мое дело предупредить, а остальное ваше. Зачем звали?

Шлегель прошелся по кабинету и сказал:

— Нам надо общими усилиями один ход смастерить. В спальне у Зубковых живет Иван Матвеевич Никитин. Между нами говоря, он такой же Никитин, как, скажем, вы московский генерал-губернатор. Но суть не в этом. Надо его оттуда выкурить.

— Куда? За пределы?

— Нет. Надо, чтобы он покинул общую спальню. Тогда он поневоле должен будет снять квартиру. А мне нужно именно это, чтобы он искал себе жилье.

— Проще быть не может. Скажу завтра управляющему, и он его в три шеи.

— Распорядитесь.

— И это все?

— Да, все.

Полицеймейстер встал и со злостью произнес:

— Охота вам такими пустяками заниматься!

Через полчаса после ухода Кожеловского на его месте сидел Кручинин. Ротмистр внимательно слушал студента.

— Вчера я опять виделся с ним. Долго сидели у нас в саду. Выпили три бутылки пива. Результатов никаких, О бегстве из столицы молчит, как будто всю жизнь прожил здесь.

— Он вам не доверяет?

— Возможно.

— Не возможно, а на самом деле. О чем вы еще с ним беседовали?

— Даже не могу сказать, о чем. Кажется, обо всем.

— Обо всем и ни о чем!

— Да, разговор был беспредметный. Я не хочу быть назойливым: он может заподозрить.

— Это правильно... Какие у него планы на будущее?

— Хочет обосноваться здесь надолго. Желал бы стать токарем.

— О своих связях с местными социал-демократами не говорил?

— Ни слова. Ни одного намека.

— Все ясно. Он вам не доверяет. Надо внушить ему, что вы его искренний друг.

— Как это сделать?

— Очень просто. Завтра его выгонят из общей спальни от Зубкова. Он будет искать себе жилье. Вы предложите ему жить у вас.

— У меня?

— Да, у вас.

— Но у меня негде.

— Придется потесниться...

— Я могу уговорить маму сдать ему комнату.

— Великолепно! Устраивайте. Как только он переберется, поговорим о дальнейшем. А пока чаще встречайтесь с ним. Главное — сочувствуйте ему.

— Постараюсь.

— Государь вас не забудет...

* * *

Степан, задержавшись у Якова, ночью поднимался по чугунной лестнице в спальню. На площадке второго этажа его остановила смотрительница тетка Ираида:

— Тебя, милок, пускать больше не велено.
— Кто сказал?
— А кто бы ни сказал. Не велено. Вещички твои внизу, в кубовой у сторожихи.
— Куда я ночью пойду?
— Хоть в монастырь иди, мне какое дело!
Смотрительница хлопнула дверью и закрыла ее на цепь. Степан сел на приступке, не зная, что ему делать. Вскоре по лестнице загремели шаги.
— Чего разлегся? Пьяный, что ли?
— Смотрительница не пускает.
— Она такая... А ты кто будешь?
Степан назвал себя.
— Никитин? Постой, да это уж не ты ли конторщика Власикова погладил?
— Выходит, я.
— Идем со мной.
— Куда?
— Идем, не бойся. Мы тут на чердаке бесплатно жилье себе оборудовали. У дымоходов. Тепло, и Ираидка совиные бельма не пялит. Идем.
Они поднялись этажом выше. Спутник Степана влез по узкой пожарной лестнице и дернул за веревку. Раздался звон.
— Видел, как живем? Со звонком.
Сверху грубый голос спросил:
— Кто?
— Свои. Открывай.
Заскрипела железная крышка люка.
— Лезь! Только голову не забудь нагнуть, а то стропила своротишь.
Степан очутился на чердаке. Парень подал ему руку:
— Иди за мной. Васька! Зажги свет.
— Керосин весь выгорел.
— На минутку.
— Сейчас.
При свете маленького фонаря Важеватов осмотрелся. На соломе спали два человека. Прислонясь спиной к дымоходу, сидел молодой парень.
— Куревом, Силантий, не разжился?
— Нет, Вася. Вот, может, у Никитина есть.
— Не курю.

— Жаль.

Степан сел к дымоходу:

— Давно вы тут живете?

— Второй месяц.

— И не гонят?

— Никто не знает. Мы тихо живем. А так бы давно выгнали.

— Почему вы здесь?

Тот, что привел Степана, объяснил:

— Негде. Все мы безработные. Меня позавчера уволили, а Вася с Нового года без дела. Все пришлые, из деревень. Куда денешься? За квартиру берут рубль, а то и полтора, а у нас ни гроша. Найдем работу — уйдем отсюда.

— А если не найдете?

Силантий равнодушно ответил:

— Худо будет. Да мы привыкшие... Ложись, дядя. Спи. Утром тебя тихонечко спустим

Парень дунул, и фонарь погас.

Степан лег на солому, прижавшись спиной к дымоходу. Вскоре он крепко уснул. Рано утром парни осторожно открыли ему люк. Он спустился в кубовую, забрал у сторожихи свой сундучок и направился к Прасковье Федоровне. Подойдя к домику, он постучал в окошко. Голос, показавшийся ему удивительно знакомым, спросил:

— Кто там?

— Прасковья Федоровна дома?

— Нет. Она с вечера ушла в деревню и оттуда прямо на фабрику. А вам ее очень нужно?

— Очень.

Дверь скрипнула. На крыльцо вышел человек в сапогах, на голове темнела кепка. Но Степан узнал бы его в любом костюме. Он поставил сундучок на землю и протянул человеку руку:

— Миша! Михаил Васильевич! Как вы здесь очутились?

Фрунзе соскочил с крыльца, обнял его:

— Степан, дорогой! Идем домой, идем. Если бы вы знали, как я рад вас видеть!

Они вошли в дом. Важеватов стоял посреди комнаты улыбаясь, не зная, верить себе или нет.

— Никак опомниться не могу! Откуда вы?

— Все расскажу. Все. Садитесь.— Фрунзе взял из его рук сундучок.— Садитесь. Как вы здесь поживаете? Вас не узнать. Сейчас вас даже Наташа и та бы не узнала. Похудели. Что, трудно? Я понимаю, Степан Ильич, очень трудно. Работаете?

— Да. Скажите, вы когда ее в последний раз видели?

— Наташу? В последний раз я ее встретил в день отъезда. В марте.

— Значит, вы давно здесь? Я от нее позже письмо получил.

— Нет, здесь я совсем недавно. Я сюда не из Петербурга.

— Понятно. А я здесь еще одного питерского знакомого встретил... Постойте, да ведь и вы его знаете! Вы же меня с ним и познакомили. Помните, на вечеринке?

— Кручинин?

— Совершенно верно.

Степан рассказал обо всех своих встречах с Игорем.

— Не в обиду будь вам сказано, а только ваш дружок, Михаил Васильевич, очень мне не по душе. Так и впивается.

Фрунзе встал, походил по комнате, потом сел рядом:

— У меня к вам, Степан Ильич, две просьбы. Очень вас прошу — не называйте меня Михаилом Васильевичем, Мишей. Я теперь не Миша, меня зовут Трифоныч.

— Как?

— Трифоныч.

— Чудно! Вы же молодой.

— Так надо, Степан Ильич.

— Понял. Еще что?

— Если мы встретимся с вами где-нибудь на улице, при посторонних людях, делайте вид, что мы с вами раньше не встречались.

— Хорошо.

— Если еще раз увидите Кручинина, не говорите пока ему, что я здесь.

— Тоже понял. А я ему совсем ничего не говорю. Он болтает, я и слушаю и не слушаю.

— А вы с ним встречайтесь... Кто знает, может и он когда-нибудь пригодится. Где вам жить, надо посоветоваться с Семеном Ивановичем.

Слышно было, как кто-то прошел сенями. Фрунзе подошел к двери:

— Кто там?
— Свои.
Вошли Балашов и Станко. Станко настороженным взглядом окинул Степана:
— А ты как сюда попал?
— Да вот встретил... разговорились.
Фрунзе улыбнулся и поспешил внести ясность:
— Мы старые знакомые еще по Питеру... Ничего, товарищ Иван, при них можно, они люди свои.

* * *

У большевиков наступили горячие деньки. Особенно много забот было у «Отца» и Семена Ивановича Балашова. Оба забыли про сон, ели на ходу.
Предполагавшуюся забастовку надо было сделать не только всеобщей, но превратить из экономической в политическую. Грамотных, хорошо разбирающихся в политике агитаторов и пропагандистов не хватало. «Отец» собирал партийцев по ночам, по нескольку человек. Беседовал с ними, разъяснял последние сообщения с фронта, новости политической жизни.
Не хватало нелегальной литературы, а без нее рядовым большевикам трудно было разбираться в верноподданнических статьях «Биржевых ведомостей» и «Русского листка». Либеральные «Московские ведомости» тоже мало помогали. «Отец» чрезвычайно обрадовался номерам «Вперед», которые привез Трифоныч. Еще больше он был рад самому Трифонычу. Несмотря на свою молодость, Трифоныч хорошо разбирался во всех политических вопросах. «Отец» убедился в этом в первые же дни. Увлеченный подготовкой то маевки, то конференции, он не нашел времени по-настоящему разобраться в том, что писали газеты о проекте министра внутренних дел Булыгина создать новые «представительные учреждения». «Отец» понимал, что царское правительство, напуганное революционным подъемом, делало вид, что оно собирается сделать какие-то уступки. Об этом надо было просто и ясно рассказать рабочим, чтобы они поняли: от булыгинских проектов добра ждать нечего. «Отец» попросил Трифоныча побеседовать на эту тему с фабричными организаторами.
— Только ты им попроще объясни. Ребята наши,

к сожалению, малограмотны, на медные гроши учились.

— Хорошо. Постараюсь, чтобы все поняли.

«Отец» тоже пошел на беседу. Происходила она поздно ночью, в доме Анны Семеновны Боевой. В комнате, где жили Яков и Аким, собралось около тридцати человек. Несмотря на духоту, Балашов не разрешил открывать занавешенное одеялом окно:

— Казаки то и дело рыскают.

Охранять собрание взялся Станко. Он расставил на всех углах квартала часовых, приказав им не торчать на улицах, а вести наблюдение из-за заборов. Связным он наказал в случае тревоги во весь дух мчаться к дому Боевой.

После того как фабричные организаторы рассказали о ходе подготовки к забастовке, «Отец» сказал:

— Ну, а теперь послушаем товарища Трифоныча.

Фрунзе встал и, подвинув поближе лампу, начал доклад.

— Товарищи!— произнес он и сам не узнал своего голоса — так необычно он звучал. Михаил почувствовал, что волнуется, и понял почему. Это было его первое выступление перед иваново-вознесенцами. Как-то они его примут?

— Товарищи, — повторил Фрунзе и увидел одобряющий взгляд Балашова, — все вы, наверно, слышали или читали о проектах министра Булыгина. Правительство Николая Кровавого хочет этими проектами отвлечь внимание рабочего класса от настоящей революционной борьбы, обмануть его. Булыгинская «конституция» никак не ограничит самодержавие, так как задуманные министром палаты только совещательные и никаких прав не имеют. Это похоже на то, как если бы здешний фабрикант Гарелин предложил созвать в помощь ему комитет из рабочих. Рабочие советовали бы Гарелину увеличить заработную плату или, еще проще, передать его фабрики в общее пользование. Гарелин на это ответил бы: «Слушать-то я вас слушал, а поступлю по-своему. Я хозяин». Так же сделает царь с булыгинской Государственной думой. Он ответит: «Слушать я вас могу, но по-вашему не выйдет — я самодержец всероссийский». Для того чтобы господа советники не очень докучали царю, Булыгин хочет набрать их из помещиков, дворян, офицеров и зажиточных кре-

стьян. Рабочих и бедняков-крестьян в думу пускать не хотят, потому что они самые беспокойные люди — вдруг не попросят, а потребуют от царя, чтобы он отдал фабрики рабочим, а землю крестьянам. Стоит ли нам, товарищи, надеяться на эту думу?

«Отец» посмотрел на слушателей. Все они пришли после одиннадцатичасового рабочего дня на пыльных, душных фабриках. У каждого немало забот и хлопот по хозяйству. Все страшно нуждались, и поэтому многие ничего не ели с самого утра. Если бы выложить все медяки, что болтались в карманах у этих людей, вряд ли бы набрался даже рубль. И все они, позабыв об усталости, голоде и нужде, слушали Трифоныча, боясь пропустить хоть одно слово.

Груня Николаева сидит, подперев щеку рукой. Платок съехал с головы, волосы растрепались. Голубые глаза внимательно смотрят на Трифоныча. Фома Котов неподвижно сидит согнувшись, опустив между колен руки. Можно подумать — не слушает, уснул. Но вот он поднял голову и что-то шепнул соседу, Акиму Клещеву.

Фрунзе перестал волноваться. Голос окреп. Он все реже и реже смотрит на тезисы, изложенные на узеньком листочке.

— Правительство ведет ловкую игру. Рабочий класс не должен обольщаться надеждой, что булыгинская канитель принесет хоть какое-нибудь улучшение жизни трудящихся. Наша надежда — мы сами, наша партия...

«Отец» смотрит на Акима Клещева и думает: «Вот такие люди — наша надежда». Всего, казалось, лишили парня — нужда согнала его из родной деревни в город, отняли и загнали в петлю любимую жену, никуда не принимают на работу. «Отец» случайно вчера увидел, как Аким стирал единственную свою рубашку. Он долго стоял голый по пояс, пока рубашка не высохла.

А сейчас он сидит на нелегальном собрании, и ему только за одно присутствие на нем грозят каторжные работы.

Фрунзе кончил доклад. Складывая листочек с тезисами, он сказал:

— Как будто все. Если у товарищей есть вопросы, давайте побеседуем.

Вопросов задали много. «Отцу» понравилось, как Трифоныч отвечал на них. Он сразу улавливал суть во-

проса и, подумав, отвечал неторопливо, обстоятельно.

На один из вопросов он ответил:

— Сегодня, сейчас я вам этого не объясню, потому что сам хорошо не знаю, но постараюсь узнать и вам рассказать.

И это понравилось «Отцу». «Не всезнайка! И не боится в этом признаться. Это очень хорошо».

Балашов поднял занавеску и присвистнул:

— Заговорились мы! На улице белый день. Пора по домам, да и на фабрики. Раздавай, Архипыч.

Федор Самойлов начал раздавать лежавшие под скамьей листовки с призывом о забастовке.

— Сегодня же разбросать по фабрикам!

В это время вдалеке глухо зарокотал гром. Когда участники совещания расходились, начали падать первые крупные капли дождя. Сверкнула молния, и сильный удар раздался, казалось, над самой крышей, и сразу дождь полил как из ведра. Балашов распахнул окно и увидел: на другой стороне улицы под навесом стоял Станко. Он протягивал сложенные ковшиком руки, набирал дождевой воды и умывался, сгоняя остатки одолевавшего сна.

А гром все гремел и гремел. Начинался день 12 мая 1905 года.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Утро выдалось прекрасное. Омытый грозовым ливнем воздух был чист и прозрачен. Как-то по-особенному полнозвучно ревели гудки.

Во всем остальном начало дня было обычным. Вслед за первой сменой прошли рабочие дневной, за ними потянулись конторщики. Бежали в школу, шлепая по лужам, мальчишки. У Туляковского моста кучка реалистов налетела на гимназистов. Конечно, произошла традиционная свалка. Две фуражки — одна темносиняя с белым кантом, другая черная с желтым — поплыли по мутной Уводи.

Звонили колокола. Тарахтели по булыжной мостовой ломовики. Проехал в пролетке Зубков, сердито посматривая по сторонам. Открылись лавки и магазины у Куражова, Кузнецова, Лаврентьева, Кашинцева. Из мясной Мужжавлевых несло запахом солонины. Пронесли покойника на кладбище. Городовые Митягин и Фунтиков, сидя

на скамье у городской управы, от скуки играли в шашки. Как всегда пьяный с самого раннего утра, бывший парикмахер Сафончиков шел по площади, распевая:

Я поеду в город Шую,
Там куплю гармонь большую.
А как выйду за село.
Заиграю веселó...

Митягин, сделав очередной ход, подошел к Сафончикову и беззлобно, так, ради порядка, ткнул его кулаком:

— Куда прешь? Пьяное рыло!

Сафончиков спотыкаясь побежал, крича диким голосом:

— Караул! Убивают!

Отбежав на почтительное расстояние, погрозил городовым кулаком:

— Звери-лошади! Я до вас еще доберусь!..

Вдруг зацокали по мостовой подковы. Пригнувшись к луке, подлетел к управе казак, спешился и застучал сапогами по ступенькам.

В неурочный час заревел и тут же захлебнулся гудок. Помолчал секунду и завыл снова, вселяя в душу обывателей непонятный страх. Городовые собрали шашки и замерли. Мясник Мужжавлев, испуганно озираясь, выскочил из лавки с топором. Казак скатился с лестницы, взвился на коня и полетел, крикнув городовым:

— Поглядывайте, раззявы! На Бакулинской забастовали...

У ворот Бакулинской фабрики стояла большая толпа рабочих. Невдалеке в полном боевом порядке выстроился отряд казаков. Евлампий Дунаев вышел вперед и скомандовал:

— Пошли, товарищи!

Из толпы послышалось:

— Пошли, ребята, пошли!

Толпа колыхнулась и двинулась за Дунаевым. Казаки раздвинулись, из-за них, тыкая шпорами упиравшуюся лошадь, выехал Кожеловский:

— Куда, мерзавцы! Расходись! Запорю!..

Толпа остановилась, только Дунаев продолжал идти навстречу Кожеловскому.

Полицеймейстер двинул на него лошадь:

— Куда? Ты что, не слышал?

— Слышал,— спокойно сказал Дунаев.— Не мешай, дай людям пройти.

Он повернулся к рабочим и махнул рукой:

— Пошли, товарищи!

Толпа двинулась за ним, выстраиваясь в узкую, длинную колонну. Кожеловский вытащил из кобуры пистолет и, взмахнув им, зычно крикнул:

— Расходись, подлецы!

Дунаев вынул из кармана газету и, явно издеваясь, громко сказал:

— Разве дядя Ваня сильнее царя?

Полицеймейстер опешил:

— Какой дядя Ваня?

— Да ты. Ведь тебя, кажется, с детства Иваном кличут. Значит, ты дядя Ваня. И ты нам, дядя Ваня, не указ. На вот, почитай, тут есть царский указ, разрешающий сходки. А мы идем на сходку...

Кожеловский повернул лошадь и поскакал к казакам.

В эту минуту завыл гудок, за ним второй, третий. Послышались крики:

— У Полушина бросили работу!

— У Зубкова!

Кожеловский, услышав гудки, проскочил через строй казаков:

— За мной! Марш!

Отряд рысью двинулся по направлению к управе. Над толпой взвилось красное полотнище.

На фабрике Товарищества Иваново-Вознесенской мануфактуры, где работал Федор Самойлов, забастовка началась с опозданием.

Разведчики, посланные Самойловым на фабрику Бакулина, давно уже сообщили, что бакулинцы бросили работу и пошли на площадь перед городской управой.

Самойлов обошел все этажи фабрики. Рабочие стояли в коридорах, в проходах. Но машины еще не остановили. Только в первом этаже торопливо одевалось несколько человек. Самойлов подбежал к ним:

— Подождите уходить! Идите поднимайте остальных!

В раздевалку влетела Наталья Разоренова:

— Мужики! У задних ворот полушинцы стоят и зубковские! Нас ждут!

Она побежала по лестнице, громко крича:

— Бабоньки! Бросай работу!

Фабрика вздохнула последний раз и стала. По лестницам, переходам бежали работницы:

— Бросай работу!

Где-то звякнуло разбитое стекло.

Самойлов скомандовал:

— К задним воротам!

От главных ворот, пересекая рабочим путь, бежали полицейские. Но они опоздали. В распахнутые задние ворота вливались зубковцы и полушинцы.

Самойлов увидел, как высокий белокурый гигант взмахнул алым флагом. «Да ведь это Иван Никитин,— вспомнил Самойлов. — Молодец парень!»

Смятые полицейские удирали, прятались в материальном складе за бочками, ящиками с початками.

Через десять минут на фабричном дворе стало тихо и пустынно, как в праздничный день. Только широко распахнуты двери и окна.

* * *

Степан, по совету Балашова и Станко, поселился на улице со странным названием «Путанка», у двоюродной сестры Станко. Тихая, молчаливая Федосья Алексеевна в ответ на просьбу брата пустить на квартиру его приятеля осмотрела Степана с ног до головы и спросила:

— Не пьешь?

— Не люблю.

— Можно не любить, а выпивать. С горя...

— Не пью.

— Тогда живи. Дров наколоть не откажешь, воды принести?

— Все сделаю.

— Спасибо. Сама я не могу: руки болят. А сварить чего потребуется — картошки, щей,— сварю.

В этот же день к вечеру Степан сходил к Прасковье Федоровне за своим сундучком. Фрунзе он уже не застал. Прасковья Федоровна, угощая чаем, добродушно сказала:

— И ты, значит, теперь в птицы небесные определился. Летать с места на место. Заходи, если будет можно, ко мне почаще — рубашки постирать, чайку попить...

На обратном пути к себе на Путанку Важеватов око-

ло Соковского моста встретил Кручинина. Игорь, не скрывая радости, с деланым удивлением спросил:

— Степан Ильич! Куда это вы?

— На новую квартиру перебираюсь. Выгнали из каморок.

— Зачем же вам новую квартиру искать? Давайте к нам. У мамы как раз свободная комната есть. Лучше не найдете.

— Я уже нашел. У вашей матушки комната мне дорого обойдется. Она рублей пять, наверно, запросит, а я снял за рубль.

— Что вы! Я уговорю маму сдать вам подешевле. А если я ей скажу, что ваше присутствие для меня как целительный бальзам, она вам еще приплатит.

— Не к чему... Давайте сделаем так. Я на новой квартире уже договорился, задаток вперед за месяц дал. Поживу, посмотрю: не понравится — попрошу вас мне помочь... Если бы я знал о вашем предложении раньше, я, может, не поторопился бы.

— Жаль... Давайте я вам помогу поклажу нести.

— Она для меня как пух.

Степан легко, действительно словно пуховую подушку, поднял на плечо сундучок и зашагал в гору. Кручинин, еле поспевая за ним, пытался начать новый разговор:

— Я вчера, Степан Ильич, рылся в своих книжках и нашел...

Важеватов остановился, спустил сундучок и, глядя в упор на студента, зло сказал:

— Ну что вы ко мне пристали! Какой я вам Степан Ильич? Все знаете и продолжаете чуть не на всю улицу называть меня по-старому. Сколько раз вас надо об этом просить!

— А вы и не просили.

— Сами не маленький. Можно было догадаться. А так с вами и до кутузки недалеко... Извините, я спешу. Поговорим как-нибудь в другой раз.

На другой день рано утром Степан по поручению Балашова должен был вместе со Станко идти в паровозное депо уговаривать железнодорожников присоединиться к забастовке. Недалеко от вокзала их обогнала сотня казаков. Впереди трясся на своей высокой гнедой лошади Кожеловский. Станко подмигнул Степану:

— Задали мы им хлопот! Поспать некогда.

Затем по мостовой затарахтели три пролетки. В первой, картинно опираясь на эфес шашки, сидел Шлегель. Во второй, тесно прижавшись друг к другу, еле уместились судья Козленко и почтмейстер Савин. В последней — помощник полицеймейстера Саваренский и ротмистр Левенец.

Станко посмотрел им вслед:

— Куда это они спозаранок поднялись? Не иначе кого-нибудь ждут.

Как будто подтверждая его догадку, к вокзалу подкатил необычный поезд из пяти вагонов — одного классного и четырех товарных.

— Идем быстрее,— шепнул Станко.— Надо посмотреть, кто пожаловал.

Первым из классного вагона вышел высокий, худой старик с большой седой бородой. Кожеловский, приложив руки к козырьку, почтительно стоял на перроне:

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

Станко шепнул:

— Губернатор прибыл Леонтьев. Ну, будет дело!

Распахнулись двери товарных вагонов. Из них один за другим выскакивали солдаты. Властный голос скомандовал:

— Становись!

— Немедленно к Балашову. Скажи — привезли солдат.

На второй путь подошел еще один состав — длинный, весь из товарных вагонов. Заскрипели открываемые двери. Снова послышалась команда. Степан перескочил через забор и, стараясь не попасться на глаза стоящим на площади городовым, быстро пошел к Балашову.

На осторожный стук в окне показалась Груня Николаева:

— Семена Ивановича нет. Недавно ушел. Искать его надо в Хуторове, у Веселова.

Важеватов попросил у Груни напиться и побежал в Хуторово. Пустынные несколько минут назад улицы были заполнены рабочими. Степан заметил — в одиночку никто не шел. Люди шли группами, оживленно разговаривая:

— Куваевцы встали?

— Встали. И у Витовых бросили.

— Типографские тоже забастовали...

На углу Троицкой улицы повстречались зубковцы. Впереди в новой розовой кофте и красном платке шагала Евдокия Рожнова. Увидев Степана, она крикнула:

— Здравствуй, заступник! Куда торопишься?

— А вы куда так разоделись?

— Мы? Бастуем. Сейчас к фабрике, соберемся там, а потом всей артелью к управе.

Удаляясь, Степан услышал:

— Уж очень у тебя, Авдотья, платок ярок.

— Какой нравится, такой и ношу.

Балашова не было и у Веселова. Но и здесь сидел связной — ученик слесаря Костя Зуев.

— Семен Иванович сейчас у куваевских фабричных ворот. Крой туда.

Важеватов с трудом пробился через толпу, стоявшую около ворот Куваевской мануфактуры.

Балашов, выслушав, спокойно сказал:

— Мы так и предполагали, что без внимания и без солдат господин губернатор нас не оставит.

На высокое крыльцо проходной поднялся молодой рабочий и крикнул:

— Время, товарищи! Пошли на площадь!

К девяти часам утра на площади перед городской управой собралась многотысячная толпа. Всем места не хватило, многие стояли в прилегающих к площади улицах и переулках. Постоянные спутники всех уличных происшествий — мальчишки взгромоздились на крыши, смотрели из чердачных окон.

Вдруг толпа расступилась. Со двора магазина бакалейщика Чернова двое парней катили огромную бочку. Доставив импровизированную трибуну на середину площади, парни с гиком ловко перевернули бочку вверх дном. Один из них шлепнул рукой по дну и крикнул:

— А ну, кто желает? Вставай!

К бочке подошел Дунаев и погрозил парням:

— Не можете без озорства!

Степан даже не заметил, как Евлампий легко вскочил на бочку, поднял руку и выкрикнул:

— Товарищи!

Шум на площади стал стихать.

— Товарищи!

Стало совсем тихо.

— Товарищи! Посмотрите вокруг. Полюбуйтесь, сколько нас сюда собралось. Тысячи! И все мы, как один, работаем от светла до темна. Все лучшие дни, месяцы и годы проводим в тесных, душных корпусах за непосильной работой. И все мы живем впроголодь. Голодаем мы, голодают наши дети. А все вокруг создано нашими руками. Кто строил эти дома? Мы. Кто строил фабрики? Опять мы. Кто, не разгибая спины, всю жизнь стоит за станками? Мы. Доколе же мы будем терпеть, чтобы над нами, рабочими, творцами всей жизни на земле, издевались богачи? Мы собрались сюда не просить, а требовать нормальных условий труда и жизни! Мы требуем, чтобы рабочий день продолжался не больше восьми часов. Правильно я говорю, товарищи?

Сотни голосов откликнулись:

— Правильно! Верно!

Около бочки собрались «Отец», Балашов, Самойлов, Сармантова, Фрунзе. Вокруг них стояли Аким Клещев, Максим Грачев, Ефим Сучков, Алексей Мартынов и еще несколько молодых рабочих, которых Степан иногда встречал вместе со Станко. У некоторых в руках были железные трости, а у Акима — толстая суковатая палка. Степан догадался — это была охрана.

Степан заметил, что на него с любопытством смотрит высокий рыжеватый паренек. Он стал вспоминать, где видел это веснушчатое добродушное лицо. Другой молодой рабочий, стоявший к Степану спиной, нахлобучил рыжему кепку и знакомым голосом спросил:

— Куда, Вася, уставился? Вон куда смотреть надо.

— Не дури, Силантий!..

Важеватов сразу вспомнил ночь, проведенную на чердаке, и хоть с трудом, но все же протиснулся поближе к парням. На него ворчали, толкали его в спину, приговаривая: «Лезет, словно леший! Медведь!»

Степан положил руку на плечо Силантию:

— Здорово, небесные жители! И вы здесь?

Силантий, широко улыбаясь, ответил:

— Здорово, бездомный! А где же нам быть? У нас времечка свободного больше, чем у тебя: бездельные. Теперь нам каюк — работы не найти... Хотим в Кинешму, на Волгу, податься.

— Зачем?

— В грузчики. Пароходы пошли.

А голос Дунаева звенел над площадью:

— Наши требования мы передадим господам фабрикантам. Пусть они попробуют ответить нам отказом! Мы будем бастовать до тех пор, пока все наши требования не будут удовлетворены. Верно, товарищи?

И опять по площади могуче прокатилось:

— Верно! Правильно! Не уступим!..

Увлеченный речью Дунаева, Степан не заметил, как рядом очутился Станко.

— Держи! — Он незаметно достал из кармана и подал револьвер.— Пробирайся за мной. К бочке.

— Как в депо?

— Все здесь. Забастовали...

Проталкиваясь к бочке, Станко предупредил:

— Держись около Акима. И не спускай глаз с Трифоныча. Отвечаешь за него.

А Дунаев говорил:

— Вот тут мне женщины подсказывают, что торговцы испугались нас и закрыли свои лавки да магазины. Не хотят нам, забастовщикам, продавать товары. Напрасно. Мы не воры, не грабители, не жулики какие-нибудь, а честные рабочие, труженики. На чужой счет мы никогда не жили. Чужой труд не присваиваем. Всю жизнь мы содержали своим собственным трудом множество всяких дармоедов, праздных бездельников. Пусть люди, закрывшие свои лавки, не меряют нас на свой аршин, пусть они знают, что честные труженики, рабочие — совсем не то, что они...

Степан стал рядом с Фрунзе. Михаил тихо сказал:

— В двенадцать ночи у Балашова. Очень нужно.— И наклонился к Матрене Сармантовой: — Сейчас будет выступать Лакин, а потом вы.

— Робею... Не знаю, как начинать.

— А так и начните, как уговаривались. Расскажите про дороговизну. Не волнуйтесь. Все будет хорошо.

На бочку поднялся заварщик с фабрики Грязнова Михаил Лакин. Повидимому, многие хорошо его знали. По площади понеслось:

— Тише! Лакин будет говорить!

Лакин снял кепку, постоял несколько секунд молча и расстегнул ворот голубой рубахи. Окинув взглядом пло-

щадь, он протянул руку к управе и громко, отчетливо проговорил:

— Полюбуйтесь на них, товарищи! Вот кто нами командует...

Огромная толпа, как один человек, повернулась к управе, из окон которой выглядывало много людей. Гарелина, Зубкова, Дербенева узнали сразу.

— Вот они, наши благодетели!

В среднем, открытом настежь окне, как в раме, стоял губернатор Леонтьев.

— А это их заступник,— продолжал Лакин.— К кому он приехал? — Лакин поискал кого-то в толпе и спросил, обращаясь к пожилому рабочему с явно чахоточным лицом:— Может, к тебе, Семен Карпыч? Или к тебе, Федор Игнатьич? Может, к нам, товарищи? Нет, не к нам, а к господину Гарелину. Тесно покажется их сиятельству в наших хоромах, неуютно, да и угощать нечем. То ли дело у господина Гарелина! Палаты высокие, полы глянцевые, закусок много. Побеседуют они, шипучего выпьют и договорятся по-милому, по-хорошему, как нам не уступать, а давить, выжимать соки из нас попрежнему. Нечего нам, фабричным людям, на царского слугу надеяться. Давайте мы сами с собой посоветуемся. Требования наши верные. Стоять за них мы будем крепко. Так ли я говорю, товарищи?

Гул одобрения снова прокатился над площадью.

Лакин говорил долго. Люди с жадностью слушали его яркую обличительную речь. Фрунзе предупредил Степана.

— Слушай, что сейчас Лакин говорить будет.

Лакин, повернувшись к управе, после небольшой паузы произнес:

...Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.

Голос Лакина, чистый, звучный, доносился до самых последних рядов. Люди замерли, очарованные стихами, покоренные правдой и силой их.

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..

У крыльца управы бесновался Кожеловский:

— Прошу прекратить читку недозволенного!

Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля...

Кожеловский с револьвером в руке, а за ним несколько городовых бросились в толпу.

Молодые рабочие взялись за руки, стали цепью.

Кто-то выхватил у полицеймейстера револьвер. Он трусливо попятился и скрылся в управе. Городовые, не получив поддержки от молчаливо наблюдавших казаков, поспешили за своим начальством.

На бочку поднялась Матрена Сармантова. В толпе послышалось:

— Держись! Бабы заговорили!

— Эта сейчас скажет!

— И скажу! — крикнула Матрена.— Правду скажу. Нашу бабью правду. Кто у станков рожает? Мы, бабы. Кто слезами умывается? Мы, бабы. Кто детей голодных спать укладывает? Мы. Кто без мыла белье стирает? Мы, бабы. А почему без мыла? Потому что на мыло нехватает. Попробуй поживи с семьей в пять человек на десять рублей! За квартиру трешницу отдашь. Сколько остается? На все — на обувь, на одежду, на еду — семь рублей. А они,— Матрена махнула рукой на управу,— на одни пуговицы своим женам по сто рублей тратят. На пуговицы! У нас дети голодают, а они на балах пляшут. Мы, бабы, больше мужиков работаем, а платят нам меньше. Над кем мастера измываются? Над нами. Кто тут есть с Маракушевской? Скажите, кто Степаниду Клещеву до тюрьмы довел? Кто ее в петлю вогнал?

Площадь загудела:

— Вот это говорит!

— Ай да Матрена!

Женские голоса закричали:

— Про нас скажи, Матрена!

— Скажу. Про всех скажу. Мы сегодня вместе с мужиками на улицу вышли не шутить. Мы за свои требования драться будем.

«Отец» знаком подозвал к себе Станко. Степан услышал ответ Станко:

— Готовы. Десять человек. Люди надежные.

После Матрены на бочку снова поднялся Дунаев. Ему дружно захлопали.

— Товарищи! Мы тут сейчас посоветовались и пришли к такому выводу: господа фабриканты, по всей вероятности, ответ на наши требования дадут не скоро. Торговаться, конечно, захотят. Хлопот нам с ними будет много, а на всякие хлопоты нужны деньги. Кое-кто из нас в скором времени без копейки останется. Таким, понятно, помогать придется. Стало быть, опять деньги потребуются. Поэтому я предлагаю начать сейчас сбор в стачечный фонд. Согласны, товарищи?

— Согласны!

— Кто согласен, поднимай руку!

Тысячи рук взметнулись вверх. Дунаев, счастливо улыбаясь, одобрил:

— Хорошо! Очень, товарищи, хорошо! Славно у нас получается! Хоть и большая у нас семейка, но зато и дружная. А ну, кто против?

Где-то, в самом заднем ряду, поднялись несколько рук и сразу опустились.

— Мало! Совсем пустяк,— попрежнему улыбаясь, сказал Дунаев.— Давайте собирать. Вот что, товарищи! Для того чтобы какой-нибудь чужой человек, мошенник вроде конторщика Власикова, к нашим трудовым грошам не пробрался, мы тут сборщиков приготовили. Первый — Федор Самойлов Есть против него возражения? — Дунаев помолчал немного и сказал:— Нет? Голосуем. Кто за то, чтобы Федор Самойлов был сборщиком?

Опять поднялись тысячи рук.

— Хорошо. Принимайся, Федор Никитич! Кто за то, чтобы утвердить сборщиком Акима Клещева?

Через несколько минут утвержденные собранием сборщики двинулись по разным направлениям, держа в руках фуражки. Груня попросила фуражку у Степана.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Вечером стачечники собрались на берегу реки Талки. Громадный луг рядом с железной дорогой был переполнен народом. Развевались десятки флагов. Дербеневцы пришли с красным знаменем, на котором белой краской были написаны слова: «Кровь рабочих на нем».

Словно по уговору, бакулинцы сгруппировались около своего знамени, бурылинцы — у своего. Кто-то принес пачку свежих газет. Вскоре появились листовки. Их расхватали с жадностью.

«Отец» переходил от одной группы к другой. Он остановил Степана:

— Тебя Трифоныч ищет. Он у куваевцев.

Подойдя к куваевцам, Важеватов услышал голос Фрунзе:

— Нет, товарищи, это была просто бойня. Поп Гапон завел народ на площадь, а царский дядя по приказу своего племянника, царя, расстрелял тысячи ни в чем неповинных людей... Вот, кстати, товарищ из Петербурга. Он там был в это время. Расскажи, товарищ Никитин, как убили твоих друзей.

Неожиданно для себя Степан очутился посередине группы. Он смущенно посмотрел на Фрунзе. А тот одобряюще подсказал:

— Давай, Иван Матвеевич, говори, как умеешь. Здесь все свои.

Степан почувствовал: молчать нельзя.

— Тяжело об этом рассказывать, товарищи. Был у меня друг. Очень хороший человек. Работал на Путиловском заводе. И была у него невеста. Звали ее Тоня. Хотели весной свадьбу играть... Другу моему Ивану было двадцать лет с небольшим, а Тоне девятнадцать. Только бы жить да жить...

* * *

А Фрунзе — уже около группы дербеневцев. Постоял, прислушался, о чем говорит ткачиха Елена Кулева. Накипело у Кулевой сердце. Много обид помнит она. На прошлой неделе утром, когда уходила Елена на работу, оставила двухлетнюю дочку Танюшку здоровой и веселой. Часа через два прибежала на фабрику соседская девочка со страшным известием: «Беги скорее, тетя Лена,

домой. Танюшка твоя корчится, бьется по полу, не плачет, а хрипит».

Кинулась Елена к мастеру:

— Отпусти, Иван Алексеевич!

— Что там у тебя стряслось?

— Доченька заболела.

— Эка невидаль! Умрет, другую родишь. Баба ты молодая, здоровая.

Так и не отпустил. А за самовольный уход пригрозил увольнением. Бросила Елена станок — увольняй, пес хозяйский, ребенок дороже твоей работы. И опоздала. Вбежала в комнату и замерла — лежала Танюшка на полу вниз лицом, без движения. Повернула ее мать и дико закричала: все лицо у доченьки синее, глаза выкатились. Увезли ее потом в мертвецкую, разрезали и нашли в горлышке большую иголку. Обронил случайно кто-нибудь, она и подобрала.

Но не о смерти дочери рассказывает сейчас Елена. Близкие товарки об этом знают, а остальных не удивить: у всех дети остаются без присмотра, сами себе хозяева. Ходить дитё научилось, есть умеет, стало быть человек самостоятельный.

О другом говорит Елена:

— Нам терять нечего. Это им, хозяевам нашим, забастовка не по нутру — убытков много приносит. Мы вытерпим. Только, бабы, надо тверже быть, не уступать...

Фрунзе доволен: хорошо говорит Елена. Замечательный из нее получится агитатор.

Всего несколько дней живет Фрунзе в Иванове, а уже знает по имени-отчеству не одну сотню людей. Идет навстречу Петр Мартьянов. Идет и улыбается смущенно по поводу неудачного ночлега. Вчера Балашов подвел его к Фрунзе и сказал:

— Сейчас ребята сказывали — около дома Прасковьи Федоровны какие-то подозрительные личности крутятся. Ночуй сегодня у него. Место безопасное.

Петр снимал комнату в конце Часовенной улицы, около кладбища. В эти дни он был дома один. Жена с детьми незадолго до забастовки уехала к родственникам в деревню. Фрунзе пришел к Петру, как было уговорено, после двенадцати ночи. На его осторожный стук показалась пожилая женщина:

— Вам кого?

— Петра Федоровича.

Но Петр уже выскочил сам:

— Заходи, Трифоныч, заходи. Правда, тесновато у меня, но ничего, как-нибудь расположимся. Жена вернулась.

В небольшой комнате на полу спало несколько человек. Оказалось, что жена Петра не только сама вернулась, но, не зная о забастовке, захватила с собой нескольких родственников.

Фрунзе пришлось лечь на полу, положив под голову тужурку. Ночью то один, то другой ребенок просил пить. Старая тетка Петра вставала, гремела ковшом, сердито шикала и шлепала детей. Утром жена Петра с огорчением сказала:

— Не выспались? Мы привыкли, а вам, наверно, худо.

— Что вы? Это вы меня извините, что я вас побеспокоил.

Вот поэтому так и смущен Петр, увидев Фрунзе на Талке:

— Понимаешь, как неловко получилось...

— Ничего, товарищ Мартьянов, спал как убитый.

Поговорив с Мартьяновым, Фрунзе заспешил к лесной сторожке.

Кое-где уже зажгли костры. Пала на луг ночная роса, а народ с Талки не расходился.

* * *

Лесная сторожка, где по указанию «Отца» собирались члены группы Северного комитета, районные и фабричные организаторы, ничем особенным не отличалась. В ней, так же как и в сотнях других сторожек, одиноко стоявших на солнечных полянках, была небольшая, в одно окошко, комнатка с потемневшими от времени, прокопченными стенами и крохотные сени.

Когда Фрунзе вошел в сторожку, почти все уже собрались. Кто-то догадался и снял с петель низенькую широкую дверь из сеней в комнату, и от этого в помещении стало просторнее. Вскоре пришли Балашов и «Отец», и заседание группы Северного комитета большевиков началось. Фрунзе сел на полу рядом с Веселовым. Впереди Веселова, также на полу, сидела Груня Николаева. Фрунзе услышал, как она тихо сказала Веселову:

— Помолодел наш «Отец»! Посмотри, как хлопочет.

А «Отец» действительно за последние дни словно помолодел. Веселов тронул Груню за плечо:

— Верно говоришь. Он всегда, когда у него дела много, молодеет.

«Отец», стоя у окна, постучал карандашом по подоконнику и сказал:

— Давайте, товарищи, не будем терять время попусту — дел у нас нынче много. Забастовку народ начал хорошо, дружно. Надо и дальше постараться дружнее быть. По этому поводу есть у меня некоторые соображения. Вот я и хочу их высказать, если разрешите.

«Отец» помолчал немного и, словно размышляя вслух сам с собой, не спеша продолжал:

— Сегодня вечером и днем многие рабочие мне одно и то же говорили. Говорили, конечно, по-разному, но смысл одинаков. Хорошо бы, дескать, для руководства стачкой Совет выбрать из самых боевых, самых верных людей. Бакулинцы, скажем, выбирают своих, дербеневские — своих. А потом все выбранные собираются вместе и сообща советуются, как забастовку дальше вести, как с фабрикантами разговаривать. Возьмите хотя бы такое дело. Сегодня на площади собрано много денег... Сколько всего, Архипыч?

— Семьсот двадцать один рубль сорок семь копеек.

— Вот видите, какая сумма! Семьсот двадцать рублей! Кто ими распоряжаться должен? А распорядиться надо с толком, чтобы ни одна копейка понапрасну не ушла. Совет — это не один человек, не ошибется. Или возьмем такой вопрос: как быть с требованием восьмичасового рабочего дня. Некоторые рабочие думают, что требовать восьмичасовой рабочий день пока рано, можно согласиться и на девять часов. Где лучше этот вопрос обсудить? Совету рабочих это будет сподручнее. Слушал я все эти разговоры и понял: хорошее дело народ начинает, и нам, партийцам, это предложение остается поддержать и развить. Надо сделать так, чтобы уполномоченными были выбраны действительно самые боевые, самые верные люди. Какое будет ваше мнение, товарищи?

Груня Николаева подошла поближе к окну, стала рядом с «Отцом» и сказала:

— Лучшего предложения и не придумать. Наши дербеневские ткачихи тоже об этом сегодня говорили. Это, вид-

но, по воздуху так и разносится — от одного человека к другому. «Отец» правильно сказал: сообща наши дела гораздо лучше обсуждать. Я не знаю, кто это придумал про Совет, но придумано хорошо.

Чей-то голос из угла степенно ответил:

— Никто и не придумывал, это сам народ так решил. Значит, так и надо.

После Груни выступали Балашов, Архипыч, Марья Наговицина, Дунаев. Все единодушно говорили, что Совет безусловно себя оправдает и что дел ему хватит.

Только после того, как высказались почти все присутствующие, «Отец» снова взял слово:

— Я вижу, никаких принципиальных разногласий о полезности Совета у нас нет. Давайте действовать. Будем горячо поддерживать это предложение народа. Члены партии обязаны принять самое активное участие в выборах и тем, кто не будет еще сразу понимать, в чем дело, разъяснять полезность Совета рабочих. И еще: надо осторожно, подумав о каждом кандидате, подсказать, кого выбирать уполномоченными. И не забудьте — обязательно выдвигайте женщин. Кто за это предложение, прошу поднять руки.

Решение о выборах в Совет было принято единогласно. Михаил Фрунзе услышал, как Груня сказала Веселову:

— Я недавно книгу читала про новгородское вече. Выходит, и у нас будет вроде своего веча.

— У нас по-другому будет. Посильнее...

Расходились около полуночи. Фрунзе и «Отец» долго шли вместе. По пути «Отец» сказал:

— Надо о Совете непременно написать.

— Кому?

— Владимиру Ильичу Ленину. Об этом он должен знать обязательно.

Расставаясь, «Отец» спросил:

— Ты этого питерского Ивана-Степана хорошо знаешь? Как он, все сдюжит? Не сломается?

— По-моему, из крепких. Не во всем еще только как следует разбирается.

— Это дело наживное. Если в нашу партию одних образованных принимать, тогда у нас будет не партия, а английский клуб. Как ты думаешь, можно его в партию принять?

— Можно.

— И я тоже так думаю. Надо, чтобы Яков с ним поговорил. Поговори ты. И я поговорю.

— Хорошо.

«Отец» подал Фрунзе руку:

— Ну, я дальше один.

Фрунзе долго смотрел ему вслед, пока «Отец» не свернул на переезд с железнодорожного полотна по направлению к поселку Фряньково.

* * *

Ночью Шлегеля вызвали на совещание к губернатору. В коридоре управы он увидел нескольких военных. Это были офицеры прибывшего в город батальона Малороссийского гренадерского полка и сотни 32-го Донского полка. Проходя мимо, Шлегель услышал, как молоденький подпоручик озабоченно, явно преувеличивая значение своих слов, нарочито громко произнес:

— Его превосходительство телеграфировал командующему округом. Просил командировать сюда еще два батальона.

В просторном кабинете городского головы собрались губернатор, прокурор Владимирского окружного суда Чернявский и Кожеловский.

Губернатор достал большие золотые часы, с видимым удовольствием поднес их к близоруким глазам и, звонко щелкнув крышкой, сказал:

— Опаздывает наш «утоли мои печали».

В этот момент в кабинет вошел старший фабричный инспектор Владимирской губернии Свирский. Губернатор иронически приветствовал его:

— А я только что вас вспоминал: куда, мол, наш специалист по рабочему вопросу запропастился? Начнем, господа.

Свирский, входя, очень хорошо слышал насмешку, но сделал вид, что ничего не заметил. Ссориться с губернатором не входило в его расчеты.

Фабричная инспекция была введена в России в 1882 году, после первых крупных забастовок. Это была небольшая уступка царского правительства заявившему о себе рабочему движению. Фабричные инспекторы были обязаны наблюдать за тем, как владельцы предприятий выполняют законы об охране труда. Фабричным инспек-

торам предоставлялись некоторые права. Узнав, что какой-нибудь фабрикант самочинно увеличивает рабочий день сверх установленных законом одиннадцати с половиной часов, инспектор мог оштрафовать фабриканта. На самом деле инспекторы своих прав никогда почти не использовали. Многие из них брали взятки и старались ничего не замечать. Попадались среди них и порядочные, честные люди, желавшие хоть как-нибудь облегчить положение рабочих. Но им приходилось очень много времени и сил тратить впустую. «Обижаемые» такими инспекторами фабриканты обращались за содействием к местным властям: губернатору, полицеймейстеру, прокурору. Начиналась долгая тяжба, которую, как правило, выигрывали богачи. Фабричные инспекторы постепенно превратились в «разумных советчиков», причем их советы большей частью были необязательными для владельцев. Рабочие, раскусив своих горе-защитников, стали называть их «главноуговаривающими» и «утоли мои печали».

Свирский принадлежал к числу бывших энтузиастов фабричной инспекции. В начале своей деятельности он искренне надеялся принести какую-то пользу. Со временем, после нескольких крупных стычек с текстильными магнатами и губернскими властями, сам превратился в чиновника. Он настолько привык к ироническому тону губернатора, что перестал обращать на это внимание.

Леонтьев пригласил всех к столу:

— Начнем, господа! Ваше первое слово, господин Свирский.

Инспектор встал, раскрыл большой, из темной кожи портфель, достал блокнот и, полистав его, начал:

— Говорить мне особенно не о чем. Я считаю своим долгом сообщить, что, судя по всему, забастовка будет упорной. Представители рабочих, с которыми мне удалось побеседовать...

— Что за представители? — перебил Шлегель. — Вы знаете их?

— Нет. Я видел их сегодня впервые.

— Не мешало бы знать,— желчно добавил Шлегель.

— Это в мои обязанности не входит,— учтиво ответил Свирский. — Мне думается, что это больше по вашей части.

Губернатор раздраженно постучал карандашом:

— Нас не интересует, что вы думаете! Меня больше интересует, что думают рабочие.

— Не могу знать. Особым доверием я у них не пользуюсь. Но одно знаю твердо: бастовать решили упорно.

— Что вы предлагаете?

— Ничего нового. Надо, чтобы господа фабриканты побыстрее рассмотрели требования, которые они получат, и ответили, что́ они считают приемлемым.

— А если ничто неприемлемо? Что тогда будет?

— Боюсь оказаться плохим предсказателем, но полагаю — неприятностей у нас с вами будет порядочно.

Молчавший до сих пор Кожеловский, не выдержав, рявкнул:

— Мало пороли мерзавцев, вот они и распустились!

Свирский все тем же равнодушным тоном проговорил:

— Возможно. Хотя я лично не считаю нагайку единственным средством для успокоения толпы. Есть методы более совершенные.

— Какие, с вашего разрешения? — ехидно поинтересовался Шлегель.

— Увеличение заработной платы. Хотя бы минимальное.

— Да вы у нас якобинец! — насмешливо заметил губернатор. Он снова постучал карандашом и не допускающим возражения тоном продолжал: — Повышение или понижение заработка — частное дело фабрикантов и рабочих. В эти споры я вмешиваться не собираюсь. Моя священная обязанность — сохранять порядок во вверенной мне государем императором губернии. Я запрещаю, — голос губернатора стал звонче, — да, запрещаю всякие безнравственные речи. Прошу вас, господин Свирский, передать это вашим подопечным.

— Передам. Разрешите быть свободным?

— Пожалуйста.

Свирский вышел. Шлегель бросил ему вслед:

— Каков гусь! С гонором...

Леонтьев сердито обрезал его:

— Вы тоже хороши! Задаете наивные вопросы — «что за представители»! Не мешало бы знать. Прозевали, батенька, забастовку. Надо было во-время головкой здешних социал-демократов заняться.

Прокурор Чернявский вступился за Шлегеля:

— Не так просто, ваше превосходительство.

— Тем хуже для нас! — резко сказал губернатор. — Впрочем, сейчас не время и не место спорить. Поскольку мы тут люди свои, я стесняться не буду. План мой таков. Пока не вмешиваться в спор между рабочими и фабрикантами. Пусть это возьмет на себя наш «утоли мои печали». Но надо быть готовыми ко всяким неожиданностям, и поэтому я дополнительно запросил войска. Самое главное — а это действительно по вашей части, ротмистр, — надо обезглавить социал-демократов, найти типографию, арестовать вожаков. Если прихватите кого по ошибке — тоже не беда, потом разберемся. Действовать, понятно, надо аккуратно. Вам, господин Чернявский, учинить немедленно дознания. Вам, полицмейстер, советую до поры до времени держать язык и кулаки на привязи. Не к чему кидать спички в бочку с порохом. И прошу обеспечить надежную охрану господ фабрикантов, их семей и имущества. Особенно прошу обратить внимание на дом Александра Ивановича Гарелина. Во все глаза следите за вокзалом, почтой, телеграфом. Все, господа. Вас, ротмистр, прошу остаться.

* * *

Леонтьев, проводив прокурора и полицеймейстера, закрыл за ними дверь на ключ.

— Так спокойнее будет. Поговорим без помех. Я вас, дорогой, попросил остаться для сугубо секретного разговора. Долго я вас не задержу Прошу понять только одно: если мы с вами не сумеем быстро навести здесь порядок и дадим этому костру разгореться, ни вам, ни мне головы не сносить: В столице нам этого не простят. И у вас и у меня недругов, завистников хоть отбавляй. А о событиях здешних уже доложено царю. Можете познакомиться...

Леонтьев подал ротмистру расшифрованную телеграмму. Как ни умел владеть собой Шлегель, но все же губернатор заметил, как торопливо забегали у него глаза. Телеграмма ротмистру удовольствия явно не доставила: «Государь изволили выразить неудовольствие... Примите все меры... Открытого бунта не допускать. Товарищ министра генерал Трепов».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

15 мая к девяти часам утра площадь перед городской управой была заполнена народом. Как и в предыдущие дни, посередине стояла большая бочка-трибуна для ораторов. У входа в управу, в окнах — всюду виднелись форменные фуражки полицейских и солдат. Во дворе полицейского управления, около Приказного моста, расположились казаки, а в ограде городского собора — эскадрон драгун.

Груня, проходя мимо церкви, услышала, как рабочие разговаривали с драгунами. Подмастерье с Дербеневской фабрики Трофим Позолотин, весельчак и балагур, перекидывался шутками с солдатами. Распахнув полы изрядно потрепанного пиджака, Трофим, улыбаясь, говорил:

— В моем сюртуке сподручнее — воздух везде проходит. А вас гляди как затянули. А что у тебя в подсумке? Боевые или учебные?

Солдат с неохотой отвечал:

— Что положено, то и лежит, а ты о чем не надо не спрашивай.

В начале одиннадцатого часа из управы вышел Свирский. Сойдя с крыльца, он пошел через толпу к бочке, монотонно повторяя:

— Прошу, господа, пропустите, пропустите...

Никодим Соловьев громко скомандовал:

— А ну, раздайся! Дай дорогу!

Толпа расступилась. Добравшись по широкому проходу до бочки, Свирский беспомощно улыбнулся, как бы говоря, что без чужой помощи ему на эту неприступную высоту не подняться.

Все тот же неугомонный, быстрый на выдумку Никодим легко вскочил на бочку и протянул Свирскому руку:

— Давайте, ваше благородие, руку. Трофим, подсади господина инспектора.

Поднятый общими усилиями на бочку, Свирский снял фуражку и пенсне и, наклонившись, сказал спрыгнувшему с бочки Никодиму:

— Весьма тронут. Благодарю.

Трофим Позолотин, широко улыбаясь, ответил за себя и за Никодима:

— Не стоит благодарности. Когда-нибудь сочтемся...

Свирский явно не понял сокровенного смысла насмеш-

ливого ответа Трофима. Впрочем, ему в эту минуту было не до шуток. Он не знал, как сообщить рабочим, что фабриканты согласны вести переговоры только с представителями каждой фабрики в отдельности.

— Господа,— начал негромким голосом Свирский,— я уполномочен второй стороной заявить вам, что никакие ваши объединенные требования второй стороной рассматриваться не будут...

Из толпы посыпались вопросы:

— А кто вас уполномочил?

— Понятно кто: владельцы предприятий.

Один особенно настойчивый голос продолжал допрашивать Свирского:

— Вы с каждым из них беседовали в отдельности или сообща?

— Я не понимаю ваших вопросов. Вы говорите не по существу.

На бочку вскочил Дунаев. Он сразу начал речь, рукой отстранив инспектора:

— А раз не понимаете наших вопросов, нечего тогда и в учителя к нам определяться? Поняли, товарищи, к чему господин инспектор гнет? Разбейтесь, говорит, по кучкам, так вас, дескать, легче вязать по ногам и рукам. Хозяева наши сообща обдумывали, как нас жать да давить, а мы против них обязаны действовать только в одиночку! Не выйдет по-вашему, ваше благородие! Товарищи! Я предлагаю сейчас разбиться по фабрикам и начать выборы уполномоченных в общий совет для переговоров с нашими эксплуататорами...

В толпе слова Дунаева, видно, поняли по-разному. Одни решили, что выбирать надо тут же, на месте, и закричали:

— Дунаева! Евлампия!

— Балашова!

— Кузнецова!

Дунаев поднял обе руки, стараясь успокоить народ:

— Я же говорю, товарищи, давайте разбивайтесь по фабрикам.

Но уже работали в толпе большевики, направленные «Отцом» и Балашовым. Толпились вокруг Николая Жиделева рабочие фабрики Гарелина. Жиделев стоял на тумбе, около магазина Чернова, громко повторяя:

— Эй, наши, давай сюда!

Уже вела за собой гандуринских ткачих Александра Найденова.

Дунаев кричал с бочки:

— Пошли, товарищи, на бульвар! Там сподручнее будет!

Рабочие, на ходу пристраиваясь к своим группам, хлынули с площади через Приказный мост по Соковской улице к бульвару, обсаженному молодыми липами.

На мосту Груня неожиданно очутилась рядом с Трифонычем. Трифоныч шел, держа в руках картуз, расстегнув ворот синей сатиновой косоворотки. Увидев Груню, он улыбнулся ей и весело спросил:

— Почему не со своими?

— У меня тут все свои,— в тон ему, также улыбаясь, ответила Груня.— Разве в такой толчее к своим проберешься? Я к ним на бульваре прилеплюсь...

Но и на бульваре в первые минуты Груне протиснуться к своим удалось не сразу. На длинном, узком бульваре, огороженном невысоким заборчиком, теснилось несколько тысяч человек. Многие переходили от одной группы к другой, громко спрашивая:

— А где грязновские собрались? В том конце или в этом?

Но снова неутомимые фабричные организаторы и выделенные «Отцом» партийцы сделали свое дело. Не прошло и получаса, как на бульваре царил нужный порядок. Рабочие каждой фабрики стояли вокруг своих ораторов.

Проходя мимо бакулинцев, Груня увидела, как пожилой рабочий, стоя на скамье, говорил:

— Я так думаю, что Евлампий Александрович Дунаев и Матрена Петровна Сармантова за наши интересы постоять сумеют. Давайте выбирать их. Еще я предлагаю Федора Васильевича Постнова...

Неподалеку от группы дербеневцев Груню окликнула соседка по станкам Анфиса Алеева:

— Мы тебя, Аграфена, по всему свету ищем. Идем скорее, сейчас тебя выбирать будут. У нас одних женок выбирают: Авдотью Кокурину, Елену Кулеву, Марью Лебедеву да тебя. А ты где-то запропастилась!

Анфиса схватила Груню за руку и потащила ее за собой:

— Бабы! Вот она, наша Аграфена свет Васильевна!.. Давай покажись народу.

Груня поднялась на скамью. На нее с любопытством смотрело несколько сот пар глаз. Анфиса, став рядом с Груней, заговорила:

— Ну как, нагляделись? Эта самая и есть Аграфена Николаева.

Женские голоса закричали:

— Знаем! Кто ж ее не знает!

Раздались и скептические возгласы:

— Уж очень молода да красива! Может, у ней одни гулянки на уме?

— Ничего, что молода, зато удала.— Анфиса, обняв Груню одной рукой за плечи, продолжала: — Вот и хорошо, что знаете. Кто за Аграфену Васильевну — прошу поднять руки!

После голосования она потребовала:

— Скажи что-нибудь. Авдотья с Мотей говорили. Очень понравилось.

Груня подтянула голубую косынку и перевела дух:

— Спасибо, товарищи, за доверие. Буду выполнять вашу волю, как только сумею. Мы нынче такое дело начали — на удивление всем. Видано ли — женщины женщин выбирают, чтобы права свои отстаивать да защищать! Никогда у нас этого еще не было.

Закончив свою короткую речь, Груня соскочила со скамейки и присоединилась к ранее избранным делегаткам.

— Пошли,— сказала Анфиса.— Всем выбранным приказано у входа собираться.

Пройдя несколько шагов, Груня столкнулась со старшим табельщиком Стратилатом Иудовичем Жучкиным. Иудыч искоса посмотрел на нее, торопливо снял с головы явно не свою, а чужую промасленную кепку и почтительно сказал:

— Аграфене Васильевне, нашему выборному уполномоченному, нижайшее.

Как ни старался Иудыч выглядеть подобострастно, все же Груня заметила, какой злобой горели глаза у верного хозяйского холуя.

* * *

Выборы не всюду прошли гладко. Перед витовскими ситцевиками выскочил на скамью раклист Семен Колосов. Раклисты считались на ситцепечатных фабриках самыми квалифицированными рабочими. Хозяева дорожили хоро-

шими раклистами и платили им и граверам больше всех. Даже средний раклист получал в четыре-пять раз больше лучшего ткача. На пасху и рождество, а на некоторых фабриках и в день именин главы фирмы раклисты и граверы, как правило, получали наградные. Старым, опытным мастерам кассир отсчитывал по месячному окладу, а тем, что помоложе, перепадало по четвертному билету.

Привилегированное положение раклистов и граверов отделяло их от остальных рабочих. Как только раклист получал право самостоятельно управлять печатной, даже одновальной машиной, он обзаводился часами и цепочкой. В воскресенье раклистов легко было отличить — они щеголяли в черных парах, носили шляпы. Годам к сорока у редкого из них не было своего домика с палисадником.

Попасть в ученики к раклисту почиталось за счастье. Для многих это на всю жизнь оставалось несбыточной мечтой, так как печатных машин было немного и их обслуживали целыми семейными поколениями. В печатном отделе Куваевской фабрики в одной смене почти за всеми печатными машинами стояли Гороховы: дед, два его сына и три внука.

Семен Колосов был среди раклистов белой вороной. Как мастеру ему не было цены. Пожалуй, никто не мог управлять двенадцативальной машиной, как он. Трезвый, он мог печатать самый сложный «азиатский» рисунок. Но он редко бывал трезвым, а хмелел быстро, едва успев выпить шкалик водки. Сначала он пел всегда одну и ту же песню:

Будет дождик осенний мочить,
Ты услышишь протяжное пенье,
То меня понесут хоронить.

Опьянев окончательно, Колосов становился нетерпимым: придирался к первому встречному, говорил грубые, обидные слова закадычным друзьям, лез в драку. Его прогоняли со всех фабрик. Несмотря на сорок с лишним лет, его никто не называл по отчеству, а звали, как подростка, Семкой. Когда-то он имел семью, а теперь жил бобылем — жена умерла, единственная дочь Катюша служила горничной у злой, горбатой фабрикантши Маракушевой и виделась с отцом два-три раза в год. Последнее время Колосов работал на фабрике наследников Витовых на одновальной машине и «держался» уже третью неделю

без вина, поэтому злился на всех — на забастовщиков, на хозяев, на весь мир.

На бульвар Семка пришел затем, чтобы на ком-нибудь выместить непонятную злобу, душившую его с начала забастовки. В голове уже шумело от выпитой сотки. Прислушавшись к речам, Колосов тоже решил выступить. Оратор, выступавший перед ним, говорил об Иване Петровиче Киселеве:

— Мужик неподкупный! Не выдаст, не продаст

Колосов, растолкав толпу, пробрался к скамейке и закричал:

— Кто мужик честный? Ванька Киселев? Да разве вы не знаете, что он первый на Ямах вор! Ну-ка, Иван, расскажи, как ты в позапрошлом году у соседки из сундука пуховый платок стибрил. А если про это запамятовал, объясни, откуда у твоей жены новые полусапожки.

— Да сгоните вы его, беса пьяного! Куда он залез? Кто его просил?

Кто-то дернул пьянчужку за полы пиджака:

— Слезай, Семен! Подурил — и хватит.

— Что? Не нравится? Правда глаза колет? — буйствовал раклист.— Я вам сейчас про всех ваших уполномоченных такое расскажу — ахнете! Нашли кого выбирать...

К нему подошел Аким Клещев и сурово сказал:

— Эй ты, пьяная кочерыжка, уходи! Ну...

Колосов, увидев перед собой Акима, быстро, как ящерица, скользнул в толпу и перелез через заборчик, крича на ходу:

— Я вам еще покажу! Вы еще поплачете у меня!

Аким увидел, как к Колосову тотчас же подошел старший табельщик Дербеневской фабрики Жучкин. Аким пригрозил им кулаком и в ту же минуту почувствовал на плече чью-то руку.

— Кому это ты? — спросил его Трифоныч.

— А вон слякоть с гадюкой встретились, советуются, кого бы измазать да ужалить.

— Кто такие?

Аким кратко рассказал ему все, что знал о Колосове и Жучкине.

— Хуже, если они с нами пойдут,— ответил Трифоныч.— Хорошо, что хоть в открытую играют. Такие нам не страшны.

* * *

Первое заседание Совета уполномоченных состоялось в тот же день в помещении Мещанской управы на Негорелой улице.

Население Российской империи делилось на несколько сословий. Высшим сословием считалось титулованное дворянство: князья, графы, потомственные почетные дворяне. За ними шли просто дворяне. Следующее место в этой общественной лестнице занимали духовенство и купечество. Впрочем, и они не были равны: духовенство делилось на белое и черное, а купцы — на гильдии. Затем шли мелкие чиновники и разный служилый люд. Самым низшим слоем считались мещане. Но даже они в правовом отношении были более устроены, чем постоянно пополнявшие городскую армию безработных безземельные батраки и бедные крестьяне.

Бездомному, безработному человеку «приписаться» к сословию мещан, а стало быть, иметь право на постоянное жительство в городе было не так-то легко

Отрицая деление на классы, царское правительство цепко держалось за сословное подразделение, оберегало его как могло и создало для его охраны особые учреждения. Для дворян — дворянское депутатское собрание, для купцов — купеческая управа, у мещан — своя, мещанская. Рабочие по сословному признаку состояли из крестьян и мещан, поэтому одноэтажное кирпичное здание Иваново-Вознесенской мещанской управы и было избрано местом для заседаний Совета уполномоченных.

Заседание назначили на четыре часа дня, а перед этим на берегу реки Уводи, чуть пониже Соковского моста, там, где начинались огороды, под охраной молодых рабочих, которыми командовал Станко, собралась группа Северного комитета большевиков.

Совещание группы продолжалось не больше пятнадцати минут. Балашов, успевший к этому времени переговорить со всеми фабричными и районными организаторами, подвел итог выборов. В Совет избрали сто пятьдесят одного депутата, из них двадцать две женщины. Две трети Совета были большевики.

Заключая свое сообщение, Семен Иванович сказал:

— Вот как вам доверяют, товарищи! Теперь вы пони-

маете, какая на нас лежит ответственность перед народом?

Прений никаких не открывали. Только «Отец» сказал:

— Главное сейчас в единодушии. В Совете должна быть стальная дисциплина. Совет решил — для всех депутатов закон, и чтобы никакой отсебятины. Никаких единоличных решений. Пошли, товарищи, пора!

* * *

За полчаса до начала заседания Станко расставил на всех перекрестках вокруг Мещанской управы своих парней, которых Балашов уже дважды с удовольствием назвал «боевой дружиной». У самого входа в управу стояли Никодим Соловьев, Яков Савватеев и неразлучные друзья кочегары Ефим Сучков и Алексей Мартынов. Тут же находился и сам Станко, проверяя по переданным «Отцом» спискам входивших в управу депутатов. Кроме депутатов, охрана беспрепятственно пропустила Свирского и двух его помощников.

Пропуская Степана, Станко шепнул ему:

— Старайся на всякий случай быть поближе к Семену Ивановичу и Архипычу.

К управе подошел невысокого роста рыжий человек в замасленном пиджаке.

— Не опоздал? — торопливо осведомился он у Якова.

— А вы, извините за любопытство, куда торопитесь? — с ехидством спросил Яков.

— Как — куда? На заседание. Объявляли к четырем...

— Объявляли, но только не для вас. Вы от какой фабрики депутатом избраны? Случайно, не от той, что около Приказного моста находится и где управляющим Кожеловский состоит?

— С чего вы взяли? Пропустите...

— В чем дело? — строго спросил, выглянув из дверей управы, Станко.— Кто тут шумит?

— Да вот, еще один депутат объявился.

Яков придвинулся к рыжему вплотную и дернул его за нос:

— Лети, некурящий, покуда цел! А, узнал, паршивец...

Шпика словно ветром сдуло. Яков задорно присвистнул ему вслед.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

А в низеньком, тесном зале Мещанской управы тем временем шло первое заседание первого в мире Совета рабочих депутатов. Сидели на скрипучих скамейках, тесно прижавшись друг к другу, стояли в проходах, заняли все подоконники ткачи и ткачихи, проборщики и слесари, шлихтовальщики и сновальщики, подмастерья и машинисты, наборщики и токари — простые рабочие люди.

И никто из них не подозревал, что в этот день в историю человечества вписывается новая страница. Никто из них не думал, что пройдет совсем немного времени — и Советы рабочих депутатов появятся в Петербурге и Москве, в Сибири и на Кавказе, в Белоруссии и на Урале. Никто не знал, что великий Ленин, поняв эту новую рожденную народом форму организации, с гениальной прозорливостью определит ее как самое передовое, самое революционное правительство.

Они, эти первые депутаты, не предполагали, что в жестоких боях будет задавлена генеральная репетиция Великой социалистической революции и сотни, тысячи людей, поднявшихся на борьбу с самодержавием за новую, рабочую власть, будут расстреляны, повешены, сосланы на каторгу, упрятаны в тюрьмы. Начнутся годы мрачной, черной полосы России, когда даже за одно слово о свободе людям будет грозить смертная казнь.

Но как ни жестоки и бесчеловечны были эти преследования, в сердце трудового народа не умрут мечты и надежды о лучшей доле. Пройдет двенадцать лет, и по всей огромной стране из края в край рабочие и крестьяне, измученные мировой войной, выйдут на улицу со знаменами, на которых будет написано категорическое требование: «Вся власть Советам!»

И партия, созданная Лениным на заре века, самая мудрая партия из всех когда-либо существовавших на земле, поведет народ в бой за эту власть и победит Россия патриархальная, где по вине гнилого режима царила дикость, та самая Россия, о которой нытики и маловеры говорили, что ей суждено всегда носить старомодные, выкинутые Европой шляпки, станет передовой, социалистической державой, где навсегда будет уничтожена величайшая несправедливость — эксплуатация человека человеком.

Никто из первых депутатов не думал, что придет такое время, когда миллионы людей во всем мире — в Европе, в Азии, в пустынях и лесах Африки, в далекой Австралии,— везде, где бьется человеческая мысль, с любовью и надеждой станут прислушиваться к голосу великой, непобедимой Советской страны.

...На небольшом возвышении у круглого столика стоял Дунаев. Он окинул зал взглядом и поднял руку:

— Товарищи! Старший фабричный инспектор господин Свирский хочет сделать какое-то заявление. Разрешим?.. Пожалуйста, господин Свирский, проходите сюда, чтобы вас лучше видно и слышно было...

Свирский подошел к столику. Поблескивали золоченые пуговицы форменного сюртука. Фабричный инспектор был взволнован, голос у него дрожал и прерывался:

— Уважаемые господа! Прежде чем приступить к обсуждению основных вопросов, я обязан довести до вашего сведения просьбу господина начальника губернии.

Депутаты переглянулись. Интересно, что скажет сейчас инспектор. Какую-такую «просьбу» просил передать губернатор. Знаем, мол, мы эти просьбы.

Но никакого подвоха нет. Свирский на самом деле излагает просьбу.

— Дело в том, господа, что господину начальнику губернии во время вашей забастовки может представиться необходимость издать для общего сведения какое-либо печатное объявление или распоряжение. Вчера, например, потребовалось напечатать одно извещение, а печатать, оказалось, негде — типографские рабочие тоже бастуют. Господину начальнику губернии пришлось посылать в шуйскую типографию, а там сегодня тоже забастовали. Не посылать же во Владимир... Одним словом, господин начальник губернии просит в таких случаях не чинить препятствий.

К столику подошел Евлампий Дунаев. Посмотрел в зал, усмехнулся и сказал:

— Я думаю, уважим, товарищи, просьбу господина губернатора. Если потребуется что-либо отпечатать для общего сведения, разрешим. — Дунаев повернулся к Свирскому: — Но только так и передайте — печатать будут только то, что необходимо для общего сведения. Не более! Правильно, товарищи?

— Правильно!

— Верно!

И тут на глазах у удивленного Свирского случилось уж совсем что-то для него непонятное. Дунаев деловито произнес:

— Для порядка, товарищи, давайте проголосуем. Кто за то, чтобы в случае необходимости разрешить печатать в типографии объявления для общего сведения, тех прошу поднять руку. Так, хорошо. Кто против? Против нет. Тоже хорошо. Кто воздержался? Таких тоже нет. Очень хорошо. Стало быть, принято единогласно.

Чем дальше шло заседание, тем больше удивлялся Свирский. Ему не раз приходилось присутствовать на заседаниях городской управы. Обсуждение самых мелких, пустяковых вопросов тянулось там часами. Некоторых ораторов унять было просто невозможно. Частный поверенный Огородов-Капустин, когда его перебивали, истерически взвизгивал и долго колотил кулаками по столу.

Иногда в управе разыгрывались невероятные сцены. В течение нескольких лет обсуждался вопрос о сооружении городского водопровода. Фабриканты никак не хотели принять в этом участие, а своих средств у управы не хватало. Под давлением общественности тузы начали сдаваться. Все дело испортил фабрикант Фокин. В самый разгар споров о целесообразности водопровода Фокин неожиданно выставил на стол две бутыли воды. В одной бутыли плескалась чистая, прозрачная вода, в другой — мутная, с головастиками и зеленой тиной.

— Вот, ваше степенство, полюбуйтесь. Эта,— он показал чистую воду,— наша. Брали по стакану из десяти колодцев. Видите — как хрусталь. Одним словом, святая вода. А эта,— он презрительно сплюнул,— из владимирского водопровода. Поглядите, сколько в ней всякой живности. Чистый аквариум, как у Тестова в трактире. Неужели у людей совести нет — хотят заставить эту пакость глотать! Да ни в жизнь, ни за что не буду!

Доводы Фокина сделали свое дело. Именитые члены управы и гости подходили к четвертным, качали их с глубокомысленным видом. Одни хитро подмигивали, другие откровенно хохотали. Вопрос о сооружении водопровода был отложен в тридцать седьмой раз «для выяснения санитарно-гигиенических качеств».

После совещания Фокин, усаживаясь в пролетку, басил Мефодию Гарелину:

— Пусть исследуют. У меня в заднем дворе луж хватит. Я им мутной водицы сколько угодно начерпаю, а головастиков мне дворников сынишка Ленька на копейку сот пять за милую душу наловит...

Вспоминая все это, Свирский, посматривая на депутатов, спрашивал себя:

«Откуда это у них? Такая деловитость, решительность. Понимают все с полуслова. В первый раз собрались, а словно сенаторы. Да какие там, к чертям собачьим, сенаторы! У тех от старости труха сыплется. Все глухие, косноязычные. А тут ораторы так и режут...»

У столика — депутатка Аграфена Васильевна Николаева:

— Я хочу, товарищи, поговорить о восьмичасовом рабочем дне. Справедливо ли наше требование? Кто мы? Люди, а не рабочий скот. Скот и тот отдыхает. А мы люди с сердцем, с душой. У нас сейчас, кроме работы нашей каторжной да сна, ничего в жизни нет. А мы тоже, господин инспектор, хотим книжки читать, детей воспитывать...

Кто-то из зала засмеялся:

— У тебя, Груня, и детей-то пока нет.

— Нет, так будут! — отрезала Груня.— К тебе занимать не пойду.

У многих на лицах расцвели улыбки. А Груня не сбилась, не умолкла:

— Я не только за себя говорю. Меня от целой фабрики сюда прислали... Да, хотим детей воспитывать, смотреть за ними — чтобы они иголок не глотали, в вонючих канавах не тонули. А где же нам за ними усмотреть, когда мы за станками по одиннадцати часов стоим!..

Словно невидимая рука сняла с лиц улыбки. Суровые слова Груни понятны всем — у всех есть дети, а у кого нет, так Груня права — будут, и если ничего не изменить в этой беспросветной жизни, стало быть, и им, потомкам нашим, всю жизнь придется подставлять шею под хозяйское ярмо.

А Груня ровно, спокойно, как заправский оратор, продолжает:

— Будем драться за восьмичасовой рабочий день, пока не добьемся. Так и передайте, господин инспектор. Не уступим. Правда, товарищи, не уступим?

До поздней ночи заседал Совет. Два раза делали пере-

рыв «на перекурку». Никто не ушел. У Анны Струковой дома четверо детей и мужа только позавчера привели из больницы для чернорабочих — еле выкарабкался после жестокого двустороннего воспаления легких. Груня в перерыве подошла к ней:

— Шла бы ты, Анна, домой.

— Подожду... Там у меня соседка хозяйствует.

В конце заседания явился непрошенный гость — полицейский надзиратель Назаретский. Поручение ему дали несложное: передать Свирскому о том, что губернатор просит его прямо с заседания, не заезжая никуда, прибыть к нему. Если бы Назаретский сказал об этом вслух, никто бы не придал этому никакого значения — ясно, что губернатор хочет знать, о чем тут разговаривали. А Назаретский решил из своего маленького поручения сотворить великий секрет: смотрите, мол, вы, мелкота, какие мне государственные тайны доверяют. Он наклонился к самому уху Свирского и начал ему нашептывать.

Поднялся все видящий, все замечающий Дунаев. Властным голосом, да таким, что все на него с удивлением посмотрели, сказал:

— Прошу прекратить!

Свирский недоуменно посмотрел на Дунаева:

— Что прекратить?

— Я говорю — прошу прекратить совещание с представителем полиции в нашем присутствии. А вас, господин городовой, прошу удалиться...

Свирский торопливо заговорил:

— Нет никакого совещания. Уходите, Назаретский, уходите...

Казалось, что остается делать Назаретскому? Немедленно уйти, скрыться с глаз. А он, повидимому, ужасно обиделся на умаление его чина:

— Я не городовой, а полицейский надзиратель!

Дунаев ему холодно:

— В чинах плохо разбираюсь. Вы для нас все одинаковы: что кот, что кошка. Прошу удалиться! И впредь на наши заседания без специального приглашения не заходить.

Свирский легонько подтолкнул Назаретского:

— Идите. Вы мне после доложите...

И еще одно событие нарушило ход заседания. В одиннадцатом часу ворвался в зал продавец газет Максим

Галкин и, потрясая пачкой «Русского слова», закричал, как кричали все газетчики, повторяя крупные заголовки номера:

— «Потопление русского флота около острова Цусима! Агентство Гавас сообщает, что адмирал Рожественский сдался в плен! Черный день России!»

Неизвестное до того слово «Цусима» обожгло сердца. Женский плач, похожий больше на крик, заставил людей вздрогнуть. Уткнув голову в плечо Груне, причитала депутатка Аксинья Смирнова. Ее муж служил кочегаром на «Дмитрии Донском».

Евлампий Дунаев, быстро пробежав газету, сказал:

— Ввиду позднего времени предлагаю наше заседание прекратить.

У выхода Степана поджидал Яков:

— Прости, Ваня, совсем забыл. У меня для тебя письмо. Его еще вчера принесли к Анне Семеновне.

— Что же ты!

Степан схватил письмо и стал около освещенного окна читать. Письмо было от Наташи

«Дорогой Ваня. У нас еще одна беда — умер папа. Восьмого я его хоронила. Мне теперь в Питере делать больше нечего. Я решила ехать к тебе. В субботу четырнадцатого мая я выезжаю...»

— Чем это вы так заинтересованы? — раздался около Степана знакомый голос.

От неожиданности Степан даже не сообразил, что совсем лишнее рассказывать Игорю о Наташе:

— Сестра приезжает...

— То-есть сестра только по документам,— уточнил студент,— а по-настоящему невеста. Поздравляю! От всей души поздравляю!

— А вам что за дело? Вы чему радуетесь?

* * *

Степан был неправ. Игорь действительно обрадовался. Теперь Шлегель только бранил его. Выслушав от студента очередное «ничего нового», ротмистр брезгливо морщился:

— Когда же будет что-нибудь новое?

В последнюю встречу Шлегель раздраженно заметил:

— Знаете, я начинаю думать, что вы просто уклоняетесь от выполнения своего долга. Одно из двух: или вы

начнете действовать, или я начну — против вас, конечно...

И вот сейчас Игорю казалось — он несет ротмистру что-то новое. К этому «верзиле», как про себя называл Степана студент, едет невеста. Очень хорошо. Это наверняка обрадует жандарма. Он как-то вскользь заметил, что женщины в подобных делах частенько бывают полезны.

Нарушая уговор, Игорь, не сняв студенческой тужурки, полетел к Шлегелю на квартиру. Он поднялся по черному ходу и позвонил. Унтер-офицер Игнат Суконкин, открыв дверь, грубо спросил:

— Кто такой?

Увидев студента, он сменил гнев на милость и пригласил:

— Войдите. Сейчас доложу.

Игорь шагнул в кухню и натолкнулся на маленького, похожего на скопца человечка.

— Посидите тут, — сказал Суконкин и ушел.

Игорь потоптался у порога, не зная, что делать — то ли на самом деле сесть рядом с этим скопцом, то ли уйти, хлопнув дверью. Но было уже поздно: в кухню вошел Шлегель. За ним выскочил пожилой мастеровой, которого Игорь часто встречал на улицах пьяным и слышал, как его называли Семкой. Пьянчужка оживленно говорил:

— Главный заводила, как я уже сообщал, Дунаев. Я давеча услышал, как говорят: «Фабрика Куваева, да порядки на ней Дунаева». Вы на него, ваше высокоблагородие, особое вниманьице...

— Хорошо, хорошо. Иди!

Ротмистр строго посмотрел на Игоря и сухо, как незнакомый, спросил:

— Вы ко мне?

Семка топтался у двери.

— Что там? — спросил его Шлегель.

— Одну минутку. Извините... Горло промочить...

Шлегель сунул руку в карман сюртука и вытащил бумажник. Он порылся в нем и, подавая Колосову рубль, наказал:

— Не до бесчувствия.

— Покорно благодарю.

Ротмистр все так же официально бросил Игорю:

— Прошу. Проходите.

Уже в коридоре Игорь услышал, как Суконкин выставлял скопца:

— Иди, Жучкин! Завтра прибежишь. Их благородие с господином студентом долго промаются.

* * *

— Что-нибудь сверхъестественное? — В голосе Шлегеля явно звучали и издевка и недовольство.

— Да. Очень важно. К нему приехала... не совсем еще приехала, но совершенно точно едет.

— Кто едет? К кому?

— Невеста. К нему. К долговязому.

Ротмистр насторожился:

— Невеста... Конечно, лететь ко мне сломя голову и натыкаться на неприятные встречи не следовало. Однако хвалю. Хвалю ваше рвение послужить престолу. Это интересно. Невеста! Давайте придумаем такой ход...

* * *

У губернатора тоже шло совещание. Леонтьев с трудом дождался появления Свирского. Городовые, посылаемые в Мещанскую управу на разведку, неизменно возвращались с одним и тем же ответом:

— Ничего не можем знать. Внутрь не пускают.

— Да что у них там, крепость? Нельзя прямо — попробуйте с чердачного хода.

— Пробовали. Все закрыто.

— Скажите, что по моему поручению.

— Сказывали.

— Ну, и что?

— Говорят — не можем. У вас, говорят, свое начальство, а у нас свое.

— Это возмутительно!..

Наконец Свирский прибыл. Леонтьев так откровенно обрадовался ему, что даже на глазах у прокурора Чернявского протянул фабричному инспектору обе руки:

— Что там, мой дорогой?

— Там всего достаточно, ваше превосходительство.

— Что они хотят?

— Очень многого. Может, я ошибаюсь, ваше превосходительство, но, по-моему, они прежде всего хотят жить по-человечески.

— Вы опять со своей философией.

— А пожалуй, самое страшное в том, что я сегодня видел,— как раз их философия. И это страшно. Если бы вы слышали, как они разговаривают...

Чернявский сухо перебил:

— Мы ваши откровения слушали не раз. Вы лучше скажите, что они решили практически.

— А они все решили практически Они, например, постановили закрыть с завтрашнего дня все казенные винные лавки.

— Не понимаю, какое это имеет отношение к забастовке. И вообще, кто им дал право закрывать казенную лавку? Вы понимаете — ка-зе-н-ну-ю!

Свирский посмотрел на прокурора, как учитель на школьника:

— Право они взяли сами. Поставят у каждой казенки по три человека охраны — вот вам и все право. А какое отношение имеет продажа водки к забастовке, если хотитите, объясню. Но только не перебивайте меня, господа, я сегодня очень устал. Впрочем, я буду краток. На покупку водки, как известно, нужны деньги, а их у забастовщиков немного и будет еще меньше, если тратить их на водку. Чем скорее у них кончатся деньги, тем легче они пойдут на уступки. Вот они и хотят, чтобы их запасов хватило на больший срок. Все. Ясно? Одно могу сказать: руководят ими очень умные головы. Можете их завтра посмотреть. Совет на завтра назначил очередную манифестацию, сбор у городской управы.

Леонтьев стукнул кулачком по столу:

— Не позволю! На каждую манифестацию нужно мое разрешение! Где же, наконец, Шлегель? Где Левенец?

Чернявский развел руками:

— Ротмистр, наверно, расставляет сети перед каким-нибудь третьестепенным социалистом, а господин Левенец, по обыкновению, пьян... — Спохватившись, что при Свирском не стоило так резко отзываться о Шлегеле, прокурор более дружелюбно добавил: — Они, ваше превосходительство, совсем с ног сбились... Кстати, легок на помине.

В кабинет вошел Шлегель:

— Звали, ваше превосходительство?

— Куда вы пропали? Каждую минуту жду новых осложнений, а вас нет!.. Господин Свирский, я вас боль-

ше не задерживаю. Идите отдохните, вы на самом деле устали.

Выпроводив инспектора, Леонтьев забегал по кабинету:

— Где Кожеловский? Почему здесь нет господ офицеров? Спят! В городе война, бунт, а они спят! Созвать всех сюда! И распорядитесь, пожалуйста: завтра никаких манифестаций! Никаких! Я запрещаю...

В дверь постучали.

— Кто там еще? — раздраженно спросил Чернявский.

— Это я,— входя, сказал Свирский.— Извините, если помешал, ваше превосходительство. Но я не мог не вернуться. Я совсем забыл сообщить вам последнюю новость — эскадра адмирала Рожественского, кажется, вся потоплена японцами у какого-то острова Цусима...

Он положил перед остолбеневшим губернатором «Русское слово» и вышел.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Поезд, на котором должна была приехать Наташа, приходил в Иваново-Вознесенск в девять утра. Степан начал готовиться к встрече, как только рассвело. Он долго размышлял, как сказать своей квартирной хозяйке о невесте.

«Ладно, скажу, что сестра, а потом посмотрим».

Федосья Алексеевна, выслушав, равнодушно сказала:

— А мне что? Живите. Только с девиц я дороже беру: по рублю с полтиной.

Степан выстирал себе рубашки и, развесив их во дворе на веревке, начал убираться в своей узенькой комнатке. Он стащил со стола скатерть и понес ее вытряхивать. На улице, при ярком утреннем солнце, она показалась ему грязной — он выстирал и скатерть. Потом он ошпарил кипятком свежий березовый веник и, обметя сначала стены, чисто-начисто вымыл пол во всем домике. Сняв высохшее белье, он набил горячими углями большой чугунный утюг и начал гладить рубашки. За этим занятием и застал его Яков.

— Готовишься? Правильно. А деньги у тебя есть?

— Есть немного...

— Сколько?

Степан отложил в сторону бумажный рубль, два двугривенных и гривенник:

— Это неприкосновенные. Сейчас отдам хозяйке за квартиру.

Потом пересчитал остальные медяки и вздохнул:

— А это на житье. Мало. Ну ничего, как-нибудь обойдемся.

Яков протянул ему две трехрублевки:

— Возьми.

— Откуда у тебя?

— Тут не все мои. Одна бумажка моя, а другую просили тебе передать.

— Кто?

— Не велено говорить. А я вот сболтнул.

— Я знаю кто — Трифоныч. Три рубля возьму. Больше не надо.

— Знаешь, вот и хорошо. Он мне сказал: «Нельзя без денег. Сестра к нему приезжает, а у него, наверно, ни копейки». Какая она тебе сестра? Это Наташа?

— Да.

— Тогда все бери. Потребуется. Я пойду с тобой. Помогу вещи донести.

— Спасибо. Я сейчас скатерть поглажу, постелю, и пойдем. Пора.

Они пришли на вокзал за пятнадцать минут до прихода поезда. Проходя мимо товарного двора, где в обычные дни круглые сутки не утихала жизнь, Яков сказал:

— Смотри, как на кладбище! Товарные не ходят. Все грузчики, сцепщики, смазчики — все бастуют.

Степан на перроне настолько разволновался, что потащил Якова к бачку с водой.

— Что с тобой?

— Не знаю. А вдруг она не приедет?

— А куда же она денется?

— Возьмет да и не приедет.

— Ты, брат, ошалел совсем! Она же в вагоне сидит и о тебе, дурная голова, думает.

Как назло, поезд задержали у семафора. Машинист начал давать тревожные гудки.

— Почему он стоит?

— Путь закрыт. Видишь, семафор опущен.

— Не вижу. А почему он свистит?

— Путь просит. Да ну тебя!

Рука семафора вздрогнула и поднялась.

— Видишь, сейчас пойдет.

— Яша! Ты иди в хвост, а я к паровозу.

— Я же ее не знаю.

— Ее сразу узнаешь.

А поезд уже у вокзала.

— Яша! Вон она! Наташа!

— Где?

Степан подбежал ко второму вагону. Из открытого окна Наташа протянула ему руку:

— Ваня! Милый...

Важеватов полез в вагон, не обращая внимания на недовольные возгласы выходящих пассажиров.

— Наташенька! Дорогая моя! Ну, как доехала?

Наташа обняла его, крепко поцеловала, успев при этом шепнуть:

— Степа! Как я рада...

Вслух она сказала:

— Спасибо, Ваня, доехала я хорошо. Все потом расскажу.

— Которые вещи твои?

— Вот эти. Чемодан и корзинка. Она тяжелая, Ваня. А тут у меня постель. Много всего. Как мы только с тобой дотащим!

— А я на что? — сказал Яков.

— Наташа, это Яков, — улыбнулся Степан. — Я так тебе обрадовался, что забыл о нем

— Здравствуйте, Наталья Матвеевна. Со счастливым прибытием в наш город! Давайте вашу корзиночку. И это я прихвачу.

Не успел Яков ступить на перрон, как рядом очутились два жандарма. Один из них привычным движением выхватил у Якова корзину.

— В чем дело? — зло спросил Яков.

— Пожалуйте в дежурку...

Наташа соскочила с площадки:

— Это мои вещи! Вы не имеете права...

— Знаем, что ваши. Вот и пожалуйте с нами. И вы, молодой человек.— Жандарм взял Степана за руку.

Вокруг стали собираться любопытные. Яков шагнул, расталкивая толпу чемоданом:

— Чего собрались? Не свадьба.. Смотреть нечего. Пошли.

В жандармской дежурке за деревянной решеткой стоял стол, а за ним сидел известный всему Иваново-Вознесенску жандармский старший унтер-офицер Пулий Пудович Сакердонов, из недоучившихся семинаристов. Трудно сказать, какой бы из него вышел священнослужитель, но жандарм из него получился отменный. Рассказывали, что он однажды даже свою собственную жену приволок к Шлегелю, заподозрив ее в неблагонамеренности. Сакердонов окинул угрюмым взором вошедших и скомандовал:

— Кажи!

Жандармы ловко развязали корзинку и начали выкидывать вещи на стол. Унтер ни к чему не притрагивался и только, увидев маленький ридикюль, перешедший к Наташе по наследству от матери, внимательно исследовал его.

Наконец корзина опустела. Сакердонов снова скомандовал:

— Тряхни!

Жандарм поднял корзину, перевернул и сильно ударил по дну. Сакердонов махнул рукой:

— Кажи!

Жандармы принялись за чемодан.

Наташа сжала Степану руку, и он понял — в чемодане есть такое, что жандармам лучше бы не видеть. Он шагнул за загородку:

— Ваше благородие, напрасно время тратите. Тут, кроме одежды, ничего нет.

Сакердонов поднял голову:

— Выйди!

Жандармы заработали быстрее. Степан похолодел — на стол выкинули толстую книгу в рябом желто-черном переплете. Он узнал настольный календарь Гатцука на 1898 год, который когда-то обнаружил у Тони Боевой. В календарь была очень искусно вплетена ленинская брошюра «К деревенской бедноте».

Унтер взял книгу и начал листать. Наташа еще крепче сжала Степану руку. Ничего не подозревавший Яков шопотом переругивался с жандармом, стоявшим у двери:

— Ну чего роются? Приехала девка к брату... Эх, вы, кроты! Рытики!

Сакердонов вслух читал заголовки:

— «Полный православный месяцеслов», «Роспись святых», «Генеалогия», «Иностранные владетельные дома»...

Степан вспомнил: как раз за главой «Иностранные владетельные дома» и начинается ленинская брошюра. Но в это время внимание унтера привлекла большая металлическая коробка, в которой Наташа хранила нитки, иголки, грибок и другие предметы рукоделья. Сакердонов бросил книгу и занялся коробкой.

Наташа подняла голову и посмотрела на Степана, как бы говоря: «Ну, кажется, беда миновала».

Осмотрев все вещи, Сакердонов все так же односложно скомандовал:

— Собирай!

Жандармы отошли в сторону и закурили. Сакердонов открыл в перегородке скрипучую дверцу и повторил, обращаясь к Наташе:

— Я кому говорю? Собирай свое приданое...

Степан шагнул вслед за Наташей за перегородку. Сакердонов, поняв его намерение, выпихнул его обратно:

— Не велика барыня, сама соберет!

Наташа, не разбирая, как попало молча бросала смятые платья в корзину и чемодан. Потом она подняла с грязного пола растерзанную постель и подала ее Степану:

— Свяжи, Ваня! Задали, окаянные, работу. Стирать все придется.

— Ничего, Наташенька, я тебе помогу,— так же тихо ответил Степан.

Наташа с трудом застегнула чемодан, перевязала корзину и спросила унтера:

— Все посмотрели? Довольны? Отпускайте.

— Сейчас. Афонин, крикни Карасиху.

Жандарм привел толстую женщину с большим, мясистым носом. Унтер бросил ей:

— Займись!

Карасиха жестом пригласила Наташу.

— Куда вы меня?

— Куда надо. Пойдем, барышня, пойдем.

Степан начал терять самообладание. Он расстегнул ворот у рубахи.

— Долго вы нас тут проморите?

Унтер подождал, пока Карасиха с Наташей скрылись

за дверью, и все так же равнодушно и односложно скомандовал:

— Снимай! И ты, — обратился он к Якову. — Раздевайся!

— Да что же это такое... — начал Степан, но, увидев предостерегающий взгляд Якова, снял с себя сапоги.

Жандармы обшарили карманы, потрясли сапоги и, ничего не найдя, стали, как деревянные, у перегородки.

— Одевайся!

Карасиха ввела Наташу. Девушка на ходу застегивала кнопки у кофточки.

— Ну?

— По чистой смотрела. Только деньги и больше ничего.

Сакердонов сел за стол.

— Хорошо смотрела?

— Как положено.

Сакердонов просмотрел паспорт Наташи и недовольно буркнул:

— На какой ляд сюда питерские едут? Не жилось в столице!

— Я к брату...

— Ладно. Идите.

Выйдя из дежурки на перрон, Яков сказал:

— Пошли быстрее. И пока помолчим.

И только уже на площади перед вокзалом Яков сокрушенно добавил:

— А все из-за меня! Не будь меня с вами, никто бы вас не тронул. А я им давно глаза намозолил. Видят — встречаю кого-то, чемодан, корзина... А вдруг нелегальная литература, а то и бомбы — вот они и вцепились.

— Нет, — задумчиво произнес Степан, — тут дело в другом.

— В чем?

— После скажу.

Перейдя мост через Уводь, друзья сели передохнуть на завалинке около старого, низенького домика. По улице шло много людей.

— Наши двигаются,— сказал Яков.— На площадь.

— Иди, а то опоздаешь. Мы одни донесем.

— Успею. Я еще одну ненормальность приметил.

Вместо того чтобы идти прямо по улице, Яков неожиданно свернул в переулок, успев тихо сказать Степану:

— За мной.

В переулке он оглянулся и открыл первые попавшиеся ворота.

— Стойте тут. Я сейчас один спектакль разыграю...— Он нашел в тесовом заборе щель и приник к ней. — Прошел. Ну, держись, подлюга!

Яков выскочил на улицу, догнал какого-то человека в чесучовом пиджаке и круглой соломенной шляпе. Что говорил Яков этому франту, Степан не слышал. Он только увидел, как его друг угрожающе замахнулся и человек в чесуче понесся по переулку. На повороте он потерял шляпу, быстро поднял ее и, не оглядываясь, скрылся за углом. Яков вошел во двор, сел на чемодан и засмеялся:

— Ну и денек! Я этого пса еще при выходе из вокзала заприметил. Уж очень он нас с тобой оглядывал. Старых я почти всех знаю. Мы со Станко их специально по улицам за собой водим, чтобы лучше знать. И лупили не раз. А это, видно, новенький. Расфуфырился — в шляпе, при часах. Одних брелоков штук десять понацепил.

— Он сейчас донесет.

— Нет. Когда мы их бьем, они молчат, начальству не жалуются, иначе их уволят. Какой же, дескать, ты филер, если тебя поднадзорные бьют. Он сейчас прибежит и наврет чего-нибудь... Пошли, а то мы с происшествиями долго не доберемся.

Но больше никаких происшествий с ними не случилось, и вскоре они были дома. Яков, внеся вещи, тут же ушел, сославшись на неотложные дела.

— Да и вам надо без свидетелей побеседовать. Давно не виделись.

Степан закрыл за ним дверь и подошел к Наташе, стоявшей у стола:

— Наташенька!

— Степа! Родной мой Степушка! Если бы ты знал, как я измучилась! Столько смертей за одну зиму! Ваня, мама, а теперь папа. А эти лезут лапами своими противными...

Наташа прижалась к Степану и заплакала. Он гладил ее волосы, нежно целовал и повторял одни и те же ласковые слова:

— Успокойся, моя ненаглядная! Ты со мной теперь. Я тебя не дам в обиду. Родная ты моя, самая хорошая, самая дорогая...

* * *

Когда Наташа немного успокоилась, он начал ей рассказывать о своем житье:

— Вот и все мои хоромы. Тесновато, но, говорят, зимой тепло. И хозяйка славная.

— Ничего, Степа, проживем. Не весь век так будем. Главное — вместе мы теперь. Товарищи у тебя, видно, хорошие. Яша мне очень понравился... Сердечный такой. Смелый.

— Яша — золотой человек. Мне повезло тут на хороших людей. Здесь такие, Наташа, есть люди! Я тебя с Груней Николаевой познакомлю. А Семен Иванович! И еще... не знаю — говорить тебе или нет.

— Все говори. Что случилось?

— Ничего не случилось. Так и быть, скажу. Ты его все равно увидишь. Михаил здесь.

— Фрунзе?

— Да.

— Как он попал сюда? Ты его видел?

— Только вчера.

— Как я рада: Миша здесь! Ну, Степа, с такими друзьями мы не пропадем. Деньги у нас на первое время есть.

— Откуда они у тебя?

— Как — откуда? Я все, что могла, продала. Мы с тобой богачи. У нас почти двести рублей. На вот, спрячь их куда-нибудь.

— Нет, Наташенька. Деньги твои, ты сама и распоряжайся.

— Какой ты глупый, Степан! Это не мои, это наши деньги. Понял? На-ши! Фабрики у вас стоят...

— Откуда ты знаешь?

— Господи! Да об этом от самого Питера в вагонах разговаривают. А в Ярославле даже собрание на вокзале было...

— Значит, прошел слух?

— Ну, еще бы!

— Да, бастуем.

— Значит, тем более деньги нужны. Ты и товарищам своим поможешь.

— Золотая ты моя! Наташенька...

— А дома как? Ничего не знаешь?

— Ничего. Ума не приложу, как и узнать. Писать нельзя, ехать туда совсем нельзя. Земляков никого здесь нет.

— А я придумала. Дорогой ехала и думала. Я здесь поживу немного, дней восемь-десять, и поеду к тебе на родину.

— Там тебя и сцапают.

— Не за что. Кто я такая? Ты говорил, что недалеко от вашей деревни монастырь есть. Ну, вот и все. Иду на богомолье. Попрошусь к твоей маме ночевать. Тихонько ей все и расскажу...

— Ой, Наташенька! Да как ты все ловко придумала! Мама тебя обязательно пустит. Она у меня добрая...

Степан так и не ушел бы из дому, если бы Наташа не сказала ему:

— Ты иди, Степа, по своим делам. А я воды нагрею, постираю да вымоюсь.

Она вышла проводить его за ворота и долго махала ему вслед белой косынкой. Степан шел и оглядывался каждую секунду.

* * *

Губернатор выполнил свое обещание.

В десять часов утра, когда рабочие, как и накануне, заполнили всю площадь перед управой, на крыльцо вышел Кожеловский и начал громко, на всю площадь, читать постановление губернатора:

— «Многолюдное скопление народа на городских площадях и улицах даже при условии их мирного течения наносит ущерб торговле и, стесняя уличное движение, вызывает справедливые нарекания не заинтересованного в забастовке фабричных рабочих городского населения. Поэтому, призывая фабричное население к спокойному обсуждению своих нужд и интересов, я с сего числа не нахожу возможным более допускать многолюдные собрания рабочих на площадях и улицах города...».

Не успел Кожеловский закончить чтение, как на бочку поднялся Дунаев:

— Слышали, товарищи? Спокойно, дескать, обсуждайте, но больше трех не собирайтесь. А соберетесь — найду возможность помешать. Полюбуйтесь, товарищи, вот они, эти возможности его превосходительства...—

И Дунаев показал рукой на широко распахнутые ворота управы, откуда виднелись казаки.— Мы знаем, товарищи, что у царских слуг практика большая. От памятного всем царского дня девятого января времени немного прошло. Мы его не забыли и, наверно, никогда не забудем. С голыми руками на казацкие пики лезть да под драгунские сабли головы подставлять не к чему. Этим только кое-кому лишнее удовольствие можно доставить. Мы не трусы, но проливать свою кровь безрассудно не будем. Давайте послушаемся господина губернатора... нет, не послушаемся, а согласимся с ним — на площади собираться пока не станем. Пошли, товарищи, на Талку!

Народ на площади заколыхался. Сначала одиночки, а потом десятки, сотни людей повернулись в сторону Приказного моста.

Дунаев командовал:

— Становись в ряды, товарищи! Запевай!

В толпе на мосту огнем вспыхнуло алое полотнище. Сильный голос запел:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Взвилось еще одно красное знамя, затем третье. Заалели на женщинах косынки. Тысячи голосов подхватили песню, и она гремела над площадью, над улицами, суровая, торжественная:

Нам не надо златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог.

Так, наверно, и ушел бы народ с площади спокойно, без всяких дополнительных происшествий, не случись тут жандармский ротмистр Левенец. Все эти бурные дни он «болел» по третьей степени. Это означало, что очередной запой продолжался не менее трех недель. Накануне «болезнь» кончилась, и Левенец, как всегда после длительного приступа, чувствовал себя омерзительно. Неизвестно, что на него подействовало — то ли находящееся рядом высокое начальство и желание перед ним отличиться, то ли боязнь перед Шлегелем, который после каждого запоя Левенца грозил сообщить в Петербург. Что бы там ни было, но бывшего гвардейца вдруг охватило желание совершить какой-нибудь подвиг. Он растолкал толпу городовых, стоявших на тротуаре около управы, и, лихо заломив фуражку, пошел к бочке, на ходу выкрикивая:

— Эй ты там! Слезай, тебе говорят! Ну? Кому я говорю!

Губернатор, наблюдавший эту сцену из окна, приказал:

— Уберите этого идиота, пока он нам все не испортил!

Но было уже поздно. Левенец, широко расставив ноги, стоял около бочки, задрав голову. Дунаев, явно издеваясь над ним, улыбаясь спросил:

— Это вы кому, господин жандарм, кричите?

— Тебе. Слезай, говорю!

— Ай, как нехорошо, господин жандарм! Разве можно так кричать? Горло можно надсадить. И почему вы обращаетесь ко мне на «ты»? Я вам не родня.

— Слезай! Я вот сейчас тебя арестую! Ты и есть самый главный зачинщик. Я знаю тебя. Филимонов! Рачкин! Давай сюда!

Дунаев, не выдержав, захохотал:

— Уморил ты меня, господин жандарм! А за что ты меня арестуешь?

— Чтобы твои дружки не ходили с недозволенными красными флагами.

— Это ты напрасно, жандарм: красный флаг не запрещен.

— Запрещен.

— Я весь свод законов Российской империи прочел, и ни в одном томе не сказано, какой коленкор преступный, какой дозволенный. Так что, жандарм, осади назад. Ребята, помоги ему!

Молодые рабочие из группы Станко взяли ротмистра за руки и за ноги, легко подняли и отнесли к самой управе. Там они положили его на спину. Паренек в розовой рубашке подал ему руку, поднял с земли, заботливо очистил с Левенца пыль и ехидно сказал:

— Немного запачкались, ваше благородие. Ничего, дома скипидарчиком ототрете.

И побежал догонять своих.

Пока Левенец соображал, что же ему делать, площадь уже опустела. Одиноко торчала высокая бочка, а около нее голубела фуражка ротмистра. Шлегель, проходя мимо Левенца, не сказал ни одного слова. Но зато распалился губернатор:

— Какой бес вас дернул? Идите выспитесь и больше, ради бога, не суйтесь туда, куда вас не просят!

Через минуту губернатор, сходя с лестницы, услышал, как Левенец жаловался кому-то:

— Чорт их разберет! Нянчиться с ними заставляют! Дай-ка, братец, папиросу, ужасно курить хочется.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Речка Талка была настолько мала и немноговодна, что ее не заносили ни на одну географическую карту. Летом, в жаркое время, она почти совсем пересыхала, и в самом глубоком месте ее мог без всякого риска перейти даже ребенок.

Большой луг на берегу Талки был выбран для собраний не случайно. В нескольких шагах от берега начинался негустой сосновый лес, где при необходимости хорошо было скрыться от полицейских и казачьих налетов. Отсюда отлично виднелись город и дорога, по которой могли подтянуть войска.

Важеватов, придя на Талку, первым делом начал разыскивать Якова или кого-нибудь из хорошо знакомых депутатов, чтобы узнать, где сейчас находится весь Совет. Но сделать это оказалось нетрудным и не к чему было даже искать знакомых людей. Почти все знали, что Совет заседает на лесной поляне, около сторожки. Пробираясь на поляну, Степан отметил новое, что появилось у ивановских рабочих. То тут, то там люди, собравшись небольшими группами, слушали ораторов. Проходя мимо одной из таких групп, Степан увидел: рабочие сидели на земле вокруг что-то объяснявшего Лакина. До Степана донеслось:

— Посылка эскадры в такой далекий путь... Вот и погубили тысячи молодых жизней...

В другой группе оратор, возражая кому-то, говорил:

— Нет, дорогой товарищ, ты неправ. Не все крестьяне одинаковы. У нас в деревне сорок три двора. У сорока дворов земли столько же, сколько у трех. Да еще у одного из этих трех постоялый двор с чайной, лавка, и все у него в долгу...

«Как в школе,— подумал Степан.— Если все, что тут говорят, послушать, много узнаешь...».

Навстречу ему попались чердачные жители Силантий и Василий.

— Куда, ребята?

— Ходим, слушаем...

— А хотели на Волгу!

— Отдумали...

Василий засмеялся:

— И чего ты, Силантий, врешь! «Отдумали»! Ездили мы в Кинешму со всеми удобствами — на тормозной площадке. На каждой станции, как зайцы, от кондукторов скакали. А вернулись ни с чем.

— Работы не нашли?

— Эх, милый! Там на пристани нашего брата как тюленей на берегу. Лежат...

— Лежат? Почему?

— Делать нечего, вот и лежат. Днем загорают на солнышке, а вечером по несбиранной деревне с сумкой да с посошком.

— Брось, Васька! Не ври!

— А я и не вру. Скажи, не сбирали? Хуже было. Кто на обратном пути, в Ермолине, у начальника станции селезню голову открутил?.. Плохо живем, Никитин.

Силантий дернул рыжего приятеля за рукав:

— Разрыдался! Пошли...

Едва они отошли, как Степана окликнул Кручинин. Степан даже попятился, увидев студента.

— И вы здесь? — не скрывая удивления, спросил он.

— Да, и я здесь. Какой день, товарищ Никитин! Да разве можно в такой день дома усидеть и о своей хворобе думать! Какие люди!

— Обыкновенные...

— Нет, не обыкновенные. Вы посмотрите. Видите, выступает оратор. Кстати, вы не знаете его фамилии? Кто он? С какой фабрики?

— Я здесь мало кого знаю. Какой-нибудь ткач или проборщик, а может, и подмастерье... Вы извините меня, тороплюсь.

— Одну минуточку... Совсем забыл вас поздравить с приездом сестрицы... Ее, если мне память не изменяет, Наташей зовут. Наталья Матвеевна. Как она добралась?

— Спасибо, хорошо. Счастливо оставаться.

Но не так-то просто было отделаться от Кручинина.

Он схватил ускользавшего собеседника за руку и торопливо заговорил:

— Почему вы ко мне так плохо относитесь? Я к вам со всей душой, а вы... Нас с вами связывает...

— С чего вы взяли?.. А насчет того, что нас с вами связывает, лучше не вспоминайте. Я этого не люблю. Вы гуляете, а я здесь по делу...

Студент с жадностью смотрел в рот Степану, ожидая, что-то он скажет.

— Что у вас за дело?

— Понимаете, какая неприятность... Вы даже не поверите. Наташа приехала, а у меня сахару не на что купить. Знакомый обещал три рубля долгу вернуть, вот я его и ищу...

Кручинин достал желтое кожаное портмоне, пошарил в нем и с огорчением сказал:

— Жаль, не могу вам помочь. Маменька не советовала деньги с собой брать. Долго ли, говорит, до греха...

— Простите, но я, ей богу, не хотел намекать. Побегу, а то вдруг мой знакомый куда-нибудь скроется.. До свиданья!

У сторожки Степана встретил Яков:

— С новой тебя должностью!

— С какой?

— Сейчас Совет учредил комиссию по распределению помощи. В ней Груня Николаева, Елена Кулева, Аким Клещев, Илья Михеич и ты. А сейчас о милиции решает.

— О какой милиции?

— Как тебе объяснить... Фабрикантов и чиновников от нас полиция охраняет, а нас будет милиция охранять от них. Понял?

— Понял, но только не все. У полиции пистолеты, у казаков пики да сабли, а у нас одни кулаки.

— Кое-что и у нас найдется. А знаешь, тебя ведь неправильно в комиссию назначили. Ты солдат, умеешь с оружием обращаться, командовать умеешь. Тебя надо в милицию. Я сейчас Семену Ивановичу об этом скажу. Идем быстро...

Депутаты сидели на земле. Некоторые даже прилегли. Трибуной для ораторов служил невысокий, широкий ящик. На ящике стоял Балашов. Он громко читал:

— «Мы, рабочие и мастеровые города Иваново-Возне-

сенска, единогласно постановили: для поддержания порядка на улицах города во время стачки, который может нарушиться черной сотней и хулиганами, ничего общего с нами, рабочими, не имеющими, устроить милицию из рабочих, которая должна следить за порядком в городе и не допускать, чтобы отдельные фабрики, мастерские и заводы начали работать прежде, чем мы не решим всем стать на работу.

Действиями милиции будут руководить депутаты, избранные нами. При этом считаем нужным напомнить, что в случае, если нашей милиции помешают исполнять данные ей поручения, то мы при всем желании сохранить порядок не можем ручаться за его сохранение».

— Что это он читает? — спросил Степан у Якова.

— Письмо губернатору об учреждении милиции. Его вчера вечером Трифоныч сочинил.

— Ну как, товарищи, все в этом письме правильно? Можем его губернатору посылать?

— Можно! Хорошо бы это письмо на заборах расклеить, чтобы все знали, в чем дело!

— Тоже верно! Сделаем. А теперь, товарищи, давайте для нашей милиции выбирать руководителей Первым я предлагаю Ивана Никитича Уткина, депутата от фабрики Полушина. Его все знают — парень он хоть молодой, но решительный.

— Пусть покажется! — послышались голоса.

— Иван Никитич! Покажись народу.

Станко поднялся на ящик и стал рядом с Балашовым.

— Знаем! Годится...

— Еще я предлагаю депутата Василия Евлампиевича Морозова.

Станко уступил на ящике место высокому, плечистому парню с густой шевелюрой темных волос. Кто-то шутливо заметил:

— Ничего себе дядя! Этот нечаянно двинет — медведь на ногах не устоит.

— Ну как, товарищи? — спросил Балашов.— Сто́ящих парней я вам предлагаю?

— Хорошие мужики!

Яков быстро подошел к Балашову и что-то шепнул ему на ухо. Балашов посмотрел на Степана и отрицательно мотнул головой. Яков снова стал рядом со Степаном:

— Не согласился тебя назвать. Говорит, без согласия группы не имею права. Дисциплина! Ничего не поделаешь. Но я еще раз с «Отцом» и Трифонычем поговорю. Тебя обязательно надо в милицию.

А Трифоныч, легок на помине, сам подошел к ним:

— Приехала?

— Да.

— Очень мне хочется ее повидать. Может, сегодня попозднее забегу. Сарайчик у вас там найдется — переночевать?

— Есть.

— Зайду... Ты здесь долго не задерживайся. Мне с тобой по серьезному делу поговорить надо.

А на ящике уже Федор Самойлов:

— Нам сегодня придется еще одно письмо утвердить. Про милицию мы писали губернатору, а это выше — господину министру. Читать?

— Читай!

— «Его высокопревосходительству господину министру внутренних дел от рабочих города Иваново-Вознесенска, Владимирской губернии.

Мы, рабочие иваново-вознесенских фабрик и заводов, на наших общих собраниях постановили...»

Кончив читать, Самойлов спросил:

— Все слышали? Правильно написано или, может, чего добавить?

— А может, поубавить? — раздался чей-то голос.— Позвольте мне объяснить.

— Давайте. Подходите ближе.

На ящик поднялся Михаил Милованов, депутат от маленького завода Кирьянова и Калашникова.

— Я считаю, что письмо министру неправильно составлено. Все время: мы требуем, мы требуем, мы требуем... И насчет народных представителей, по-моему, тоже неправильно. Надо бы полегче...

Тут начался такой шум, что Милованову сразу пришлось спрыгнуть с ящика и сесть на свое место. Самойлов передал письмо стоявшему около него депутату и сказал:

— Голосовать мы его не будем. Будем подписывать. Начинай, Дмитрий Егорович!

Лист пошел по рядам. Скоро он вернулся к Самойлову. Федор Никитич подсчитал подписи:

— Сто пятьдесят одна подпись! Все подписали. В том числе и товарищ Милованов. Сегодня же и отправим в столицу. А теперь, товарищи, заслушаем еще одно важное сообщение. Давай, товарищ Волков.

Депутат от рабочих фабрики Дербенева Петр Волков начал с откровенного заявления:

— Ох, и устали же мы сегодня! С утра, почитай, весь город обошли. Да это не беда — пройти. А вот разговоры уж больно утомительны. Мы все казенки обходили, а их, вы знаете, у нас немало. Надо было каждому сидельцу растолковать, почему он должен свою лавочку закрыть. Разные, конечно, попадались. Одни сразу в полное понятие приходили, а некоторые ерепенились. Пришлось им втолковывать... Дольше всех упорствовал сиделец из казенки на Михайловской улице. Пришлось нам его из лавки удалить, а саму лавку на ключ. Мы ему сказали, чтобы он за ключом сюда приходил... Потом еще очень долго буфетчик на вокзале с нами спорил. Все кричал: «Не имеете права! Вы не начальство!» Мы ему сказали, что если он водку не уберет, мы весь буфет прикроем. Подействовало. Должен я вам, товарищи, сообщить — все казенки в городе закрыты. Водкой нигде не торгуют...

К Степану в это время подошел Аким Клещев:

— Пойдем в сторожку!

В сторожке собрались члены комиссии по распределению помощи. Тут же находились «Отец» и Трифоныч. «Отец», передавая Илье Михеичу сверток, сказал:

— Сосчитай и прими. Тут должно быть семьсот девяносто девять рублей сорок семь копеек. Семьсот тридцать один рубль на площади собрано, двадцать пять рублей поступило от господина Свирского и сорок три от неизвестных пожертвователей. Это весь наш стачечный фонд. У вас, товарищи, работы будет много, и она очень важная. Сами понимаете, дорога каждая копейка. Помогать надо самым нуждающимся. Мы тут через одного человека договорились с потребительским обществом. Деньги эти надо будет передать в потребиловку, а у них взять особые такие талоны. Вот эти талоны и будете по вашему усмотрению выдавать. Надо, конечно, рублей сто оставить наличными — детям на молоко и на другую срочную помощь.

Трифоныч добавил:

— Вам надо будет распределить между собой обязанности. Выберите председателя и секретаря. Мне думается, председателем стоит выбрать Илью Михеича, а секретарем — товарища Николаеву.— Он посмотрел на Акима и, улыбаясь, сказал:—Товарищу Клещеву следует поручить добывание новых средств. Дело очень важное. У нас есть сведения, что сегодня в адрес нашего стачечного фонда поступило из Москвы от рабочих Прохоровской мануфактуры около трехсот рублей. А почтовое начальство эти деньги хочет задержать и после, «ввиду ненахождения адресата», отправить обратно. Вот вам, товарищ Клещев, работа — отвоевать эти деньги. Сходите на почту. Я вам потом скажу, к какому там человеку надо сначала обратиться. На почте с вас потребуют доверенность на получение денег. Доверенность мы вам заготовили, надо ее заверить в полицейском управлении. Если там откажут, посоветуемся, как быть.— Он передал Акиму лист плотной бумаги.— Действуйте решительнее! Деньги нам очень нужны, и они по всем законам наши. А вам, товарищ Никитин, придется помочь товарищу Клещеву. Фигура у вас внушительная...

Когда выходили из сторожки, Трифоныч задержал Акима и Степана:

— На почтамте обращайтесь к чиновнику у второго окошка. Фамилия его Вакурин. Он вам про все переводы говорить будет... Желаю удачи. А вы, товарищ Никитин, не забудьте, кто вас дома ждет.

* * *

Полицейский надзиратель Назаретский долго рассматривал доверенность Акима. Потом он начал читать ее вслух: «Совет уполномоченных иваново-вознесенских рабочих в числе 151 человека поручает и доверяет Акиму Авдеевичу Клещеву получать все почтовые денежные отправления, поступающие в забастовочный фонд рабочих. По поручению Совета доверенность подписали уполномоченные на то лица депутаты Евлампий Дунаев, Федор Самойлов, Аграфена Николаева, Елена Кулева...»

Увидев фамилию Дунаева, Назаретский спросил:

— Это какой Дунаев? Проборщик с Грязновской?

— Совершенно верно.

— Подождите... Я сейчас спрошу.

Вскоре в комнату вошел Кожеловский:

— Это что еще за доверенность? Кто вам ее выдал? На какой предмет? Будут всякие Дунаевы подписывать!

— Там все написано,— спокойно сказал Аким.— Не хотите заверять, так и скажите, а кричать нечего.

Кожеловский, заметно сбавив тон, приказал Назаретскому:

— Заверь!

И вышел, хлопнув дверью.

На почте все вышло совсем просто. У второго окна сидел молодой чиновник с рыжеватой бородкой.

— Вы будете господин Вакурин? — спросил Аким.

— Я. А в чем дело?

Аким просунул голову в окошко и зашептал Вакурину:

— Мы с Талки... от Совета уполномоченных...

— Понимаю. Идите к почтмейстеру и скажите, что вам известно о двух переводах. Один на триста три рубля из Москвы и второй на сто четырнадцать рублей из Ярославля. И покажите ему доверенность.

Почтмейстер, проверив доверенность и убедившись, что она по всем правилам заверена в полиции, спросил:

— А переводы вам есть?

— Должны быть...

Почтмейстер написал на листке бумаги несколько слов:

— Идите. Получайте, если есть.

Вакурин, отсчитывая Акиму деньги, успел сказать:

— Оставьте ваш адрес. Придут новые переводы, дам знать...

Выйдя из почты, Степан и Аким переглянулись и рассмеялись:

— Ловко получилось! И быстро. Я думал, волынить будут, а вышло сразу.

— Это они, товарищ Никитин, не по доброму к нам расположению. Боятся нас. Вакурин — другое дело. Этот, видно, хороший человек, понимает нашу нужду... Ты куда сейчас?

— Хочу домой заглянуть.

— Иди. А я к Илье Михеичу деньги отнесу, наших обрадую. Шутка сказать—четыреста семнадцать рублей!

Не успел Степан повернуть за угол, как натолкнулся на Кручинина. Студент, криво улыбаясь, спросил:

— Получили должок?.. Поздравляю!

Степан сухо ответил:

— Получил. Благодарю.

И прошел мимо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

И вот они снова все вместе — Наташа, Степан и Михаил. Степан, когда стоит, почти подпирает головой потолок. Наташа, готовя чай, боком протискивается между узенькой койкой и комодом. Очень тесно в комнате. Куда бы привольнее посидеть на дворе, около молодой березки. Но лучше здесь. Хозяйки нет дома, можно беседовать обо всем, вспоминать про Питер, не боясь называть Трифоныча Мишей, а Ивана — Степаном.

— Миша, как я рада, что ты здесь! Я ведь думала, угнали куда-нибудь в Сибирь или еще хуже — в Петропавловской крепости сидишь.

Фрунзе, посмеиваясь, пьет чай вприкуску и, притворно вздыхая, ворчит:

— Рано ты меня, матушка, в каторжные определила. А насчет Петропавловки — не достоин я этой царской милости. Туда только особо важных государевых врагов сажают: декабристов, Чернышевского, Горького. Эта хата не для нашего брата. Нам Кожеловский в местной тюрьме Кокуй помещения еще не приготовил.

О чем они только ни вспоминали в этот вечер! Кажется, обо всем на свете поговорили. Фрунзе принес с собой свежую газету.

— Смотрите! Даже «Русское слово» пишет о нашей стачке. Ругает, конечно. Вы только послушайте! «В эти тяжелые дни для России не работать, нарушать нормальный ход жизни преступление. Вся Россия скорбит о наших дальневосточных неудачах». Хороши неудачи! Погубили весь флот. Войну проиграли. Неудача? Поражение! Полный разгром! Говорят, что эскадра и ее снаряжение в этот поход стоили четыреста миллионов рублей. Сколько можно было бы на эти деньги выстроить школ, больниц! А сколько жизней загублено...

Наташа, не промолвившая до этого ни одного слова о своих горестях, тихо сказала:

— И не только там. Сколько здесь замучено да уби-

то! Возьмите нашу семью. Один за другим...— Она вытерла навернувшиеся слезы.— Очень всех жаль... Ну что это я вас расстроила! Рассказывай, Миша, рассказывай.

— Да что рассказывать... Со мной в Москве случай был. Шел я пятого мая по Цветному бульвару. День чудесный, теплый. Торопиться мне было некуда — сел на скамейку и отдыхаю. Подсаживается ко мне старушка, одета просто, в черном платке: «Вы, молодой человек, грамотный?» Я отвечаю: «Грамотный». «Можете вы мне одну службу сослужить?». «Смотря какую». Вынимает старушка из кармана поминанье. «Можете вы мне одного новопреставленного записать?». «Отчего же,— говорю,— могу». «Вот спасибо! Нате, запишите. Только не перепутайте: первые листочки, эти,— за здравие, а за упокой после». Взял я книжку, а старушка мне химический карандаш протягивает: «Помочи немного, лучше видно будет, как чернилами». «Кого,— спрашиваю,— писать?». «Пиши,— говорит,— Ивана, по отчеству Платоновича». Я ей отвечаю: «По отчеству не надо. Надо просто — раба божьего Ивана». А она настаивает: «Нет, пиши с отчеством, а то бог не догадается, о ком я молюсь». Тут меня и осенило. В этот день в газетах было напечатано о том, что Ивана Платоновича Каляева повесили. Я старухе и говорю: «Как же так, бабушка, ты за убийцу молиться хочешь? Ведь он великого князя убил, Сергея». А она подняла на меня глаза и отвечает: «За князя во всех церквах молятся, а за Ивана никто, наверно, кроме матери, если она жива. А вдруг ее и в живых нет?». «А все-таки,— говорю я ей,— отчество писать не надо. Могут догадаться, за кого вы молитесь, и вам попадет». «Ничего,— отвечает,— за хорошего человека и пострадать можно». Вот вам и бабушка!

Посидев еще немного, Фрунзе заторопился:

— Пойду домой.

— А где у тебя сегодня дом? Ночуй у нас.

— Нет. Меня Балашов ждет. До свиданья, Наташа. Степа, проводи меня.

Они вышли во двор.

— Сядь, Степа. Давай поговорим. Я сразу, без всяких предисловий, хочу тебя спросить: ты знаешь, что есть Российская социал-демократическая рабочая партия?

— Знаю.

— Скажи, почему ты в партию не вступаешь?

Степан покраснел от волнения:

— Я тебе, Миша, тоже без всяких предисловий скажу: давно хочу, но не знал, как это сделать. Сам заговаривать я не смел. Я очень рад, что ты этот разговор начал.

— Значит, согласен?

— С радостью.

— Очень хорошо! Я сегодня же об этом скажу «Отцу». Ну, давай руку. Иди к Наташе. А то что же получается? К тебе невеста приехала, а ты от нее все уходишь.

Он протянул Степану руку, тот так стиснул ее, что Фрунзе шутя сказал:

— Ну и медведь!

— Постой, Миша. Я хочу с тобой о Кручинине посоветоваться.

— Что с ним?

Важеватов рассказал о последних встречах с Игорем.

— Не нравится мне, как он себя со мной держит. Не пойму я его — друг он или враг. Скорее, пожалуй, враг. Уж очень любопытен.

— Надо подумать... Я тоже посоветуюсь с товарищами. Я тебе завтра скажу, как поступать с Кручининым.

Наташа по лицу Степана поняла, что разговор во дворе был необычным.

— Что случилось?

Степан обнял Наташу:

— Ничего, родная, не случилось. День у меня сегодня выдался хороший. Я даже не верю, что ты приехала.

— Приехала.

— Навсегда?

— На всю жизнь...

* * *

Кручинин в это время сидел у Шлегеля. Ротмистр со вниманием слушал своего хоть и незадачливого, но все же интересного агента.

— Еще раз я встретил его около почты. Он стоял с рабочим, которого я и раньше видел с ним. Рабочего он называет Акимом.

— Он, наверно, такой же Аким, как мой дворник граф Бобринский.

— Не знаю. Возможно, что это вымышленное имя. По-моему, это неважно.

— Нет, это очень важно. Мне надо знать точно, с кем он водит знакомство, с кем дружит. О чем вы с ним поговорили?

— Не удалось. Я его поздравил с получением долга, а он, видимо, обиделся и ушел.

— Напрасно поздравили... Не надо его раздражать, особенно вам. Ну-с, давайте подведем итог: первое, и самое главное,— он вам не доверяет и говорит неправду. На Талку он приходил, конечно, не за долгом...

Ротмистр полистал бумажки:

— При обыске у его невесты обнаружено сто восемьдесят три рубля. Поняли? Эта сумма для них огромный капитал, так что про трешницу и про чай с сахаром он вам, батенька, наплел. Так и запишем — не доверяет. Второе, не менее главное,— он, несомненно, прислан сюда своим партийным начальством, и, стало быть, он птица крупная. И третье — не особенно важное, но для вас, батенька, мало приятное — я вами недоволен... Да, недоволен. Какой же от вас прок? Да никакого! Давайте попробуем вас еще на одном деле. Не выйдет — пеняйте на себя.

— Что за дело?

— Появилась в нашем городе новая личность. Агитатор. Не то из Москвы, не то из Питера. По предположению — недоучившийся студент. Фамилия, естественно, мне пока незнакома, а кличка до меня дошла — «Трифоныч». Познакомьтесь с этим Трифонычем. Если он из Петербурга, вам будет нетрудно. Может быть, даже ваш старый знакомый. Ведь вы там... тоже речи в свое время говорили.

— Студентов в Петербурге много. Я всех знать не обязан.

— А мне всех и не надо. Вы мне Трифоныча опознайте и этим благодарность заслужите.

— Попытаюсь.

— Это деловой разговор. А теперь слушайте. Трифоныч ежедневно бывает на Талке. Но он очень осторожен...

Затрещал настольный телефон. Шлегель подошел к нему, снял трубку;

— Слушаю. Да, это я, ваше превосходительство. Сейчас буду...

Ротмистр повесил трубку и, собирая со стола бумаги, сказал:

— Все, батенька. Меня в другом месте ждут. Желаю успеха. И помните: этот Трифоныч — ваша последняя ставка...

* * *

Даже в эти беспокойные дни гости собирались к Грязнову с удовольствием: знали — угостит на славу. А тут в дополнение к роскошному обеду с какими-нибудь необычайными блюдами можно будет поближе познакомиться с вице-губернатором Сазоновым, который прибыл в город вместо внезапно заболевшего Леонтьева. Понимающие люди, услышав о болезни губернатора, улыбались в бороду: знаем, мол, мы эту болезнь — перетрусил старец и поспешил убраться восвояси. Да и бог с ним! Все знали, что настоящим хозяином губернии давно уже был вице-губернатор Сазонов. Хоть и помоложе, а чин солидный — действительный статский советник. Да и связи в столице у него покрепче — как-никак, племянник действительного тайного советника Шелгунова, начальника первого отделения собственной его императорского величества канцелярии. А это не фунт изюма!

Сколько Фокин хлопотал о награде? Больше года ходил вокруг Леонтьева. А что получил? Всего-навсего медаль «За усердие» для ношения на шее на Владимирской ленте. Подумаешь, отметина! Александр Иванович Гарелин по-другому действовал — через Сазонова, и пожалуйста; каждый может полюбоваться высочайшим рескриптом. Он висит у Гарелина в гостиной, в золоченой раме: «Государь император, по поднесенному канцлером российских императорских и царских орденов всеподданнейшему докладу кавалерской думы ордена святые Анны, соизволил 30 декабря 1904 года пожаловать мануфактур-советнику Александру Ивановичу Гарелину орден святые Анны третьей степени...» Это не медаль!

Фокин, собираясь в гости, делился с супругой:

— Наш кухмистер своих поваров наизнанку вывернет, а уж обед, будьте покойны, подаст отменный. Только бы эти горлопаны забастовщики не пронюхали. Собе-

рутся, окаянные, под окнами, загалдят. Чего доброго, камней на закуску подбросят...

Съезд гостей был назначен к восьми, а в семь Грязнов, сидя в кабинете, проверял с французом меню:

— Так-с. На первое, значит, пойдет суп пюре из шампиньонов и консоме нове́. Пирожки разные. Всех сделали?

— Всех.

— Шеврель, соус пуаврад. Только смотри у меня, если соус как в тот раз, я тебе, мусье, покажу, где раки зимуют!

— Не извольте беспокоить свое сердце. Соус по моему рецепту.

— Потом стерляди пойдут. Под каким соусом?

— Пикант!

— Можно... Спаржа, соус сабайон. А почему голландского нет? Я же говорил!

— Будет.

— На жаркое пулярды и дичь. Какую пустил?

— Всевозможную.

— Огурцы свежие где брал?

— У Бурылина призаняли. Свои очень крупны.

— Мороженое?

— Дипломат...

— Хорошо. Пойдем посмотрим, как убрали.

Грязнов прошел в столовую. Огромный стол, накрытый на тридцать персон, сверкал хрусталем. Окинув глазом знатока все это великолепие, хозяин недовольно крикнул:

— Авдеич!

Вбежал сухонький старичок.

— Что это? — Грязнов ткнул пальцем в стул, несколько отличавшийся от других.

— Стул.

— Я вижу, что не бочка с площади. Где такой взяли? Напихали разноперов!.. Замени.

— Слушаюсь.

— Окна завесь.

— А не душно будет?

— В духоте — не в обиде. Завесь. Дворники знают? Городовые пришли?

— Все сделано. Казаков прислали.

— Хорошо. Ну, смотрите у меня! Пойдем, мусье, посмотрим, я еще одно дельце придумал...

Обед был деловой, без дам. Ровно к восьми все приглашенные были в сборе. Недоставало только Сазонова и Шлегеля.

— Опаздывает твой гость, — шутливо сказал Грязнову городской голова Дербенев.

— Он такой же твой, как и мой. Полагается на полчаса, а как сделаем мы его губернатором, будет опаздывать на целый час.

— А сделаем?

— Беспременно...

Действительно, Сазонов прибыл ровно в половине девятого.

— Прошу извинить, господа, дела...

— И мы не бездельники,— шепнул соседу Зубков.— Наверно, перед зеркалом вертелся — ишь, как надушился, за версту несет!

— Тише ты! — унимал сосед желчного Зубкова.— Услышит!

— Ну и пусть слышит...

Но настроение у вице-губернатора вскоре было испорчено от другого, более важного разговора. Как только все уселись, поднялся Гарелин. Стоя с бокалом в руке, он заговорил:

— Приятно посмотреть на наше общество! Почаще бы нам надо вот так собираться, решать сообща наши интересы... Но сегодня здесь, в родном своем городе, в котором предки наши безмятежно век свой прожили, мы собрались в последний раз, и неизвестно, когда еще соберемся...

Сазонов отложил прибор и удивленно посмотрел на оратора.

— Вот вы, ваше превосходительство, недоуменно на меня посмотрели. Я ваш взгляд так понял: заговорился, наверно, Гарелин, что-то непонятное несет. Нет, ваше превосходительство, я истинную правду говорю. Собрались мы в последний раз. Решили мы отсюда уехать в Москву белокаменную. Терпенья нашего нет, обид и оскорблений больше выносить не можем. Семьи наши в страхе, дома́ наши в опасности. И еще одна причина: как мы только отсюда уедем, талочники наши посговорчивее будут... Они калачи тертые, всё понимают.

— Но позвольте, — засуетился Сазонов, — кто же будет с рабочими переговоры вести?

— А мы тут своего уполномоченного оставляем. У них уполномоченные, и у нас свой — господин Дербенев, городской голова. А чтобы ему не скучно было, господин Грязнов по личному желанию остается.

— Я тут. Куда мне...

Обед для Сазонова окончательно был испорчен совсем уж неуместным заявлением Зубкова:

— Мы, ваше превосходительство, жить хотим, а тут недолго и головы лишиться. А на ваше войско особой надежды нет. Вчера ваши драгуны с моими фабричными в обнимку стояли... Сам видел.

На другой день все фабриканты, кроме Петра Дербенева и Грязнова, уехали из города.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Через несколько дней после приезда Наташа пошла со Степаном на Талку. Проходя кривыми уличками, осматривая домишки и землянки, лепившиеся по краям неглубоких оврагов, Наташа удивлялась на каждом шагу:

— Да как же тут люди живут?

Но еще больше удивилась Наташа, попав на Талку:

— Народу-то сколько! Сколько тут, Ваня? Тысяч десять будет?

— Побольше. В иной день до тридцати собирается. Это, считай, одних рабочих, а еще сколько любопытных приходит! Смотри, какие форсуны стоят.

Степан показал на трех людей, одетых явно не поздешнему. Один особенно выделялся: в костюме песочного цвета и яркожелтых, лимонного цвета, ботинках.

— Кто это такие?

— А мы сейчас Яшу спросим, — ответил Степан, увидев своего приятеля.— Кто это, Яша?

— Корреспонденты из Москвы. Этот вон, канареечный, говорят, пишет в «Вечернюю почту», рыжий — из «Русских ведомостей», а с сумкой через плечо — из «Русского слова». Позавчера появились. Теперь жди — наврут с три короба.

Корреспонденты шли к ним навстречу. Рыжий горячо говорил: ,

— Он прав! Это настоящий университет для них, а если хотите, даже академия. Вы только послушайте, какие тут произносятся речи! А какие поют песни!

Несколько дней назад Евлампий Дунаев, рассказывая рабочим об отъезде фабрикантов, сказал:

— А мы тут пока в нашем университете на Талке будем курс наук проходить.

Эти слова очень понравились, и собрания на Талке все чаще и чаще стали называть университетом. Это крылатое слово попало в местные, а потом и в московские газеты.

Собрания на самом деле были своеобразным университетом. Ежедневно к восьми часам утра у лесной сторожки собирались все депутаты. Заседания Совета тщательно охранялись милицией, потому что на них обсуждались все вопросы, связанные с дальнейшим проведением забастовки.

Мало кто знал, что еще раньше, ночью, то в сторожке, то где-нибудь на конспиративной квартире собиралась группа Северного комитета большевиков. Заседания группы были короткими. Именно на них и намечалась вся последующая работа Совета уполномоченных.

Часам к десяти-одиннадцати Совет прерывал свое заседание, и депутаты расходились, разыскивали рабочих своей фабрики и рассказывали им обо всех решениях Совета. Вот эти общие собрания и были для иваново-вознесенцев настоящим политическим университетом. Кроме своих постоянных ораторов, на Талке почти ежедневно выступали незнакомые люди. Кто они были, — народ не знал. Их так и называли: «приезжие». Это были присылаемые по просьбе «Отца» пропагандисты Московского и Северного комитетов большевиков. Иной утром появлялся, днем два-три раза выступал с докладом и к вечеру исчезал из города. Другие задерживались, гостили по нескольку дней.

Вот и сейчас Наташа со своими спутниками очутилась около рабочих Дербеневской фабрики, внимательно слушающих средних лет человека в очках, с острой, клинышком, каштановой бородкой. Оратор он был, очевидно, опытный, говорил просто, ясно для всех.

— Война с японцами проиграна царизмом бесповоротно. Это не только военное поражение, а полный крах самодержавия... Народам России эта война открыла гла-

за на многое. Теперь все видят, что царское правительство не способно управлять страной.

Наташе очень хотелось послушать оратора, но Степан попросил:

— Идем. Мне Трифоныча надо найти...

Пройдя несколько шагов, он засмеялся.

— Ты что?

— Дружки мои ночные идут. Чердачные жители. Я сейчас тебя с ними познакомлю. Занятные парни, особенно Василий.

Поравнявшись с двумя приятелями, Степан, продолжая улыбаться, громко произнес:

— Куда торопитесь, братцы?

Василий и Силантий с любопытством посмотрели на Наташу и остановились:

— Дела, Никитин.

— Опять на Волгу?

— Нет, она, матушка, и без нас спокойно течет. А идем мы в город по срочному поручению товарища Дунаева.

— Дунаева? — удивленно переспросил Степан.

— Его самого. Чай, мы тоже не лыком шиты,— сказал Василий.— Стачечники! Будь здоров, Никитин. А у меня к тебе тоже вопросик есть...

— Говори.

— Где ты такую кралю отыскал?

— А что?

— Уж очень хороша... А вы не смущайтесь, красавица,— я от всей души... На свадьбу, Никитин, позовешь?

— Обязательно.

— Ну, будь здоров. Бежим, Силантий.

На самом краю луга, у берега Талки, собрались рабочие Товарищества Иваново-Вознесенской мануфактуры и бакулинцы. Они, повидимому, отдыхали. Высокий, звонкий голос пел:

Нагайка ты, нагайка,
Тобою лишь одной
Романовская шайка
Сильна в стране родной!
На жалобы и стоны
Голодных, темных масс
Один ответ у трона —
«Пороть нагайкой» нас.

Человек, стоявший на ящике, взмахнул короткой палкой, послышался смех, и хор грянул:

Нагайка ты, нагайка,
Тобою лишь одной
Романовская шайка
Сильна в стране родной!

Яков, всмотревшись в дирижера, тоже засмеялся и объяснил:

— Да ведь это Евлампий Дунаев хором командует! Что это у него в руках?

— Нагайка,— ответил молодой рабочий.— Вчера наши бакулинцы вечером домой шли, а на них около станции казаки налетели. Ну, и сшиблись... Одного с коня стащили да оружие и отобрали. И нагайку прихватили. Вот Евлампий Александрович ею и размахивает.

Пропев «Нагайку», начали «Дубинушку». Тут и Степан не выдержал. Он пробрался в центр круга и запел новые слова песни, которые услышал здесь же, на Талке:

Но страшись, грозный царь!
Мы не будем, как встарь,
Терпеливо сносить свое горе.
Точно в бурю волна,
Просыпаясь от сна,
Люд рабочий бушует, как море.

Могучий хор, управляемый Дунаевым, подхватил:

Эй, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет,
Сама пойдет...

Дунаев одобрительно кивнул Степану:

— Давай, Никитин, давай! Хорошо поешь!

Твой роскошный дворец
Мы разрушим вконец
И лишь пепел оставим от трона,
А порфиру твою мы отнимем в бою
И порежем себе на знамена!

Так громко, в полную силу, Степан не пел с той памятной новогодней вечеринки. Голос его, покрывая хор, увлекал всё новых певцов:

Фабрикантов-купцов,
Твоих верных сынов,
Мы, как тучи, развеем по полю,
А на место вражды
Да суровой нужды
Установим мы братство и волю.

Наташа, счастливо улыбаясь, смотрела на Степана. Вокруг слышалось:

— Прямо Шаляпин!
— Артист? Кто такой? Откуда?
— Иван Никитин, с Зубковской фабрики. Питерский!
— Молодец!

Кончив песню, Степан соскочил с ящика и направился было к Наташе. Его остановил Дунаев:

— Спой еще что-нибудь Гляди, как тебя слушали. Хорошая, брат, песня что хочешь с сердцем сделает. Пой!

Степан снова поднялся на ящик, нашел в толпе Наташу, улыбнулся ей и запел свою любимую грустную песню: «Меж высоких хлебов затерялося...»

Почти все на Талке так или иначе были связаны с деревней. Многих выгнала в город злая нужда. И песня о небогатом селе, в котором приключилась беда, всех брала за душу.

Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело...

Наташа заслушалась и не заметила, как рядом с ней встал Кручинин.

— С приездом вас, Наталья Матвеевна!

Наташа вздрогнула от неожиданности:

— Господи! Откуда вы здесь?

— Как — откуда? Здесь моя родина. Разве вам, — он кивнул в сторону Степана, — ничего не говорил обо мне?

— Нет. А ведь я вас сначала не узнала.

— Одно из двух — или разбогатею, или на тот свет отправлюсь...

— Зачем же это? Смотрите, какая жизнь начинается...

— Хорошо поет ваш...

— Да, хорошо...

Но Степан уже заметил Кручинина и, не допев последнего куплета, под громкие хлопки слушателей пробирался к ним.

— Как замечательно вы поете, товарищ Никитин! Вам бы в консерваторию. Я помню, вам тогда еще, в Петербурге, советовал то же самое мой друг Михаил Фрунзе. Кстати, Наталья Матвеевна, вы не слышали, где он, что с ним?

— Да он же...— начала было Наташа и осеклась, увидев предостерегающий жест Степана.

— Где же он?

— Да он же вслед за вами тоже к себе на родину укатил. Я его сама провожала...

Именно в эту секунду Степан увидел Фрунзе. Он шел прямо к ним. Еще несколько шагов — и Кручинин, случайно повернувшись, мог лицом к лицу столкнуться с Михаилом. Медлить было нельзя. Степан взял студента под руку и повел в противоположную сторону, успев сказать Наташе:

— Я сейчас... Подожди меня.

Надо было срочно придумать какое-нибудь важное дело, иначе Кручинин заподозрит в непривычно ласковом поведении какой-нибудь подвох.

— Опять с деньгами туго? — спросил студент.

— Нет, пока держусь. У меня к вам, товарищ Кручинин, один вопрос... Не знаю, как вас об этом и спросить.

— Пожалуйста. Готов ответить на любой, если, конечно, смогу.

— Видите ли, жениться я хочу,— выпалил Степан,— а вы сами знаете, по паспорту я Наташе брат. Так вот, нет ли у вас знакомого попа, чтобы нас втихую обвенчать?

— Намерения ваши вступить в законный брак одобряю. Подругу жизни вы выбрали хорошую. Наталья Матвеевна и красива, и умна — просто загляденье. А насчет попа, извините, дорогой, не имею знакомых...

— Жаль...— протянул Степан, посматривая, куда прошел Фрунзе. — Очень жаль... Я думал с вашими связями...

— С какими связями? Откуда вы взяли?

— Наблюдаю... Кое-что вижу. Просто не хотите мне помочь! — совсем уж невежливо бросил Степан и отошел.

Кручинин посмотрел ему вслед, постоял немного, затем повернулся и решительным шагом направился в город.

Степан нашел Наташу и Фрунзе на берегу речки. Михаил бросал в воду плоские камешки, приговаривая:

— А ну, еще. Раз, два, три!.. Мало, только три.

Заметив Степана, он, улыбаясь, спросил:

— Куда ты его отвел?

— Сам пошел. Домой, видно. А я здорово перепугался. Сначала Наташа чуть-чуть не обмолвилась, а потом, смотрю, ты собственной персоной плывешь.

— Я тебя искал. Сегодня в десять часов приходи к Прасковье Федоровне.

Побыв на Талке еще немного, Степан с Наташей пошли домой. Подойдя к железнодорожной насыпи, Наташа обратила внимание на трех крестьян, отдыхавших в холодке:

— Смотри, Степа! Какая борода...

Бородач, заметив молодых людей, встал. Борода у него действительно была необыкновенная: белая, пушистая, она доходила почти до пояса. Старик снял войлочную шапку, поклонился и сказал:

— Мое почтение. Позвольте вас спросить: вы фабричные будете или нет?

— Фабричные, — ответил Степан, подходя ближе.

Двое спутников старика — один высокий, чуть пониже Степана, уже пожилой, второй совсем молодой парень, лет двадцати — тоже поднялись и с любопытством смотрели на Наташу и Степана.

— Оба фабричные? — переспросил старик.

— А в чем дело, дедушка?

— Нам надо фабричных найти.

— У нас тут все фабричные.

— Чай, не все. Есть, наверно, и конторщики. Нам конторщики не надобны. Тут у вас, говорят, какой-то новый комитет появился, депутатский. Есть?

— Есть. Только не комитет, а Совет.

— Вот-вот, Совет. И нам надо посоветоваться. Как бы нам этот Совет найти?

— Могу проводить.

Мужики переглянулись:

— Не обманешь?

— Зачем мне вас обманывать?

— Кто тебя знает. Может, ты конторщик. Возьмешь да и приведешь в полицию. Она нам ни к чему.

— Не обману. Приведу куда надо... Впрочем, как хотите. Может, кого другого попросите.

— Веди,— сказал старик.— Пошли, мужики.

Степан шепнул Наташе:

— Подожди меня тут...

Крестьяне подняли с земли котомки, и они пошли на Талку.

— Откуда вы?

— Верст за сорок отсюда. Про Лежнево слышал?

— Слышал.
— Мы за ним.
— Откуда вы про Совет узнали?
— Земля слухом полнится....
— Зачем вам Совет понадобился?
— А ты что? Из Совета депутат?
— Вроде.
— Ну, раз только вроде, нечего и спрашивать.

Степан больше вопросов не задавал, и они всю остальную дорогу шли молча. Увидев огромную толпу на Талке, старик с удивлением произнес:

— Все фабричные? Много их тут...

Рабочие с любопытством смотрели на крестьян. Больше всех привлекал внимание старик с его бородой. Знакомый слесарь Иван Костюков шутливо окликнул Степана:

— Где ты этого Черномора подхватил?

Степан довел крестьян до сторожки и пошел разыскивать кого-нибудь из руководителей стачки. Первым ему попался Трифоныч.

— Пойдем, поговори с мужиками,— попросил Степан.
— Идем...

Но старик наотрез отказался объясняться с Трифонычем:

— Молод ты очень. Нет ли кого постарше?
— Есть,— смеясь, ответил Михаил и послал за «Отцом».

Увидев «Отца», старик и его спутники почтительно встали.

— Здравствуйте, товарищи крестьяне!—степенно приветствовал их «Отец».

Слово «товарищ» бородатому деду, видимо, очень понравилось. Он протянул «Отцу» руку:

— Здравствуйте... Ну, вот теперь я вижу: солидный человек, можно и поговорить. Тут будем или где-нибудь под крышей?

— Пойдемте под крышу,— ответил «Отец» и повел крестьян в сторожку.— Рассказывайте, какое у вас дело.

— Дело у нас не простое... Дошел до нас слух, что иваново-вознесенские мастеровые хотят у своих хозяев фабрики отобрать. А у нас вокруг деревни всю землю ваши фабриканты Ясюнин, Терентьев да Фокин у помещиков скупили. Житья никакого нет. Вот мы и пришли по-

советоваться — нельзя ли и нам, по вашему почину, насчет земли похлопотать...

— Вы от себя или от мира пришли?

— От мира. Нас на сходке выбирали,—сказал парень.

— А ты не лезь в разговор! — обрезал его старик. — Слушай, что люди говорят, да запоминай. Я всего не упомню... Мир нас послал, сход.

«Отец» долго разговаривал с крестьянами. Под конец он сказал:

— Погостите у нас, посмотрите. Завтра приходите на заседание Совета, послушайте, как мы свои дела обсуждаем. А в деревню к вам мы грамотного человека пошлем, он все как следует объяснит вашему сходу.

«Отец» попросил дежурного разыскать в толпе шлихтовальщика с Дербеневской фабрики Николая Горшкова. И когда тот пришел, «Отец» попросил его:

— У тебя, Николай, дом большой, устрой товарищей крестьян у себя ночевать, а завтра приведешь их на заседание Совета.

— Можно! Пошли, земляки...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Степан с трудом дождался вечера. Он даже отказался съесть приготовленный Наташей обед.

— Не хочу... Совсем аппетита нет!

Девушка ласково, как маленького ребенка, усадила его за стол, поставила перед ним блюдо щей и шутливо проговорила:

— Ешь, а то выпорю!

Степан то и дело посматривал на ходики В девять часов он надел новую, привезенную невестой голубую сатиновую рубашку, подпоясался черным плетеным пояском и, накинув на плечи пиджак, сказал:

— Ну, я пошел. Может, поздно приду, не волнуйся...

Наташа, которой Степан не сказал, куда и зачем он идет, чутьем поняла, что у него сегодня необычный день. Она взяла его руки повыше локтя и шепнула:

— Иди, Степа. Пусть все у тебя будет хорошо. Когда бы ты ни вернулся, я все равно спать не буду. Буду тебя поджидать.

На углу узкой и кривой улички в местечке Ямы, где

стоял домик Прасковьи Федоровны, Степан обратил внимание на двух молодых парней. У одного в руках была железная трость. Второй стоял прислонясь к забору, заложив руки в карманы. Оба пристально осмотрели Степана с ног до головы. Он услышал: тот, что с тростью, сказал:

— С Зубковской...

Недалеко от домика Прасковьи Федоровны Важеватов увидел еще двоих парней. И снова один был с тростью. И они так же пристально осмотрели его. У ворот на скамейке сидела третья пара, а на крыльце стоял Станко. Он приветливо пригласил:

— Входи! Посиди немного в сенях. Там Яша...

В сенях было темно. Степан шопотом спросил:

— Яша?

— Ваня! Иди сюда,— засмеялся Яков.— Это из-за меня в потемках сидим. Стал у лампы стекло протирать, да и раздавил. А запасного нет... Садись. Волнуешься? Я тоже волновался...

— Очень волнуюсь,— ответил Степан.— Как ты думаешь, примут меня?

Яков серьезно ответил:

— Обязательно примут.

— А о чем меня спрашивать будут?

— О разном. Когда меня принимали, о многом спрашивали, а вот о чем, хоть убей, не помню. Все от волнения забыл.

Из приделка доносились голоса. Ясно различался глуховатый голос «Отца» и звонкий тенор Дунаева. Потом заговорил Трифоныч:

— Сегодня получен первый номер новой газеты «Пролетарий». На ней значится: «Центральный орган Российской Социал-Демократической Рабочей Партии». Напечатано извещение о Третьем съезде партии. Нам надо его издать листовкой. Когда мы это сможем, Архипыч?

— Смотря какой тираж.

— Надо не меньше трех тысяч.

— Дня три потребуется. Сегодня первый номер своих «Известий» печатать начали. Тираж большой — десять тысяч.

Снова послышался голос «Отца»:

— Ты ему на какое время назначил?

— На десять,— ответил Трифоныч.

— Тогда давайте пригласим. Он, наверно, здесь.

Открылась дверь, и в сени вошел Трифоныч:

— Пришел, Иван Матвеевич? Входи. И ты, Яша.

Степан шагнул в комнату и смущенно стал у порога.

Вокруг стола сидели «Отец», Балашов, Самойлов, Дунаев и еще трое рабочих. Степан знал их в лицо, но фамилии ему были неизвестны. У печки на табуретке сидел подмастерье с Зубковской фабрики Дементьев. Степан никак не предполагал увидеть его здесь. Дементьев казался ничем не интересующимся нелюдимом, с головой ушедшим в семейную жизнь. А сейчас он смотрел на Степана, словно говоря: «Вот мы и встретились по-настоящему». У окна сидел Веселов. Его широкополая шляпа аккуратно висела на гвоздике.

Трифоныч стал у стола:

— Можно?

— Говори,— сказал «Отец».

— Товарищи! Товарищ Никитин дал согласие вступить в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Нет нужды подробно говорить о нем Вы все его хорошо знаете. Я, может быть, немножко больше, поскольку мы с ним встречались еще раньше. Что о нем сказать? Человек он честный, смелый и будет партии полезен. Обо всем, что надо, предупрежден. Работы не боится никакой. Все. Может, товарищ Савватеев добавит?

— Я мало скажу. Верный человек. Я ему, как самому себе, верю. Не подведет.

«Отец» спросил:

— Есть вопросы к товарищу Никитину?

Самойлов за всех сказал:

— Известный человек.

«Отец» подождал немного и начал говорить сам:

— Я несколько слов скажу. Ты, товарищ Никитин, среди нас человек новый. Но мы, зная твою прошлую жизнь, доверяем тебе, как своему, нашему, иваново-вознесенскому. Береги наше доверие. Плохо будет и нам и тебе, если ты его потеряешь. У меня тоже все. Кто за то, чтобы принять Ивана Матвеевича Никитина в Российскую социал-демократическую партию, тех прошу поднять руки.

Голосовали единогласно. «Отец» протянул Степану руку:

— Поздравляю, товарищ Никитин!

— Спасибо! Спасибо, товарищи, за доверие! Посылайте меня на любое дело...

— Пошлем,— ответил «Отец».— Завтра же. Надо будет съездить в Шую.

— Я бы попросил пока не посылать товарища Никитина,— сказал Трифоныч.— Нам с ним надо сегодня же обсудить одно очень важное дело.

— Хорошо. Пусть остается в Иваново-Вознесенске. А пока, товарищ Никитин, ты свободен. Еще раз поздравляю.

— Подожди меня,— сказал Степану Трифоныч.— Я сейчас выйду.

В сенях стоял Станко. Он молча крепко пожал Степану руку. Вскоре вышел Трифоныч и сказал:

— Пойдемте сюда.

Они очутились в комнатке хозяйки. Прасковья Федоровна тотчас же вышла.

— Рассказывай, Станко.

— А что рассказывать? Подтверждается.— Он посмотрел на Важеватова.— Да, ведь ты не все знаешь. Дело вот в чем. Трифоныч рассказал мне про твои опасения насчет студента Кручинина. Начали мы за ним следить. А тут еще дошел до нас слух о том, что дочка здешнего учителя из реального, Вера Орлова, в письме из ссылки очень нелестно о нем отзывалась. Намекала: дескать, он виновник ее высылки. Сходили мы к Орлову.

— Ну?

— Подтвердилось... Вера, конечно, по цензурным соображениям прямо не пишет, но понять дает.

Трифоныч возразил:

— На одних догадках обвинять человека нельзя. А вдруг Орлова ошиблась?

— Есть еще кое-что.

— Что же ты тянешь?

— А ты не перебивай. Наши парни несколько дней за ним ходили. Сначала ничего не установили. А вчера к нему из жандармского переодетый унтер приходил... Значит, дело не чисто.

— Это верно.

— Я предлагаю так,— сказал Станко.— Пусть Иван ему важную тайну доверит. К примеру, укажет, где у нас типография.

— А я и сам не знаю.

— Тебе пока и знать не надо. Ты выдумай. Скажи, что работаешь в ней и тебе нужна его помощь. Адрес дай такой: сторожка у деревянной церкви, за железнодорожной линией. Там мой дядя живет. Я его об обыске предупредил. Он сегодня оттуда уйдет. Если студент на жандармов работает, он не утерпит, доложит, а они в ту же ночь примчатся. Им за открытие типографии награду большую дают... Понял?

— Понял. Но мне совестно. А вдруг мы его напрасно подозреваем? Хитрить я не умею.

— Без военной хитрости войны не бывает,— заметил Трифоныч.— А мы, Иван, воюем...

— Хорошо. Я к нему сегодня же зайду...

— Лучше завтра. Сегодня мы не успеем все сделать. Но будь с ним очень осторожен... Обдумай все как следует.

Степан и Яков шли домой вместе.

— Ну вот,— сказал Яков,— ты теперь член партии. Я иногда думаю: «Я член партии. Что же это такое?» И сам себе отвечаю: «Это очень хорошо! Значит, я могу приехать в Петербург, Москву или в Ярославль и даже куда-нибудь в Сибирь и у меня везде есть друзья, которые думают так же, как и я». Это очень хорошо, Ваня. И еще я думаю — огромная страна наша Россия, просторная. Все в ней есть — моря, горы, леса, реки, города. Все, что надо для жизни. А народ живет плохо. И все потому, что над всей Россией царь распространился, как большой паук. Везде торчат его кривые ноги, в каждом городе есть у него опора. И вот мы эти опоры подпиливаем. Когда-нибудь подпилим совсем, и он рухнет, свалится... Работа у нас, Ваня, тяжелая, опасная А мне весело — все-таки мы тебя, поганый паук, свалим! Нас все больше становится. Сегодня ты прибыл, завтра еще кто-нибудь. Недели через две-три Ленин узнает — в Иваново-Вознесенске вступил в партию Иван Никитин...

— Ну, ты уж слишком! Как это он узнает?

— Узнает. Обязательно узнает. Ленин все про партию знает.

* * *

Кручинин лежал на диване, заложив руки под голову. Завтра надо было являться к Шлегелю. Он опять будет насмешливо смотреть, самодовольно хлопать

крышкой золотого портсигара. Иногда Кручинину казалось, что если ротмистр еще раз скажет ему очередную дерзость, он выхватит пистолет и всадит в эту лакированную морду весь заряд. Но ротмистр издевался, а студент только бледнел и не находил даже слов для возражений.

«Трус! Слякоть! — думал о себе Игорь.— Вот возьму и не пойду к нему больше! Ни черта он со мной не сделает...»

В дверь тихо постучали.

— Кто там?

Горничная приоткрыла дверь и сказала:

— К вам пришли.

— Кто? Не мешайте! Я сплю.

— Говорит, что по важному делу. Высокий такой...

— Высокий? Зови...

Игорь вскочил с дивана, глянул в зеркало и сел за письменный стол, раскрыв первую попавшуюся под руку книгу.

— Можно?

— Входите, входите. Боже мой, товарищ Никитин! Какими судьбами? Вы — и вдруг ко мне! Опять по поводу женитьбы?

— Нет. На этот раз я к вам по более важному делу.

Степан подошел к двери и запер ее на ключ. От его внимательного взгляда не укрылось, что студент, заметив это, испуганно посмотрел на него.

— Здесь нас никто не услышит?

— Никто. Маменька внизу, а кроме нее и Клаши, сюда никто не заходит.

— Хорошо. Вы извините, что я к вам так поздно... И еще — прошу не вспоминать мои глупые разговоры с вами. Я чурался вас в силу необходимости. А теперь буду говорить с вами, как... как с товарищем.

У Игоря от волнения задрожали руки.

— Давно бы так! Я к вам с чистым сердцем, а вы меня избегали. Как я рад, Степан, что вы пришли!

Степан холодно, расчетливо подумал: «Вижу, как ты рад. Весь трясешься». И он вдруг ясно понял: перед ним враг и его надо перехитрить. «А ведь мы воюем»,— вспомнил он слова Трифоныча. «Ну что ж, будем воевать». Вслух он сказал:

— И я рад, что могу быть с вами откровенным. Мне очень нужна ваша помощь. Только дайте слово, что разговор будет между нами.

— Честное слово! Самое честное!

— Я работаю в подпольной типографии. Сегодня мы заметили: за нами следят. Конечно, дня два-три мы и там еще продержимся, но надо, пока не поздно, менять адрес. А кое-что надо переправить в надежное место. Я прошу, нельзя ли у вас?

— Конечно, можно...

— Спасибо! Я вам завтра кое-что занесу. А может быть, даже сегодня. Еще раз огромное спасибо!

— Может, вам помочь?

— А не боитесь?

— Что вы! Да я всей душой...

Степан сжал кулаки. «Выпытывает, стервец!»—подумал он.

— Тогда давайте. Только не сегодня, лучше завтра. Приходите прямо в типографию.

— А где она?

— А я и забыл, что вы не знаете, где она. В сторожке у деревянной церкви, за железнодорожной насыпью. Постучите и спросите дядю Федю...

— Понял. Обязательно приду. В котором часу?

— В десять вечера.

— Буду...

Игорь засмеялся.

— Что вы?

— Знаете, Степан, как хорошо у меня сейчас на душе! Я снова не один.

— Это верно. Одному тяжело. Водички нет у вас? Пить очень хочется.

— Может, чаю хотите? Сейчас подадут.

— Тороплюсь... Да и не хочется чаю. Воды, только похолоднее...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

— Ну-с, давайте думать! Что это, на самом деле или вас проверяют?

Ротмистр ходил по кабинету. Кручинин сидел в кресле, втянув голову в плечи.

— Давайте думать. Он сказал вам, что за ними сле-

дят. Вот это первая ложь: никто за сторожкой не следит. Впрочем, мы это сейчас уточним. Посидите один...

Ротмистр вышел и тотчас же вернулся, довольно потирая руки:

— А вы знаете, он вам не наврал. Прямого наблюдения за сторожкой нет. Ведется наблюдение за заводскими воротами, а это как раз напротив. Ваш дружок, очевидно, заметил и со страху бросился к вам... Сказал, что завтра будут перебираться в другое место. Куда, не сказал?

— Нет.

— Могут перебраться и сегодня.

— Но меня он просил быть там завтра.

— А ведь это идея! Я вас арестую вместе с ними.

— За что?

— Чудак вы, батенька! В постановлениях есть такая спасительная строчка: «Из-за отсутствия улик освободить» и т. д. Поняли? А так мы двух зайцев убьем. Голубчиков сцапаем с поличным и вас от подозрения очистим. Идите, батенька, домой. Отсыпайтесь. А завтра ровно в десять стучитесь к вашему «дяде Феде».

Выйдя от Шлегеля, Игорь внимательно посмотрел направо и налево. Ночь была светлая — хоть читай без огня. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, студент перешел улицу и скрылся в переулке. Наверх он не посмотрел. Впрочем, он все равно бы не заметил, что из слухового окна дома, стоявшего напротив жандармского управления, его провожали две пары внимательных, недобрых глаз.

— Видел? — шепнул Станко Якову.

— Вот шкура барабанная! Ну подожди!..

* * *

А в это время далеко от церковной сторожки, в другом конце города, в большом сарае, примыкавшем к дому токаря Пименова, кипела работа. Сарай у Пименова удобный. Внизу, в земле,— погреб. Затем второй этаж — на крепком настиле хранятся дрова, разные ненужные домашние вещи. На самом верху — сеновал. Это надежное, просторное место и было облюбовано Архипычем для типографии.

Трифоныч сидел на втором этаже и писал листовку

к солдатам. Столом ему служил березовый кругляш.

«Товарищи солдаты!» — написал Трифоныч и задумался. Что же писать дальше? Какие слова найти, чтобы нашли они путь к сердцам людей, одетым в серые солдатские шинели? И он вспомнил, как недавно около управы ткачиха Вера Синцова разговаривала с солдатом. Он не слышал всей беседы, а только часть ее. Синцова, дотронувшись до рукава гренадера, говорила:

«Мать-то у тебя кто? Наверно, не графиня какая-нибудь, а такая же работница иль по крестьянскому делу спину гнет. А ты на меня волком смотришь... Отслужишь — тоже ведь на фабрику пойдешь или за соху станешь. Мундир быстро износишь...»

Солдат, отодвигаясь, хмуро ответил:

«Ну что ты ко мне прицепилась! И без тебя тошно!..»

И Трифоныч после слов «Товарищи солдаты!» написал: «Мы называем вас товарищами потому, что такие же нищие матери родили вас, как и нас. Ведь и вам горе и нужда напевали свою колыбельную песню, ведь и вы знаете, каково весь свой век стоять за фабричным станком.

С вас сняли городскую одежду и обрядили в мундиры, но с вас не сняли того проклятого ярма, которое зовется жизнью рабочего человека. Через год, два, три вы кончите службу, снова станете на работу и пойдете к нам, к тем самым рабочим, в которых вам теперь приказывают стрелять. И та же неприкрытая нищета будет вокруг вас, и та же непосильная работа будет день за днем, словно червь, подтачивать вашу жизнь. Но на вашей совести лежит несмываемое кровавое пятно, и когда вы будете глядеть кругом на товарищей по работе, ваша совесть скажет вам: «Я сейчас работаю рядом с этими измученными, утомленными людьми, а ведь я убивал их. В худые, больные груди я посылал пули, малых невинных детей оставил сиротами».

Память подсказала Трифонычу еще одно событие. В январе на похоронах рабочего Путиловского завода Пименова, убитого солдатом Павловского полка Субботиным за то, что Пименов чересчур близко подошел к конторе завода, которую охраняли гвардейцы, неизвестный молодой человек в новенькой офицерской шинели, но без погон и в штатской шапке сказал: «Русский рабочий убит пулей русского солдата. Как это ужасно и чудовищно несправедливо!»

Фрунзе заинтересовался молодым человеком, и ему сообщили, что это поручик Онежского полка Левашов, не пожелавший в знак протеста против 9 января служить в армии и вышедший в отставку. Фрунзе вспомнил хорошее, доброе лицо Левашова, его смелый, открытый взгляд и начал писать дальше:

«Убивать! Да за что же убивать нас? Мы добиваемся своих законных прав. Мы требуем хлеба, потому что мы голодны, мы требуем прав, потому что правительство не считает нас за людей, как и вас, товарищи солдаты! Фабриканты должны справедливо платить нам, а они нас грабят. Правительство должно заботиться о нас, ибо мы русский народ, а оно вместо этого посылает казаков и солдат на помощь капиталистам... Скоро, может быть очень скоро власти прикажут вам: «Стреляйте!» И братская кровь польется рекой, и штык русского солдата проколет грудь русского рабочего. Голодные, измученные люди лягут костьми на улицах родного города за то, что они голодали, за то, что они добивались лучшей доли.

Солдаты! Ведь не для одних богачей, ведь и для нас, рабочих, солнце светит! Тот, кто посылает вас против нас, посылает вас против русского народа. А ведь вы клялись защищать его! И если у вас не дрогнет рука, значит вы отреклись от родной земли и за светлые пуговицы, которые у вас потом все равно отнимут, предали народ кровопийцам-фабрикантам и кровопийцам-чиновникам.

Так будьте же братьями нам, а не иудами-предателями! Мы ждем от вас помощи, а не убийства».

— Как подпишем? — спросил Архипыч.

— Иваново-Вознесенская группа Северного комитета РСДРП.

— Правильная листовка,— сказал Балашов.— Надо печатать.

— На этих днях не успеем,— возразил Архипыч.— Сегодня будем бюллетень Совета печатать, завтра листовку с извещением о Третьем съезде. Тиражи большие. Придется солдатскую пока отложить.

— Откладывать нельзя. Надо работать круглосуточно.

— Ребята вконец измотались.

— Я тебе двух новых пришлю.

— Кого?

— Никитина и Савватеева. Парни надежные. А Петр с набором один справится.

— Посмотрим.

Балашов взял листовку со стола и начал ее внимательно разглядывать.

— Я тебя, Трифоныч, не напрасно про подпись спросил «Иваново-Вознесенская группа Северного комитета РСДРП». Пора нам называться по-другому. Было бы гораздо лучше: «Иваново-Вознесенский комитет Российской социал-демократической рабочей партии». Свой комитет. Сил у нас хватит.

— Подождем,— сказал Трифоныч.— Будет и комитет.

* * *

На полпути от железнодорожной насыпи к сторожке Игоря тихо окликнули:

— Товарищ Кручинин, идите сюда!

Студент остановился. Из-за низенького заборчика на него смотрел Степан.

— Сюда скорее, а то худо будет.

Кручинин шагнул в калитку:

— В чем дело?

— В сторожку нельзя, там засада.

— Значит, выследили? — спросил Игорь.

— Пронюхали . Посидим пока тут. Они там долго не пробудут... Смотрите, обратно катят. Станко! Смотри! Смотрите, Кручинин, едут...

— Вижу. Кто это в пролетке?

— Это... это Шлегель. Начальник жандармского управления. Не дай бог вам с ним познакомиться... Пропадете!

Кручинин облегченно вздохнул: «Ничего не знают».

А полицейская кавалькада уже рядом В пролетке рядом со Шлегелем — его постоянный спутник, специалист по обыскам унтер-офицер Тряпкин. Впереди и сзади пролетки — верховые полицейские стражники. Что-то много их. Десятка два. Да еще казаков не меньше. Позади громыхает пожарный станок, а на нем рядом с кучером унтер-офицер Суконкин. Крепко, видно, надеялся ротмистр накрыть типографию, вот и прихватил станок, чтобы удобнее было везти несколько пудов шрифта и прочие трофеи.

Но на станке, кроме брезента, ничего нет.

Подождав, когда цоканье копыт и тарахтенье станка окончательно стихли, Станко сказал:

— Теперь можно. Пошли!

— Куда? — спросил Игорь.

— Как — куда? В сторожку. Они пустые проехали, значит ничего не нашли.

— Плохо искали,— насмешливо сказал один из парней.

— А вдруг засаду не сняли? — забеспокоился студент.

— Нет. Они все проехали. Они у нас были пересчитаны.

— Пошли,— твердо скомандовал Станко.— Надо торопиться, а то скоро рассветет.

Дверь у сторожки была широко распахнута, маленькое окошко открыто.

— Вот видите, никого нет.

Станко показал парню на окно. Тот моментально захлопнул его. В комнате стоял длинный узкий стол и несколько табуреток.

— Садитесь, товарищи! И вы, Кручинин, можете сесть. Поговорить надо...

Игорь сразу почувствовал угрозу и невольно посмотрел на дверь. У двери стоял Степан.

— Может быть, выйдем на улицу? — попросил Кручинин.— Здесь что-то душно.

— Нет, лучше здесь,— возразил Станко и сразу, без всяких предисловий, в упор спросил: — Вы зачем вчера ходили к Шлегелю?

— Нужно было,— ответил не ожидавший такого вопроса Кручинин и тут же спохватился: — Ни к кому я не ходил. Я всю ночь был дома.

— Понятно... Знаете, Кручинин, давайте не вилять. Нам все известно. Понимаете — всё. Как вы выдали Веру Орлову и ее друзей, как вы гонялись за Никитиным. В том, что вы провокатор мы не сомневаемся ни на одну секунду. И еще нам ясно — вы не имеете больше права жить.

Кручинин, как подрубленный, упал на колени:

— Товарищи, дорогие! Товарищ Никитин! Ваня! Милые! Я все расскажу. Меня заставили. Я не хотел!

— Не надо, Кручинин, не ползайте,— сказал Стан-

ко.— Встаньте. Я хочу вам предложить — искупите свою вину сами.

Студент вскочил с полу:

— Я все сделаю! Все, что вы прикажете! Все!

Станко вынул из кармана револьвер и повернул в нем барабан. Патроны звонко защелкали у него на ладони. Станко положил револьвер на шесток печи. Кручинин попятился и стал у стены.

— Вот, Кручинин, возьмите. В нем две пули. Мы сейчас выйдем отсюда, а вы останетесь. Можете написать матери записку — мы передадим.

— Вы с ума сошли! Я буду на вас жаловаться! Пустите меня!

Кручинин подбежал к печке, схватил револьвер и выстрелил в Станко. Второго выстрела он сделать не успел. Степан торопливо, словно боясь опоздать, всадил в него одну за другой три пули. Кручинин грохнулся около порога, дернулся несколько раз и застыл.

Станко наклонился над ним, прислушался:

— Не дышит. Обыщите его, ребята! Только поаккуратнее, не испачкайтесь...

Один из парней присел на корточки, расстегнул на Кручинине куртку и, ощупав карман, подал записную книжку и несколько трехрублевок. Станко взял книжку, а деньги положил на стол.

— Пошли, ребята!

Они ушли, не закрыв за собой дверь. Ветер сдул со стола деньги. Одна трехрублевка упала у головы Кручинина в лужу крови.

Дружинники шли быстро, молча. Вскоре им в поле попалась большая яма, наполненная водой. Станко наклонился и долго мыл руки. Парни последовали его примеру. Один из них, рассматривая рукав на пиджаке Станко, сказал:

— Смотри, куда он попал. Если бы не Никитин, быть бы тебе покойником.

— Ни черта!

Помолчав, Станко добавил:

— Вымойте, ребята, сапоги...

* * *

Вице-губернатор Сазонов начал действовать. Вечером 1 июня он созвал на совещание командиров всех воин-

ских частей, прибывших в город, Кожеловского, городского голову Дербенева, прокурора Чернявского, Шлегеля и только что прибывшего из Петербурга в помощь Шлегелю ротмистра Филагриева.

— Господа! Сейчас не время для длительных заседаний и громких речей, мы должны действовать. Не мое дело влиять на господ фабрикантов и увещевать их уступить рабочим. Хотя, кстати сказать,— Сазонов строго взглянул на Дербенева,— господам фабрикантам стоило бы кое о чем позадуматься. Но не в этом сегодня суть. Дело в том, что собрания рабочих за городом переходят все границы. Я располагаю примерным списком тем, которые так усиленно обсуждаются. Я зачитаю только некоторые. Вот, пожалуйста: «Почему Россия проиграла войну». Скажите, какое им дело до этого?.. Или еще: «Какие есть в мире конституции». Что это такое? Бунт! А это уж совсем возмутительно: «Кто виновник расстрела рабочих в Петербурге?» Я решил положить конец этому безобразию! Я распорядился с завтрашнего дня запретить всякие сборища. Все равно где: в городе или за городом. Вас, господа офицеры, и вас, господин полицмейстер, прошу быть решительными до конца. Все, господа. Вопросы есть?

Городского голову, фабриканта Петра Дербенева, рабочие не зря окрестили «Каустиком». Хитрый, злой, он даже с начальством не мог разговаривать иначе, как с подковырками и ехидными намеками.

— Позвольте, ваше превосходительство, слово молвить!

Сазонов недовольно поморщился:

— Пожалуйста.

— Вы, когда о фабрикантах упоминали, в мою сторону неодобрительно посмотрели. Я так понял — надо, мол, нам, владельцам, рабочим уступочку сделать. Правильно я вас понял? Не можем, ваше превосходительство. Никак не можем. Вы, извините, человек приезжий. Может статься, вас министром назначат, чему я лично буду безмерно рад, и вы уедете. А мы тутошние. Мы отсюда никуда. Тут наши деды и отцы хребет гнули, по кирпичику корпуса возводили. Мы здешний народ знаем. Уступи им сегодня, и они завтра опять заорут: «Бастуем!» Опять, выходит по-вашему, надо уступить? А они опять глотки разевать будут: «Давай нам пряников бес-

платно!» Нет, ваше превосходительство, уступать нам нет никакого расчета. Мы крепкие, вытерпим. А они скоро выдохнутся... задыхаться начнут... А насчет вашей строгости — мы приветствуем. Давно бы пора! А ежели от нас что потребуется войску вашему — овса там, клеверу и солдатам на водку,— только скажите. У меня от общества полная на все доверенность...

«Каустик» с победоносным видом осмотрел всех и сел. К нему тут же подсел командир драгунского полка подполковник Третьяков и зашептал на ухо. Сазонов недовольно заметил:

— Успеете, господа, договоритесь. Итак, вопросов больше нет? Прошу ознакомиться с текстом моего постановления, которое утром будет расклеено по всему городу.

— Любопытно,— произнес Шлегель и взял из пачки длинный, узкий листок.— Где же вам удалось напечатать? Неужели они вам разрешили?

— Стану я их просить! Святые отцы помогли. В Суздале напечатали.

— Можно вслух?

— Пожалуйста.

Шлегель начал читать:

— «Ввиду ежедневно доходящих до меня от самих же рабочих сведений, что лица, собирающиеся на реке Талке, не ограничиваясь обсуждением своих чисто фабричных нужд, занялись вопросами государственного значения, причем отдельные лица позволяют себе явно возмутительные речи против правительства, я не нахожу больше возможным допускать многолюдные собрания на реке Талке, а также и в других окрестностях города и предупреждаю, что виновные в нарушении сего распоряжения будут подвергаться законной ответственности».

— Вот это по-нашему! — одобрил Дербенев.— Коротко и ясно.

Похвала «Каустика» примирила Сазонова, но, стараясь быть строгим, он все же напомнил:

— Дело не в нас и не в вас. Я стою за законность и не могу позволить, чтобы в моей губернии, в городе, где я лично руковожу событиями, неуважительно относились к государю императору. Прошу, господа, и вас с рвением и особым прилежанием следить за этим. Всё, господа. Вас, господин ротмистр, прошу остаться...

Когда все удалились, Сазонов, не скрывая раздражения, спросил:

— Что это у вас там произошло?

— Где?

— Сегодня ко мне прибежала вся в слезах вдова акцизного надзирателя... как ее... госпожа Кручинина. Убили единственного сына... При довольно странных обстоятельствах. В какой-то сторожке.

— Слышал.

— Самое неприятное в рассказе госпожи Кручининой, что окрестные жители якобы видели, как в этой сторожке незадолго до убийства находились ваши люди. Это правда?

— Могу доложить только одно — ее сынок из этой же шайки. Он давно состоял у нас на подозрении.

— Тогда другое дело... Но вы как-нибудь объясните ей. Все же мать...

— Непременно...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Утром 1 июня Наташа уехала в село Алексино разузнать, как живут родные Степана, и сообщить им, что он жив, здоров и не теряет надежды повидать своих близких.

Важеватов, проводив ее, не заходя домой, прошел на Талку, на заседание Совета уполномоченных.

В этот день Совету предстояло решать много важных и неотложных дел. Первым вопросом стояло сообщение комиссии по оказанию помощи. Позавчера комиссия выдала особо нуждающимся первые талоны в лавку кооператива «Единение — сила». На каждый талон полагалось десять фунтов ржаной муки, по четыре фунта гречневой крупы и пшена, по фунту постного масла и сахара и по пятнадцати штук вяленой воблы. Многодетным давали еще дополнительный талон на манную крупу и рис.

Комиссия послала Груню Николаеву посмотреть, как продавцы отпускают работницам продукты, нет ли каких жалоб, недоразумений.

Груня пришла в лавку к самому открытию. У дверей уже толпилось десятка четыре ткачих с кошелками и корзинками. Заведующий лавкой, открывая железные ставни, урезонивал:

— Чего это вы спозаранок?

— Есть ребята хотят. А вы не скоро всем отвесите.

— Напрасно, бабы, беспокоитесь. Отпущу всех за десять минут. Продавцы у меня бойкие...— Он открыл широкую дверь и пригласил: — Входите, женки!

На прилавках лежали свертки. Заведующий объяснил:

— Кто с детскими талонами — направо, а у кого только основные — налево.

Два продавца начали ловко и быстро выдавать свертки, приговаривая:

— Получите! Мука, крупа, сахар, вобла.

Заведующий лавкой стоял в середине прилавка и быстро отмерял в бутылки постное масло.

Растроганные ткачихи наперебой восхищались удивившим их порядком в лавке:

— Павел Лукич! Вот спасибо! Как ловко все у вас получилось!

Груня подошла к заведующему:

— Большое вам спасибо!

Заведующий, узнав Груню, улыбаясь объяснил:

— Это мне, товарищ Николаева, вчера днем Семен Иваныч подсказал...

Заведующий не договорил, быстро вышел из-за прилавка.

— Прошу вас выйти!— сказал он рыжему человеку с длинными отвислыми усами.— Сегодня торговли нет.

— А этим почему отпускаешь? — хрипло осведомился рыжий.

— Это не ваше дело. Уходите.

— Ладно... выйду. Дай пачку «Трезвону».

Заведующий выбросил на прилавок папиросы. Рыжий сгреб их огромной, не по росту, рукой с грязными ногтями и, уплатив деньги, ушел.

Не прошло и получаса, как у лавки появились казаки. Огромный астраханец с черной бородой загородил лошадью дверь. Ткачихам оставалось или стоять в лавке и ждать, когда чернобородый отъедет в сторону, или нырять у лошади под брюхом. Но только одна из ткачих попробовала это сделать, как астраханец под хохот остальных казаков огрел ее плетью.

Заведующий открыл черный ход и тихо сказал:

— Давайте, бабы, через двор. Товарищ Николаева, выходи. А я пока лавку прикрою...

Выйдя со двора, Груня увидела: у афишной тумбы стоял рыжий с длинными отвислыми усами. Груня сразу поняла, что это он, шпик, привел казаков.

А работницы всё подходили и подходили и с удивлением читали объявление: «Закрыто на обед».

— Что они там, с ума посходили — в такую рань обедать? Выдали талоны, а товаров не дают!

Но как только заведующий снял табличку и открыл дверь, чернобородый снова закрыл лошадью вход. Груня попыталась вернуться в лавку через черный ход, но и там уже стояли два казака.

«Ну и леший с вами, стойте»,— подумала девушка и побежала за помощью к Станко.

Никто не знал, каким путем Станко оповещал своих дружинников, но делалось у него все очень быстро. В скором времени работницы, переругивавшиеся с казаками около лавки, увидели: посередине улицы шли два десятка молодых рабочих с железными тростями в руках. Впереди шагали Станко и Груня. Рыжий шпик при виде Станко торопливо нырнул в чьи-то ворота.

Станко, подведя свой маленький отряд вплотную к казакам, скомандовал:

— Стой!

Тихо он добавил:

— Отойди, Груня!

Казаки с любопытством смотрели на отряд. Кто-то из них громко произнес:

— Дисциплина! Смотри, как стали!

Станко подошел к чернобородому:

— Эй, дядя, отодвинься! Не мешай.

Казак не отвечал и не двигался с места.

— Я вас честью прошу — не мешайте торговать.

Чернобородый повернул голову:

— А то что будет?

Станко настойчиво повторил:

— Я прошу вас — не мешайте покупателям!

Казак презрительно посмотрел на рабочего и, достав из шаровар кисет, начал свертывать цыгарку, коротко бросив:

— Закуривай, ребята!

Но не напрасно ежедневно в лесу, за Талкой, тренировал Станко своих дружинников. Он подал еле заметный знак, парни обступили лошадь, и через несколько секунд

чернобородый, со страшной силой сдернутый Яковом Савватеевым из седла, валялся на земле. Кто-то ударил лошадь железной тростью по крупу, и она понеслась вдоль улицы. Чернобородый попытался с плетью наброситься на Станко, но парни крепко держали его за руки. Казак дико заорал:

— Лупи их, Семен!

Но, видно, не очень любили чернобородого остальные казаки. Никто из них не тронулся с места. Только пожилой казак припустился догонять скрывшуюся уже за углом лошадь.

— Эх ты, вояка! — беззлобно говорил Яков казаку.— Тебе только с бабами и воевать! Пустите его, он теперь ученый.

Парни отпустили казаку руки. Он, чертыхаясь и размахивая плетью, пошел к своей лошади.

А Станко уже вполне дружелюбно беседовал с астраханцами:

— Не дело, казаки, над женками издеваться. Ехали бы в другое место...

Весь день смена за сменой стоял у лавки патруль дружинников. Раза три проезжали мимо казаки, но к лавке не приближались. Выдача продуктов по талонам шла беспрепятственно.

Депутаты, внимательно выслушав рассказ Груни обо всем, что произошло у лавки, приняли короткую резолюцию: «Поведение дружинников одобрить. Усилить у лавки патруль».

Вторым отчитывался о вновь поступивших суммах в стачечный фонд Аким Клещев. Он стал на ящик, достал из фуражки листок бумаги и начал перечислять:

— За вчерашний день поступило: от рабочих фабрики Корзинкина из Ярославля сто двенадцать рублей; из Минска от портных семнадцать рублей сорок копеек; из Нижнего Новгорода от рабочих Сормовского завода четыреста восемь рублей девяносто копеек.

Депутаты громко захлопали. Аким, переждав, когда они успокоятся, напомнил:

— Вчера кто-то сказал, что нам деньги со всей России шлют. А ведь правда, товарищи. Я вам сейчас такое скажу — вы ахнете.— И, найдя в списке нужную строчку, он громче обычного произнес: — Из Кронштадта от матросов

первого флотского экипажа восемьдесят один рубль четырнадцать копеек!..

Аким поднял руку, призывая к спокойствию.

— Это еще не все, товарищи! Я вам еще объявлю. От неизвестных казаков двадцать два рубля сорок копеек и письмо.

— Читай, Аким, читай!

— «Товарищи рабочие. Примите от нас вам на подмогу, что мы промеж себя собрали. И знайте — не все казаки такие злодеи, как вы думаете. Хотели бы подписаться, да нельзя — всыплет начальство, если узнает».

Никогда ни одному оратору не аплодировали депутаты так, как Акиму.

— Вот это здорово!

— Ай да казаки!

Данила Кустов вскочил на ящик и крикнул:

— Да здравствуют братья казаки!

Хлопали и ему. Потом заговорил Балашов:

— Письмецо радостное, ничего не скажешь. Выходит, наша правда и среди казаков начинает действовать. Но, товарищи, только начинает! Поэтому глядеть мы должны в оба, не спать. Господин губернатор к нам в город войска пригнал порядочно. Одних казаков, наверно, сотен пять, не меньше. Давайте прикинем. Допустим, даже целая сотня нашу правду поняла — все равно четыреста на нас с нагайками полетят... Расчет простой...

Кто-то громко перебил:

— Ты, Семен Иванович, всегда пугаешь!

— Я не пугаю, а предупреждаю.

Затем снова дали слово Акиму. Он, держа все тот же листок, подвел итог:

— А всего на сегодняшний день поступило от разных лиц и обществ шесть тысяч двести сорок рублей восемьдесят копеек. Превращено в талоны и выдано особо нуждающимся три тысячи восемьсот два рубля. Остаток — две тысячи четыреста тридцать восемь рублей восемьдесят копеек.

Из самого последнего ряда донеслось одобрение:

— Ну и Аким, чисто бухгалтер!

Аким усмехнулся и опять поднял руку:

— А теперь, товарищи, я хочу об одном нехорошем случае рассказать. Сами понимаете, семья у нас вон какая, а денег у нас немного. Мы постановили выдавать по-

собие только особо нуждающимся. За все время жалоб на наши действия не поступало. Видно, мы на самом деле помогаем тем, кому уже невтерпеж. Я должен сказать — народ наш понимает и никто понапрасну заявления не подавал. А вот вчера осечка вышла. Выдали мы талон Николаю Муравьеву. Признаться, не хотелось ему давать, но уж очень он просил. А знаете, что он сделал? Он тут же все, что ему в лавке по талону выдали, продал за полцены и купил у шинкарки водки. Судите его сами.

Решение было принято единогласно: «Отчет комиссии принять к сведению, поступок Николая Муравьева осудить как недостойный».

Объявили перерыв. Задымили костры, появились жестяные чайники, на траву было выложено все, что положили дома в карманы,— хлеб, вобла, вареная картошка.

После перерыва Балашов привел незнакомого высокого, очень худого человека с козлиной бородкой. Когда они проходили, кто-то из депутатов произнес:

— Смотрите, не брат ли Кожеловского? Уж очень похож.

Груня Николаева за всех ответила:

— Откуда у Кожеловского братьям быть? У него, говорят, и матери не было. Его в змеином гнезде нашли.

Балашов поднялся на ящик, погрозил Груне и сказал:

— Внимание, товарищи! Попрошу поближе. К нам приехал господин... — Он наклонился к своему спутнику: — Простите, как вас величают?.. Так вот, господин Машинский хочет с нами поговорить.

— Откуда он? Кто такой? — посыпались вопросы.

— Сейчас все узнаете, товарищи, — слезая с ящика, ответил Балашов. — Прошу, господин Машинский. Начинайте.

Приезжий на ящик не поднялся, а стал рядом с ним. Как только он произнес первые слова, все переглянулись: из огромного рта оратора вылетал тонкий, как у подростка, голосок .

— Товарищи рабочие! Священная борьба за свободу, которую ведет Россия, разгорается сильнее и сильнее...

Депутаты постепенно привыкли к тонкому голосу Машинского и начали слушать с интересом. Но так продолжалось, пока оратор говорил о свободе и равноправии вообще, не касаясь главного — каким путем их добиваться.

— У пролетариата есть свои особые, только ему одному присущие задачи и интересы! — выкрикивал Машинский. — Именно ими и надо заниматься вам, дорогие товарищи рабочие...

— Что же это за особые задачи? — перебил Балашов.— Может, скажете?

— Да, скажу! Первое и самое главное — помочь всем рабочим стать грамотными, для того чтобы правильно разбираться в политике...

— Позвольте еще раз спросить, — снова перебил Балашов, — как нам можно грамоте научиться? В гимназию прикажете всем поступать, в университет? Или, может быть, экстерном сдавать? — Он поискал среди депутатов нужного ему человека и, найдя, крикнул: — Петр Федорович, подойди поближе!

Петр Мартьянов, у которого однажды ночевал Фрунзе, стал по другую сторону ящика. Балашов подчеркнуто вежливо обратился к Машинскому:

— Извините, мы сейчас ваше предложение на практике проверим. Разрешаете?

— Что за вопрос? Пожалуйста.

— Петр Федорович, — улыбаясь, спросил Балашов Мартьянова,— скажи, пожалуйста, хочешь ты учиться или нет?

— Чудак ты, Семен Иванович! Кто же не хочет умнее быть!

— Так. Превосходно. Куда тебе лучше поступить: в гимназию или в университет?

Мартьянов засмеялся и махнул рукой.

— Куда мне! Годы не те.

— А что же ты раньше не учился?

— А ты будто не знаешь? Я же с восьми годов на фабрике работаю. На ученье у моего тятьки грошей не хватало.

— Понятно. Значит, ты раньше не мог и теперь не можешь. А где твои дети учатся? В гимназии? — допытывался Балашов.

— А теперь у меня для них грошей нет. У меня пять душ, а я получаю одиннадцать рублей, да жена — десять.

— Значит, и ты не мог и дети не могут

— Выходит, так.

— Продолжайте, господин Машинский... Тише, товарищи, давайте послушаем

Машинский, как будто все только что происходившее не имело к нему никакого отношения, высморкался в большой синий платок и продолжал:

— Я еще раз подтверждаю: у пролетариата в борьбе за свободу есть свои задачи.

Откуда-то из самого заднего ряда донеслось:

— Этого не собьешь! Как дятел, знай, свое долбит!

А Машинский как ни в чем не бывало тыкал в воздух костлявым указательным пальцем и говорил:

— Допустим, что, впрочем, мало вероятно, пролетариат победит в революции. Давайте рассмотрим такой вариант. Где у пролетариата силы управлять промышленностью, государством? Хаос и разрушение ожидают нас Нет, товарищи рабочие, этот путь, предлагаемый вам безрассудными фантазерами, гибельный. Он означает возврат к дикарству...

К ящику торопливо пробиралась Груня. Она несколько секунд постояла рядом с Машинским, с усмешкой оглядывая его нескладную фигуру, и, не выдержав, перебила:

— Спасибо за науку, господин хороший! По-вашему выходит так: сначала мы должны выучиться, стать образованными, а потом к хозяевам с лаской: «Дорогие наши благодетели, нельзя ли вам потесниться?» — Она повернулась к депутатам своей фабрики: — Слышали, бабы? Как вы думаете, можно Мефодия Гарелина — «Сироту» нашу уговорить, чтобы он нам по доброй воле по пятаку прибавил?

Депутаты засмеялись. Никодим Соловьев крикнул:

— Да он лучше удавится!

Груня, спрятав улыбку, серьезно продолжала:

— И я так думаю. А вот этот хороший господин нам доказывает, что мы должны раньше университеты пройти, а потом уже с Мефодкой разговаривать... А вы скажите, господин, по какой дороге нас, образованных, на каторгу погонят? По новой или по старой, по Владимирке? И еще скажите: когда наш царь батюшка подобреет и вместо свинцовых ягодок райскими яблочками угощать начнет... Шли бы вы, господин, в гости к нашему торговцу Куражову. Он вас с удовольствием послушает да еще заплатит за беседу — бутылку рябиновой пожертвует.

Машинский затоптался вокруг ящика:

— Это демагогия! Это чорт знает что такое! Вы мне мешаете говорить!

Балашов поднял руку:

— Ну как, товарищи, будем слушать господина Машинского или отпустим?

— Пусть уходит! Долой!

Семен Иванович тронул Машинского за локоть:

— Не хотят вас слушать. Придется вам уступить. Народ у нас серьезный. Ребята, проводите господина, куда он пожелает.

Словно из-под земли выросли дружинники Иван Рябов и Матвей Рыбаков. Рябов вежливо приподнял картуз:

— Пошли, ваше благородие.

Когда Машинский с провожатыми скрылся в лесу, Балашов поднялся на ящик. И сразу посыпались вопросы:

— Где ты, Семен Иванович, это чучело раздобыл?

Балашов, подождав, когда все утихнут, ответил:

— Многие меня спрашивали, какие-такие меньшевики. Своих у нас тут почти нет, а те, что есть, знают свое место да помалкивают. А этот, приезжий, на успех надеялся. Насмотрелись, товарищи?..

В эту минуту на тропке показался Самойлов. По тому, как он торопливо шел, все поняли: Архипыч несет важное известие. Самойлов с ходу поднялся на ящик и стал рядом с Балашовым. Лицо у Архипыча сияло. Он звонко объявил:

— Товарищи, мы каждый день слышим о том, что нам шлют со всех концов России материальную поддержку. Сегодня мы получили полтыщи рублей от московских рабочих. Нам этот подарок очень дорог. Но еще дороже братское сочувствие москвичей. Сегодня мы получили листовку, выпущенную Московским комитетом большевиков. Слушайте, товарищи, что в ней написано: «Сильное и могучее движение охватило Иваново-Вознесенский район. Зашевелился, стал расправлять свои плечи пролетариат Центральной России. Новый удар царскому правительству... Быстрыми шагами приближается революция, и в ряды ее борцов смелой поступью вступил иваново-вознесенский пролетариат. Стачка грозит затянуться. Фабриканты не желают уступать. Кто не знает, как ничтожен заработок рабочих в этих районах? Трудно будет иваново-вознесенцам кормиться во время забастовки. Нужны средства. Жертвуйте на стачку, если вы только понимаете ваши интересы. Ибо только пролетариат на пути к социа-

лизму освободит всю Россию от царского правительства. Неужели мы, московские рабочие, останемся в стороне и не поможем нашим товарищам? Мы должны помочь им делом, мы должны поддержать их, доказать, что весь рабочий класс России одно целое...».

Тут не выдержал даже такой скупой на изъявление своих чувств, как Семен Балашов. Он громко захлопал в ладоши и крикнул:

— Ура товарищам-москвичам! Ура!

Заседание Совета решили тут же закрыть и начать общие собрания рабочих, на которых и объявить о солидарности московских товарищей.

Груня Николаева шла рядом со Степаном и все повторяла:

— Батюшки мои, как хорошо! Батюшки мои!..

В полдень начали раздавать очередной бюллетень Совета, напечатанный типографским способом. Та же Груня указала Степану на строчку: «Отпечатано в количестве 10 000 экземпляров в типографии группы Северного комитета РСДРП».

— Это понимать надо! — сказала Груня.

Разве мог кто-нибудь из этих людей предполагать, что пройдет меньше суток — и сотни из них будут ранены, исхлестаны нагайками, а многие расстанутся с жизнью...

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

До села Алексино, родины Степана, Наташа добиралась три дня. Почти двое суток она ехала на поезде, потом, сойдя рано утром на глухом лесном полустанке, шла шестьдесят верст пешком: сначала, до уездного города, по большой дороге, а затем по проселочной. Почти весь путь от полустанка до села она прошла одна. И хотя было очень скучно и даже страшно идти одной, она в то же время радовалась этому — ей очень не хотелось слушать неизбежные в таких случаях расспросы спутников: кто она, куда идет, замужем ли, где живет. Только не доходя до Алексина двенадцати верст, Наташа, отдыхая в деревне со странным названием Фарисеиха, разговорилась с молоденькой крестьянской девушкой Липой, которая шла еще дальше, за Алексино, в деревню Фенино.

Липа сразу же преподала урок правильного поведения

в чужой деревне. Наташе очень захотелось пить. Она направилась к колодцу.

— Ты куда? — спросила Липа.

— Хочу воды достать.

— Не вздумай. Попроси лучше вон в том доме.

— А почему из колодца нельзя?

— А из чего ты пить будешь? Прямо из бадьи? Увидят бабы, они тебе зададут. А может, ты какая порченая... Тут много в монастырь всяких больных ходит.

Когда они, отдохнув, пошли дальше, Липа спросила:

— Давно из города?

— А почему вы думаете, что я из города?

— Сразу видно... В гости?

— В монастырь.

Липа с недоумением посмотрела на Наташу.

— В монастырь.... — протянула она. — Чего это ты? Или здорово согрешила? Замаливать торопишься?

— Нет, я не совсем, я не в монашки, а только помолиться.

— Жениха вымаливать?

Наташа невольно рассмеялась:

— Почему жениха? У меня есть.

— Вот хорошо. А то в монастырь все больше больные идут да семейной удачи выпрашивать. Тут даже икона такая есть, так ее бабы всю исцеловали. Два раза в год подновляют, красят.

— Ну и как, помогает?

— Мне вот не помогло. Целовала я ее, целовала, а жениха моего убили.

— На войне?

— Нет... Дома. Стражники зарубили..

— За что?

— По доказу. Как войдем в Алексино, увидишь дом горелый... На фоминой неделе горел. А в этом доме у хозяина Карасева маслобойка была. В ней и загорелось. Петя в этой маслобойке работал и взял расчет перед самой пасхой. Карасев ему шесть целковых не доплатил. Петя его ругал. А на фоминой неделе загорелось. Сразу на Петю. Стражники начали ему руки вязать. Ему надо было стерпеть, после бы разобрались, а он вырвался да на стражников с колуном. Один его и зарубил... А народ говорит, что Карасев сам поджег, хотел страховку получить за маслобойку. Самую-то главную машину он нака-

нуне, говорят, продал... Андрюшка Важеватов видел, как Карасев ночью в маслобойку шел, а через полчаса загорелось.

Наташа, услышав знакомую фамилию, даже похолодела от волнения.

— А как же этот Андрюшка мог видеть?

— Они рядом живут.

— А чего же Андрюшка молчал?

— Он не молчал. Да разве ему поверят? Они сами через старшего сына Степана страдают. То урядник с обыском все ездил, а потом мать в волостное правление каждую неделю вызывали.

— А что со Степаном приключилось?

— С каторги, говорят, убежал. Его на всю жизнь осудили, он какого-то важного барина убил, потом долго разбойничал, а когда его поймали да в тюрьму посадили, он убежал. Его опять поймали — да в каторгу, а он и с каторги снова убежал. А вот недавно, рассказывали, его не то повесили, не то утопили.

— Родные разве не знают?

— Может, и знают, да не говорят. Мать извелась вся. Девки уехали из деревни. Нюра где-то в няньках, а про старшую, Катерину, слух прошел — в Нижнем Новгороде замуж вышла за какого-то фабричного. А ты их знаешь, что ли?

— Нет. Ты рассказываешь, а я заинтересовалась.

Так за разными разговорами они добрались до Алексина. Два ряда домов тянулись вдоль широкой дороги. В конце села, на пригорке, виднелась небольшая церковь. Людей на улице было видно мало, только недалеко от церкви бегали дети.

— Видишь дом горелый?

— Вижу.

— Это и есть Карасева. А следующий за ним Важеватовых.

— А в монастырь как идти?

— До него еще верст десять. Не дойдешь, ночь в лесу захватит. Ты лучше здесь, в Алексине, ночуй.

— А ты?

— Мне только две версты. Как только село пройду — поле и лесок. А там и наша деревня. Я доберусь. Только вон в этот дом не просись, там не пустят... Ну, я побегу. Счастливо тебе.

И Липа быстро пошла вдоль деревни. Наташа, выждав, когда она скроется за церковью, свернула поближе к домам и постучала в окно к Важеватовым.

— Кто там? — спросил мужской голос, удивительно похожий на голос Степана.

— Пустите, ради Христа, переночевать.

В окно выглянула пожилая женщина. Она внимательно осмотрела Наташу и сказала:

— Ночуй! Андрейка, поди встреть... Иди, родимая, к воротам. Сейчас тебя встретит.

Скрипнула калитка, и на улицу вышел парень. Наташа снова с трудом сдержалась, чтобы не выдать свое волнение. Перед ней стоял двойник Степана — такой же высокий белокурый красавец.

— Пойдем. Давай руку, а то у нас в сенях темно. Можно так лоб расквасить...

* * *

— Жив ваш Степан. Жив и здоров. Никого он не убивал, враки все это. Его ни за что арестовали. Он и убежал... Вот письмо вам от него.

Дорогой Наташа все думала, что она объявит родным про Степана не сразу, а осторожно. А как только вошла в бедную их избу и увидела мать с тоскливыми глазами, забыв про всякую осторожность, едва успев снять свою котомку, сказала:

— Я к вам от Степана Ильича!..

Мать сначала не то чтобы не поверила, а просто не поняла и переспросила:

— От кого, касатка?

— От вашего сына, от Степана...

Андрейка понял сразу:

— Мама! От нашего Степы. Жив он. Где он?

Поверила и мать. Она села на скамейку около стола и заплакала.

— Где же он, болезный мой, скитается?

— Я вам, Анфиса Петровна, все о нем расскажу, все... Вот, пожалуйста, возьмите... Он просил вам деньги передать.

— Господи! Да откуда же у него они?

— Он работает... Я вам все о нем расскажу, с самого начала, по порядку.

* * *

Вечером 2 июня всюду, где их только можно было наклеить — на афишных тумбах, на стенах домов, в витринах магазинов,— забелели афишки с постановлением вице-губернатора. Кое-где их тотчас же после расклейки сорвали. На постановлении, висевшем у ресторана «Вена», углем нарисовали комбинацию из трех пальцев и подписали: «Не все для нас обязательно». На место сорванных извещений городовые наклеивали новые. У «Вены» около афишной тумбы появился постовой.

Ночью члены группы Северного комитета собрались на короткое совещание.

— Как поступим? — спросил «Отец», держа в руках извещение губернатора.

— Не обращать внимания! — запальчиво ответил Дунаев.

— Вы неправы, Евлампий Александрович,— возразил Трифоныч.— Мы должны обратить на это постановление самое серьезное внимание. Оно говорит о том, что местные власти решили отказаться от временного нейтралитета и начать помогать предпринимателям. Это запрещение собраний — первая ласточка. Несомненно, последуют и другие. Возможно применение оружия. Разведчики товарища Станко донесли — драгунам и пехоте выдали дополнительно по три комплекта боевых патронов. Это не случайно. Как же нам не обращать внимания? Нам надо решить другое: идти завтра на Талку или выждать?

— А как ты думаешь? — спросил «Отец».

— Я думаю, надо идти. Всякое иное наше поведение будет расценено как наша слабость.

— Правильно! — подтвердил Самойлов.

Посовещавшись, группа приняла решение: «Собрания на Талке, несмотря на запрет начальства, продолжать».

* * *

Утром 3 июня Степан спросил свою хозяйку:

— Какой сегодня день?

— Вторник.

— Верно, вторник. Когда не работаешь, дни путаются.

Степан вспомнил: во вторник он обещал зайти к Станко. Умывшись и торопливо позавтракав печеной картошкой,

Степан вышел из дому. Проходя центральными улицами города, он удивился их необычайному виду В первые дни забастовки торговцы позакрывали свои лавки и магазины. Обыватели в эти дни сидели по своим квартирам и на улицу показывались не часто. Рабочие собирались за городом, и поэтому на шумных, людных когда-то улицах было тихо, пустынно. Но с двадцатых чисел мая торговцы и обыватели, поняв, что им никто не угрожает и что, наоборот, созданная рабочими милиция поддерживает в городе образцовый порядок, осмелели, и центр зажил своей обычной жизнью. Магазины и лавки торговали, у городской управы стояли извозчики, начал действовать «Клуб господ приказчиков». О забастовке напоминали лишь бездымные фабричные трубы да непривычное для Иваново-Вознесенска обилие военных в самой различной форме.

Сегодня город снова притих, насторожился. Все лавки и магазины закрыты, и только мясники братья Мужжавлевы стояли в широко распахнутых дверях. Степан, проходя мимо, невольно посмотрел в лавку. Старший Мужжавлев, огромный мужик с длинными руками и багровым лицом, угрюмо покосился на рабочего и бросил вдогонку:

— Шляются!

С Песков вылетели на Георгиевскую казаки. У Туляковского моста стояли драгуны. В посаде около особняков Бурылина и Маракушева толпились городовые. Город походил на большой военный лагерь. День обещал быть теплым. Даже в девять часов утра большой термометр у ворот Иваново-Вознесенской мануфактуры показывал восемнадцать градусов выше нуля.

...Станко стоял у ворот своей квартиры. Увидев Степана, он махнул ему рукой, приглашая ускорить шаг.

— Я уж думал, не придешь...

— Очень в городе сегодня интересно.— И Степан рассказал приятелю о своих наблюдениях.

— Понятно,— ответил Станко.— Готовятся... Пойдем в сарай.

В сарае их поджидали Яков, Карташов, Сучков и еще несколько молодых парней.

Увидев среди них своего старого знакомого, молчаливого Силантия, Степан спросил:

— А ты здесь чего делаешь?

— Что все, то и я...

Степан, исправляя оплошность, продолжал:

— Я хотел спросить, почему ты один. А где Василий?

— А я тут,— раздался насмешливый голос, и широкое веснушчатое лицо выплыло из-за чьей-то спины. — Нам порознь никак нельзя — у нас на двоих одна шапка

— Значит, нашли себе дело? — спросил Степан.

— Как видишь...

Василий помолчал и добавил:

— Мы не только дело — мы себя нашли. Дураками жили, а сейчас понимать начали, что к чему.

Степан хотел было спросить, давно ли они познакомились со Станко, но промолчал, вспомнив совет Трифоныча никогда не расспрашивать своих товарищей при незнакомых людях.

Через несколько минут в ворота громко постучали:

— Эй, хозяйка! Открывай ворота...

Станко торопливо выскочил из сарая и снял у ворот тяжелый деревянный брус. Во двор, скрипя, въехал большой воз сена. Станко тотчас же закрыл ворота.

Станко и возчик быстро вытащили из-под сена три больших ящика.

— Ребята, принимай! — скомандовал Станко.

Возчик бросил вожжи и громко заговорил:

— Смотри, какого я тебе сена привез. Один клевер. С этого корма ваша буренка одни сливки будет доить...

Яков и Степан понесли ящик в сарай.

— Тяжелые,— усмехнулся Яков.— Клевер...

А Станко уже шумел во дворе, ругая возчика:

— Забирай свое сено, мошенник! Обещал клевер, а привез одну осоку!.. Не надо, не надо!

Возчик, ухмыляясь, старался кричать как можно грубее:

— На тебя сам чорт не угодит! Кабы знал, ни в жисть не повез бы тебе. Осока! Видел ты осоку...

Станко распахнул ворота, а около них уже толпилось несколько любопытных.

— Давай вези свое добро! Жулик! Хотел за осоку, как за клевер, содрать!

Квартирная хозяйка поддакивала в окно:

— Спасибо, родимый! А то долго ли меня, бедную вдову, надуть...

Снова закрыв ворота на засов, Станко вернулся в сарай.

— Открывай! Осторожнее.

Яков кончиком топора поддел крышку у первого ящика, оторвал ее и снял толстую промасленную бумагу. В ящике лежали новенькие «смит-вессоны».

— Проверь,— обратился Станко к Степану.— Сейчас и раздавать начнем.

В другом ящике тоже оказались револьверы, в третьем несколько штук «смит-вессонов» и пачки патронов. Станко брал проверенное Степаном оружие и раздавал парням по пять штук:

— Солодов! На твою пятерку. Выходи на улицу. Латышев, получай. Иди через огород... Круглов, выйдешь после Солодова минут через пять... И все сейчас же на Талку...

Когда все оружие было роздано, Степан не сдержался, спросил:

— Откуда?

— Из Москвы, спасибо, помогли. Сразу сюда везти опасались. Мы его с поезда в Кохме приняли, а уж оттуда в сено...

— Ловко! — с восхищением сказал Степан.

— Надо как-нибудь выкручиваться,— засмеялся Станко.— Ну, парни, давайте и мы на Талку. Что-то там мои разведчики подсмотрели?

* * *

В этот день по предложению группы Северного комитета большевиков заседание Совета уполномоченных решили не проводить, а сразу, как только соберется достаточное количество рабочих, начать общее собрание. К десяти часам утра у опушки леса, близ лесной сторожки, собралось несколько тысяч человек. Большинство сидели на земле, поджидая остальных. На дороге, на тропках — всюду виднелись люди, спешившие на Талку.

При выходе из города Степан, Яков и Станко нагнали Анфима Болотина с женой, Анной. Степан не встречал их с памятной майской массовки в лесу у деревни Горино и очень обрадовался. «Вот с кем надо Наташу обязательно познакомить! Будут как две сестры, и родинки у обеих одинаковые»,— подумал он и вслух сказал:

— Очень вы на сестру мою похожи, на Наташу.

— Я вас с ней видела... А я подумала — она жена ваша. Где она сейчас?

— Уехала к родственникам.

— И я завтра в деревню собираюсь. Скоро покос. Многие едут Все полегче будет, хоть поедим там досыта. В покос всегда хорошо кормят...

— Муж тоже едет?

— А чего ему здесь одному делать? Поработаем оба и вернемся.

У мостика Станко жестом остановил Степана и Якова. Отведя их в сторону, он посоветовал им на всякий случай держаться вместе.

— А ты куда? — спросил Яков.

— Я к Семену Ивановичу. Он меня ждет в сторожке.

На другом берегу к Станко подбежали молодые рабочие и тихо сказали:

— Около станции сотня казаков с винтовками.

У сторожки Степан и Яков встретили Груню. Она шла с озабоченным лицом.

— Ты что такая невеселая? — спросил Яков.

— Сама не знаю. Жарко, что ли...

Они уселись на земле под большой сосной. Груня прислонилась спиной к дереву и сказала:

— Не высыпаюсь я, видно, поэтому и устаю. Вот так бы целый день могла просидеть...

Рядом, под другой сосной, сидели несколько рабочих. Один из них, уже пожилой, лет под пятьдесят, говорил:

— А что ты думаешь? Вполне возможно, со временем так и будет. Чем, скажем, я хуже Куражова? Он всю жизнь торгует, людей обманывает, а я работаю, миллионы аршин наткал. Ему медаль, а мне шиш. Неверно это. У меня орден должен быть. Чтобы шел я по улице и все видели — идет самый лучший в городе ткач.

Чей-то голос скептически произнес:

— Дожидайся! Куражов шесть домов имеет. На то он и Куражов.

— А я Осинкин,— возразил пожилой.

Яков, прислушавшись к разговору, крикнул:

— Правильно, Сергей Степанович! Только от этой власти тебе отличия не дождаться.

— А я на нее не рассчитываю. Я говорю — со временем так будет.

— Лет через сто! — снова раздался скептический возглас.

— Дурак ты, Вася! — обрезал Осинкин.— Мне Трифоныч разъяснил, что это гораздо раньше будет.

Он встал, повернулся лицом к городу и с беспокойством спросил:

— Что это там?

— Где? — вскочив, спросил Яков.

— А вон пылит...

— Казаки! Вставайте, товарищи! Казаки!

От станции к Талке неслись две сотни казаков. У мостика казаки задержались, перестраиваясь в цепочку. И тогда все увидели — впереди с казацкой нагайкой в руках летел Кожеловский. Он первым проскакал по мостику. Подковы гулко зацокали по деревянному настилу. Подъехав к рабочим, полицеймейстер, тяжело дыша, хрипло крикнул:

— Расходись, мерзавцы!

Груня схватила Степана за руку:

— Смотри, товарищ Никитин, что они делают!

Степан увидел: казачья цепь, проскакав мостик, разделилась. Одна сотня уходила влево, другая вправо, окружая луг.

— Окружают! — догадался Степан.

А Кожеловский, очевидно ожидая, когда казаки полностью окружат рабочих, размахивая нагайкой, орал:

— Расходись! Кто вам разрешил тут собираться? Расходись!

Из толпы рабочих вышел «Отец»:

— Напрасно, ваше благородие, кричите... Давайте поговорим по-хорошему...

На дороге от станции показалась третья сотня. Они неслись с гиканьем и какими-то дикими воплями. Прогремев по мостику, они плотной стеной стали позади Кожеловского. Лица у казаков были красные. Даже за несколько шагов доносился от них крепкий запах спиртного.

— Ребята, они пьяные! — донеслось из толпы.

— Расходись! — заревел Кожеловский и двинул лошадь. Потом он повернулся в седле и скомандовал: — Казаки! За мной!

— Что вы делаете! — крикнул «Отец».

И не договорил — Кожеловский нагайкой сбил с него фуражку.

Пьяные казаки с трех сторон врезались в толпу рабочих. Они сваливали людей с ног, топтали их лошадьми. Но и этого Кожеловскому показалось мало. Степан видел — по краю луга к мостику бежали женщины. Груня бросилась им навстречу, громко крича:

— Куда вы? Бабы! Давайте в лес...

Женщины, услышав крик Груни, повернули к лесу. И в ту же секунду захлопали выстрелы. Кожеловский, стоя на стременах, истошно орал:

— Огонь! Огонь!

И еще одно врезалось в сознание Степана: от сторожки с тростями и револьверами в руках наперерез казакам бежали дружинники. Впереди, размахивая револьвером,— Станко и рядом с ним Трифоныч.

— Лупи их, дьяволов! — кричал Станко.— Бей по лошадям!

Степан, выхватив «смит-вессон», побежал за Станко, на ходу стреляя в чернобородого казака.

Через полчаса на лугу все стихло. Казаки умчались в город, уведя с собой несколько десятков арестованных. Брели по тропкам легко раненные рабочие, несли тяжело раненных и убитых. Яков разорвал оброненный кем-то белый платок и перевязал Степану голову.

— Ну как, дойдешь? Пойдем лесом, а то как бы опять на этих стервецов не нарваться.

У опушки Яков крикнул:

— Смотри!

Из лесу с женой на руках шел Анфим Болотин. Руки у Анны беспомощно болтались.

— Ранена? — спросил Яков.— Сильно?

Анфим поднял на него глаза и тихо ответил:

— Умерла... Помоги, Яша, один я ее не донесу.

Он опустил тело жены на траву и заплакал. Степан не отрываясь смотрел на круглую родинку Анны. В ушах звучал ее голос:

«И я завтра в деревню собираюсь. Хоть поедим там досыта...»

* * *

Вечером большие группы озлобленных рабочих бродили от особняка к особняку. Звенели разбиваемые камнями зеркальные стекла, валялись вывороченные телеграфные столбы. К ночи в небе заполыхало зарево, ветер

по всему городу разносил запах гари — горели на Ямах ткацкая фабрика Гандуриных и лесной склад Ивана Гарелина. Не помог начавшийся сильный дождь — фабрика и склад сгорели дотла. Под самое утро вспыхнули дачи городского головы Дербенева, его брата, Фокина и Бурылина.

Проносились по улицам казаки и драгуны. Кое-где вспыхивали короткие перестрелки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Быстро прошла короткая летняя ночь. Уже начало светать, а Наташа все рассказывала родным о Степане. О себе она не сказала ни одного слова, даже не упомянула, кем она приходится Степану. Анфиса Петровна сама догадалась обо всем и ласково сказала:

— Ложись, доченька.

— Пожалуй, лягу. Что-то у меня голова разболелась и словно знобит меня. Не простыла ли я, когда с Липой у колодца сидела.

Анфиса Петровна достала из сундука одеяло из разноцветных лоскутков и отвела ее на сеновал:

— Усни. Я тебе, доченька, утром блинков напеку...

Но пришло утро, и Наташа не смогла встать. Все тело горело, тупая боль в правом боку мешала дышать. Андрюша, пришедший за ней, испуганно сказал:

— Что ты такая красная? Не заболела ли?

Анфиса Петровна сходила за фельдшерицей. Старая, седая Марья Осиповна долго выслушивала ее, смерила температуру и безаппеляционно заявила:

— Берите в дом. Воспаление легких. Кто она вам?

Анфиса Петровна сквозь слезы ответила:

— Чужая... Совсем чужая... На богомолье шла, а я ее ночевать пустила. Ладно уж, похожу за ней. Только бы поправилась.

— Поправится... Андрей, идем со мной. Я для нее порошков дам... А вы ее обязательно в дом забирайте...

До половины июня пролежала Наташа в постели. Она даже не помнила, как ее переносили с сеновала в избу. Как-то утром в полузабытьи до нее донеслись обрывки разговора. Чей-то бас наставительно урчал:

— Умрет она у тебя, вот и будешь отвечать. Ты бы мне хоть паспорт ее показала.

Анфиса Петровна умоляла:

— Ну как же я ее подыму, Сидор Евстигнеевич? Она почти не дышит. Богомолка она, какой у нее может быть паспорт.

— Должен быть,— гудел бас.— Смотри! Будешь отвечать.

Потом над Наташей наклонилось бородатое лицо. Жесткие руки легли на пылающий лоб. Запахло дегтем и конюшней.

Но Наташа не умерла. Молодость и здоровый организм победили. Как-то утром, когда никого не было дома, она встала с постели и, держась руками за стену, вышла в сени, отдохнула немного на табуретке и побрела на улицу. Она села на завалинке и, прислонив голову к березе, закрыла глаза и подставила лицо под солнышко.

Так и застала ее Анфиса Петровна, прибежавшая из поля проведать свою больную:

— Господи, доченька! Сама выбралась!

— Сама... Мне сегодня лучше. Совсем хорошо. Я даже есть захотела.

Дело быстро пошло на поправку. Наташа целыми днями проводила на улице и только когда летний зной давал себя знать, уходила в тень сеновала. По вечерам она иногда долго сидела с Андреем, рассказывала ему о Петербурге, об Иваново-Вознесенске.

Но, случалось, Андрей после ужина исчезал и появлялся только на рассвете. На осторожные расспросы Наташи, где он бывает, Андрей густо покраснел и неопределенно протянул:

— Та-а-ак, дела всякие.

Наташа, поняв, что он уклоняется от беседы на эту тему, перевела разговор на другое. Но вскоре она неожиданно и совершенно случайно проникла в тайну Андрея. После того как ей стало немного лучше, Наташа пристрастилась к вязанью. Анфиса Петровна снабдила ее шерстью, спицами и показала, как быстро вязать варежки с одним пальцем, которые у Анфисы Петровны охотно покупали лесорубы.

Как-то вечером Наташа вспомнила, что днем оставила свое рукоделие на сеновале, и пошла за ним. Подойдя к сеновалу, она услышала, как кто-то тихо читал: «Не

крестьянин не знает, отчего он бедствует, голодает и разоряется и как ему от этой нужды избавиться. Чтобы узнать это, надо прежде всего понять, отчего всякая нужда и нищета происходит и в городе и в деревне».

Наташа повернулась, чтобы уйти, но закашлялась. Из сарая выскочил Андрей, за ним еще трое парней.

— Кто тут? Это ты, Наташа?.. Зачем по росе ходишь? Опять простынешь.

— Я за вязаньем.

— Где оно?

— Там, у окошечка.

— Сейчас вынесу.

Андрей вынес ее рукоделье и предложил парням, молча наблюдавшим за всем:

— Пошли, ребята, по домам.

Он еще раз сходил в сарай, вынес фонарь, погасил его, и все пошли через огород к дому. Когда они остались вдвоем, Андрей спросил:

— Ты что-нибудь слышала?

— Слышала,— твердо ответила Наташа,— и даже поняла, что вы там читали.

— Что?

— Книжечку Ленина «К деревенской бедноте». Где вы ее достали?

— Гриша Краснов из города привез.

— Ну, и как? Интересно?

— Да еще как! Вся правда в ней. Мы ее уже третий раз читаем...

Они долго сидели в горнице. Андрей, не таясь, рассказал Наташе о своих приятелях:

— Мы понимаем: так жить нам больше нельзя. Надо действовать. А вот как, мы и не знаем Был у нас хороший человек, учитель, да пропал. Выслали. Хочу в Митрофаново сходить.

— Зачем?

— Там у нашего учителя дружок был, Геннадий Петрович Коробков. Умная голова. Надо с ним посоветоваться. Если он ничего не подскажет, пойду в город.

Дней через пять Андрей пришел домой очень взволнованный. Он как-то странно посмотрел на Наташу и сказал:

— Не знаю, говорить ли тебе...

— Что случилось, Андрюша?

— У вас в Иваново-Вознесенске стрельба была. Много народу поубивали, а еще больше арестовали.

— Кто тебе сказал?

— У попа сын газеты получает. Дает мне читать. Я раньше бы на заметку об Иваново-Вознесенске внимания не обратил, а теперь всю прочитал.

— Что там?

— Рабочие собрались на берегу какой-то реки...

— Талки!

— Верно, Талки... А на них казаки налетели...

Уж и досталось Андрею от матери за взволновавшее Наташу сообщение! Как ни уговаривали Анфиса Петровна и Андрей свою дорогую гостью дождаться окончательного выздоровления, ничего не помогло Наташа твердо решила немедленно возвращаться домой. Она попросила Андрея сводить ее к дому, где когда-то родился и жил ее отец и где сейчас жили ее дальние родственники. Она постояла у покосившейся избы Никитиных, но войти в нее так и не решилась. Вернувшись к Важеватовым, она долго плакала:

— Что за жизнь! Даже дом папы как следует посмотреть не могу!..

На следующий день Андрей долго переругивался с соседом, нанимая у него лошадь.

— Совести у тебя нет! — увещевал он соседа.— Пять рублей! С ума сойти можно...

— А что тебе? Чай, не ты будешь платить, а твоя богомолка. А она, говорят, не из бедных...

Сторговались на четырех рублях, и Андрей, мягко устелив телегу сеном, повез Наташу на станцию. Анфиса Петровна, чтобы не вызывать подозрений у соседей, крепко поцеловала Наташу еще во дворе и сказала:

— Если там у вас плохая жизнь будет, приезжай, доченька, ко мне. Может, как-нибудь и Степа покажется, хоть на часок...

Через три дня Наташа, сойдя в Иваново-Вознесенске с поезда, увидела: у вагона стоял Яков, всматриваясь в проходящих пассажиров. Она, предчувствуя недобрую весть, тревожно спросила:

— А где же Степа? Почему он меня не встречает?

Яков принял у нее корзинку и тихо сказал:

— Иди обратно в вагон! Стой на площадке...

Он пролез под вагоном, отомкнул ключом другую дверь и быстро проговорил:

— Иди за мной!

Яков повел ее по путям, мимо депо. И только когда они отошли подальше от вокзала, он перевел дух и сказал растерянно смотревшей на него Наташе:

— Не волнуйся... Очень тебя прошу, не расстраивайся. Степу вчера ночью взяли жандармы. Тебе на квартиру возвращаться тоже нельзя — там засада...

* * *

Губернские и городские власти, и больше всех вице-губернатор Сазонов и полицеймейстер Кожеловский, надеялись, что расстрел и аресты забастовщиков на Талке если не «образумят», то уж, наверно, напугают рабочих и они скорее примутся за работу. Но они жестоко ошиблись.

На другой же день после расстрела по настоянию группы Северного комитета большевиков Совет депутатов собрался нелегально и единодушно решил продолжать забастовку, не делать фабрикантам никаких уступок. В этот же день подпольная типография большевиков выпустила несколько тысяч листовок Ими буквально засыпали весь город.

«Чувство обиды, злости, мести глубоко затаилось в нас,— говорилось в листовке.— До тех пор оно не изгладится, пока невинные не будут освобождены и не падет с них обвинение...»

Вместо больших собраний на Талке большевики начали созывать рабочих на нелегальные сходки и массовки в лесу, в окрестных деревнях.

Казаки и драгуны рыскали по лесам и по деревням, разыскивая собрания и сходки, но никогда не могли их обнаружить, потому что за ними следили не только разведчики Станко — за ними наблюдали тысячи глаз. И как только казаки или драгуны выезжали с постоя, впереди них летели гонцы к Станко, Трифонычу, «Отцу».

Почти каждую ночь горели дачи. «Красного петуха» в загородные хоромы фабрикантов и торговцев пускали не столько рабочие, сколько молодые крестьянские парни, решившие, что и им пришло время рассчитаться за обиды и притеснения.

Утром 9 июня на многих фабриках долго, захлебыва-

ясь, выли гудки, зазывая рабочих в корпуса. Но и из этой затеи властей и уполномоченного фабрикантов Дербенева ничего не вышло — ни один человек не стал к станкам.

И было еще одно, что принесла стачка и особенно в последние дни после расстрела. Об этом Сазонов и Шлегель могли только догадываться, а точно знали лишь «Отец», Балашов и Трифоныч. Это был необычайный в те годы невиданный рост партийной организации. В мае 1904 года в Иваново-Вознесенске насчитывалось сто шестьдесят большевиков. Через год, к началу стачки, было около четырехсот членов партии. И только за один месяц, начиная с 15 мая, организация выросла сразу на двести человек. Большевистские ячейки были на всех предприятиях города. Спаянные железной дисциплиной, тщательно законспирированные, неуловимые большевики вели за собой десятки тысяч беспартийных рабочих, которые ежедневно, ежечасно убеждались в том, что только большевики ведут их по правильному революционному пути.

Разгромить большевиков, обезглавить их стало мечтой Сазонова, Шлегеля, присланного из столицы Филагриева и даже вечно пьяного Левенца. Но они очень мало знали о большевиках и особенно об их руководителях. Мелкие агенты, вроде пьянчужки Семки Колосова и табельщика Стратилата Жучкина, приносили самые поверхностные сведения: кто выступил на Талке, что сказал очередной оратор. Вглубь партийной организации эти доносчики проникнуть, конечно, не могли. Разве могли, например, Колосов или Жучкин рассказать Шлегелю, какой гость навестил «Отца» в первой половине июня?

А гость был необычный. Убедившись по паролю, что он попал действительно по адресу, гость первым делом выложил из аккуратного докторского саквояжа пачку второго номера газеты «Пролетарий».

«Отец», посмотрев на заголовок, удивленно спросил:

— Откуда это у вас?

— Как — откуда? Из Женевы.

— Я понимаю. Но объясните, как могла попасть к вам газета, выпущенная в свет третьего июня? Прошло всего несколько дней.

— Я сам только что из Женевы. Приехал в Московский комитет, а они меня к вам. «Побывайте,— говорят,— в Иваново-Вознесенске». Поэтому я у вас. Впрочем, не только поэтому, есть еще одна причина: Владимир

Ильич очень интересуется вашей стачкой и действиями вашего Совета. Расскажите мне все, что можете.

Они проговорили всю ночь. Приезжий особенно расспрашивал «Отца» об участии в забастовке женщин. Узнав, что в Совете более двадцати работниц, он с удовлетворением сказал:

— Владимира Ильича это очень обрадует!

На другой день гость побывал на Талке, послушал местных ораторов, побеседовал с рабочими, а вечером в Хуторове, в квартире Самойлова, собрались члены группы Северного комитета, районные и фабричные организаторы и их помощники.

Собравшиеся с любопытством смотрели на незнакомого пожилого человека с небольшой рыжеватой бородой клинышком. Он сидел, протирая очки белым платком, когда «Отец» сказал: «Слово для информации о Третьем съезде партии имеет участник съезда товарищ Китаев». Помощник организатора второго района Веселов не выдержал и вслух восхищенно сказал:

— Вот это здорово!

Все засмеялись. Докладчик тоже улыбнулся и сказал первые слова, сразу же увлекшие слушателей:

— Товарищи! Владимир Ильич Ленин сказал, что Россия переживает великий исторический момент. Революция вспыхнула и разгорается все шире...

Разве могли обо всем этом знать всякие там жучкины? Не знал об этом и Шлегель. Но он чувствовал — большевики крепнут с каждым днем. В городе начались аресты и облавы. В одну из таких облав и был задержан Степан Важеватов.

* * *

Водить арестованных на допрос по улицам из тюрьмы в жандармское управление было небезопасно — в любую минуту могли налететь дружинники и отбить заключенных. Поэтому Шлегель сам приезжал на допросы в тюрьму. Для допросов была отведена узкая камера, окрашенная масляной краской в темносерый цвет. В ней стоял небольшой письменный стол, жесткое кресло на толстых ножках и черная табуретка. На стене чуть пониже крышки стола виднелась кнопка звонка для вызова конвоя, который, доставив арестованного, выходил в коридор.

Вечером 11 июня Шлегель вызвал на допрос Степана.

Арест беглого кавалергарда ротмистр считал большим своим достижением. Он предполагал, что солдат, узнав о том, что все его прошлое известно, испугается и даст ценные показания о местных социал-демократах. Готовясь к допросу, ротмистр предвкушал, какое сильное впечатление произведет на арестованного обвинение в убийстве Кручинина. Шлегель настолько надеялся на успех допроса, что даже не сказал о нем Филагриеву, желая удивить его сюрпризом.

Шлегель, как любой жандармский офицер, знал несколько приемов допроса. С одними арестованными он был груб, с другими, наоборот, изысканно вежлив и даже ласков. Некоторым он представлялся добродушным простаком, верящим каждому слову, иных он пытался победить уговорами о непоколебимости существующего строя. Степана он решил сразу огорошить напоминанием о его побеге из кавалергардского полка

Когда унтер-офицер Суконкин в сопровождении двух конвоиров ввел Степана в кабинет, Шлегель коротко приказал:

— Можете идти!

Унтер-офицер и конвойные, гремя оружием, вышли в коридор, глухо захлопнув обитую клеенкой дверь. Шлегель с любопытством осмотрел арестованного и, улыбаясь, сказал:

— Вот мы и встретились, господин Важеватов. А знаете, гвардейский мундир вам более к лицу...

По мысли ротмистра, обвиняемый в это мгновенье должен был побледнеть, может даже вскрикнуть от внезапности и, уж на худой конец, ухватиться рукой за край стола или за стенку.

Но белокурый великан в изодранном во время ареста пиджаке даже не шелохнулся. Он стоял, сложив руки за спиной, и спокойно смотрел, как будто заявление ротмистра не имело к нему никакого отношения.

— Я вам говорю, Важеватов! Бросьте валять дурака и притворяться, что ничего не понимаете. Имейте в виду — мне все о вас известно... Садитесь!

Арестованный продолжал все так же внимательно разглядывать офицера, словно перед ним был не живой человек, а манекен.

— Садитесь!

Вторичное приглашение не имело успеха. Великан

молчал, и лишь в голубых глазах да в усах таилась чуть заметная усмешка.

— Садитесь, вам говорят! Ваша фамилия? Имя? Откуда?

Допрашиваемый молчал. Шлегель растерялся и начал горячиться:

— Не хотите отвечать? Заставлю!

Ротмистр сел в кресло и продолжал:

— Впрочем, все равно — будете вы говорить или не будете, виселица вам обеспечена...

Арестованный неожиданно шагнул к столу и очень вежливо, деловито осведомился:

— Разрешите спросить, ваше благородие, какой сегодня день?

— Суббота,— ответил Шлегель.— А вам-то зачем это знать?

— Правильно, суббота,— все тем же деловитым тоном продолжал заключенный.— Банный день, стало быть... Шли бы, ваше благородие, париться, чем время попусту со мной терять...

Чего угодно, но такой наглости Шлегель не ожидал. Позабыв про кнопку, он пнул ногой дверь и истерически закричал:

— Суконкин! Выведи!..

Разве мог ротмистр знать, что беглый гвардеец с первых же минут пребывания в тюрьме не забывал слова Трифоныча:

«Тюрьма, она, конечно, не пансион для благородных девиц, самому лезть туда не к чему. А если уж случилось, попал, то самое правильное — молчи. Помни решение съезда партии — ничего не говори на допросах».

И Степан решил: «Пусть что хотят со мной делают, не скажу им, окаянным, ни одного слова!»

Не знал ротмистр и о том, что почти перед самым допросом в руки Степану попала записка. В ней было всего два слова, но от них сильнее забилось сердце и мрачная, темная камера словно раздвинулась: «Держись. Выручим».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Большинство иваново-вознесенских фабрикантов имело в Москве свои дома. Никанор Дербенев, как московский домовладелец, даже состоял гласным московской го-

родской думы. Только Зубков, приезжая в белокаменную, останавливался в «Славянском базаре», где ему всегда готовили богато убранный номер из трех комнат. Здесь хорошо знали вкусы капризного, желчного старика. Прислуга в расчете на большие чаевые охотно угождала ему, повара приходили прямо в номер посоветоваться, что изволит кушать их богатый гость. От «Славянского базара» рукой подать до многих нужных Зубкову мест. На Ильинке, в доме Троицко-Сергиевской лавры, находилось Московское купеческое общество взаимного кредита, почти рядом с ним были Купеческий банк и Торговый банк, неподалеку, на Солянке,— Государственный банк. На Большой Лубянке, по Варсонофьевскому переулку, в доме Камынина, размещалось правление Шуйско-Ивановско-Кинешемской железной дороги.

И вообще «Славянский базар» находился в самом центре деловой Москвы

Выбравшись из Иваново-Вознесенска в надежде на то, что «теперь горлопаны скорее угомонятся», фабриканты сдружились, позабыв все домашние распри и конкуренцию. К Зубкову и днем и вечером посидеть на перепутье, отдохнуть и освежиться заходили все тузы: Гандурин, Дербенев, Маракушев и другие. Мелочь вроде Лепешкина или Смолякова заглядывать сюда опасалась — могли не принять совсем или принять так, что после долго бы пришлось отплевываться от подчеркнутой вежливости хозяина, от которой так и несло насмешкой.

Поговорить было о чем. Бастовали рабочие в Питере, в далеком Красноярске и Баку. Останавливались железные дороги, не дымили заводские трубы. Шахтеры подымали на божий свет из темных, сырых шахт слепых лошадей: пусть и они, сердешные, отдохнут, подышат чистым воздухом, пока мы бастуем. По всей огромной стране — от Лодзи до Владивостока, от Архангельска и до Кушки — вспыхивали крестьянские бунты и восстания. В заволжских степях горели по ночам барские усадьбы, тревожное зарево пожаров вселяло страх и смятение в соседей, временно избежавших этой горькой участи. Летели по дорогам тройки, тарахтели тарантасы, гремели старинные дедовские кареты — дворянство потянулось в большие города, в обе столицы, подальше от угрюмых, косых взглядов потомков своих крепостных. Да и многие бывшие-крепостные были еще живы и подогревали сво-

их детей воспоминаниями о порках на конюшнях, о продаже матери одному помещику, а детей — другому. По вечерам какая-нибудь старая бабка рассказывала внукам:

«Был у меня сыночек Алешенька. Помер, царство ему небесное, с голодухи. Саму-то меня на барскую псарню определили, щенят выкармливать, вот для Алешеньки молока и недоставало...»

У внуков постарше при этих рассказах сжимались кулаки, пылали гневом глаза, а те, что помоложе, в страхе прижимались к бабке. Пугались и запоминали на всю жизнь.

Неуютно, жутко было в дворянских усадьбах. Ходуном ходила вся Россия.

Два дня — 24 и 25 мая — в Москве происходило бурное совещание представителей земств и городов. Кроме городских и земских гласных, в совещании участвовали городские головы, предводители дворянства. Представители помещиков и капиталистов обсуждали политические судьбы России.

Особенно горячо обсуждалась петиция к царю. Несмотря на присутствие так называемых «либералов», петиция получилась полностью верноподданнической. Особое место в петиции уделялось великой опасности для России и для самого престола, которая грозила не столько от врагов внешних, сколько от врагов внутренних.

В этом насквозь лживом и подобострастном документе участники совещания сваливали всю вину за поражение в войне, за гибель флота, за все беды и зло, творимое в стране, на якобы плохих советчиков царя, которые, дескать, искажают его мудрые предначертания. Петиция заканчивалась просьбой созвать без замедления народных представителей, чтобы они в полном согласии с царем решили вопрос о войне и мире и установили, опять таки в полном согласии с царем, обновленный государственный строй.

Для представления петиции царю совещание избрало делегацию из пятнадцати человек. Среди них было шесть князей и два барона.

Десять дней министр двора барон Фредерикс не пускал депутацию к царю, ссылаясь на то, что ему очень трудно уговорить императора принять делегатов, так как в их числе господин Петрункевич, а у него есть опасные

революционные связи. Наконец царя уломали, и прием состоялся.

Подробности этого любопытного приема рассказал Зубкову Маракушев, только что вернувшийся из Петербурга:

— Доставили их всех, голубчиков, как полагается, в Царское Село и проводили в комнату, где должен был с ними разговаривать Николай. Начали их осматривать, все ли в порядке, может у кого пуговица оторвалась, волосы торчат или борода не причесана, и вдруг видят, что этот самый Петрункевич, из-за которого их неделю морили, без белых перчаток. Батюшки мои! Скандал! Сейчас царь выйдет, а этот фрукт вроде как босой. Спасибо, говорят, лейб-гвардии полковник Путятин выручил — сунул свои перчатки. Они ему немного великоваты оказались, но ничего; ежели кулак сжать, незаметно. Едва он их напялил, как царь вышел. С речью к царю обратился князь Трубецкой. Сначала он, конечно, поблагодарил за прием. А Николай стоит молчит. Потом Трубецкой начал дальше говорить. Но то ли он забыл про петицию, то ли ему Фредерикс запретил о ней говорить, но ничего такого, что было в петиции про свободу личности и слова, печати и союзов, Трубецкой не сказал. Царь опять стоит молчит. И на лице у него ничего, как на иконе. Трубецкой кое-как домямлил и замолчал. Вот тогда царь заговорил. О чем он говорил, делегаты так и не поняли. Но одно они запомнили: «Моя царская воля собрать народных представителей непоколебима».

— Ишь ты! — заметил Зубков.— Так и сказал? Гляди, что выделывает Николаша-то!

— Ты подожди, что он потом выкинул. Кончив речь, Николай начал беседовать с делегатами. Подходит он к Петрункевичу и спрашивает: «А не состоите ли вы где-нибудь предводителем дворянства?» А тот от волнения и со страху, что царь на нем чужие перчатки разглядит, еле языком ворочает, но все же ответил: «Нет, ваше императорское величество, не состою». Царь ему и пообещал: «Нет, так будете!» Затем Николай ушел, а делегатов отвели в задние комнаты и предложили им завтрак. На каждого было отпущено на семьдесят пять копеек — по рюмке водки, по пирожку и впридачу еще по ревельской кильке...

— Я участковому городовому Митьке Рыжему на под-

носе больше высылаю,— перебил Зубков. — Что у него, у царя, мошна оскудела?

— А кто его знает! Может, подчеркнуть хотел: по гостям, мол, и угощение... Ты дальше слушай. Вернулись делегаты из дворца и ну во все колокола трезвонить: «Обещал народных представителей собрать. Сам сказал. Сами слышали». Начали телеграммы слать. А на другой день им вручили официальный текст речи царя. Они прочитали и глазам не верят. Слова «созвать народных представителей» из текста выбросили. И осталось только: «Моя царская воля непоколебима!» Вот это фокус!

— Плох!

— Кто плох? — переспросил Маракушев.

— Царек у нас плох, — раздраженно сказал Зубков. — Умеет только медальки раздавать. Убрать бы его...

— Что ты, господь с тобой, сват! За такие речи...

— Правду говорю, плох... Мелковат для нынешних дел.

— У Дунаева, что ли, на площади наслушался?

— Хотя бы и у него. Мне тоже кричать охота. Только между нами одна разница. Дунаев кричит — долой самодержавие, а я бы закричал — давай царя поумнее... А то с эдаким дураком и мы пропадем. И нас заодно с ним сковырнут, если недоглядим.

Вошли Гарелин и Гандурин. Зубков, подражая своему деду-крепостному, по-деревенски спросил:

— Ну, что нового, мужики?

— Домой нас требуют.

— Кто требует?

— Хозяева.

— Какие хозяева?

— Наши с тобой новые хозяева. Талочники. Требуют, чтобы мы с тобой приезжали для переговоров. Грозят: не приедете — хуже будет. Грязнов с перепугу хочет на уступки идти.

— Что он, очумел?

— Кто его разберет!

— Этого дозволять нельзя! Он всю воду перемутит. Надо его урезонить.

— Попробуй урезонь! Ему если в башку втемяшится, колом не выбить! Весь в отца... Помнишь, сколько с тем мучились?..

— С чего он перепугался?
— Сердиться не будешь? — спросил Гарелин.
— Ну, не буду.
— Так вот. Сегодня мой управляющий приехал, говорит — дачи твоей нет. Как корова языком слизнула.
— Спалили?
— Спалили.
— Ах, сволочи!
Зубков мрачно уставился в одну точку.
— Не горюй, — утешил Гандурин. — У тебя дачу, а у меня на Ямах ткацкую сожгли, а у свояка лесной склад.
— Да, еще одна новость,— вспомнил Гарелин:— Кожеловского прогнали...
— Совсем?
— В отставку...
Зубков насупился:
— Не пойму...
— О чем ты? — спросил Гарелин.
— Не пойму, чего они все перетрусили?
— Кто — все?
— Губернатор, Грязнов, да и вы все, словно к повешению приговоренные ходите. Я этого дурака Кожеловского сам терпеть не мог. Руки уж больно липкие — какую прорву у меня позанимал без отдачи. Одно слово: Ванька-каин. Но я бы его сейчас в отставку не отослал. Это Дунаеву на руку. Он теперь не такую антимонию разведет — победили!
Гарелин вынул из кармана газету и развернул ее перед Зубковым:
— Читай. В Нижнем Новгороде, на Сормовском заводе забастовали. Все стоит, как и у нас. И такие вести каждый день отовсюду. Если вдуматься — жить неохота...

* * *

Фабрикант Зубков оказался прав. Известие об отставке ненавистного полицеймейстера Кожеловского рабочие встретили с ликованием. Дня через три после прибытия нового полицеймейстера, Иванова, Кожеловский ехал в пролетке по Напалковской улице. Хотя кожаный верх у пролетки был поднят, все же бывшего полицеймейстера узнали. И как ни тяжело было злому, желчному стари-

ку выслушивать насмешки молодежи, чашу пришлось испить до конца. Он уже не мог, как прежде, вызвать «астраханцев» или, на худой конец, городовых. Не мог он, встав в пролетке, грозно потрясать пистолетом и рычать: «Расходись, мерзавцы!» Власти уже не было.

Отставка не в меру ретивого полицеймейстера была первой уступкой губернатора Леонтьева, снова прибывшего в Иваново-Вознесенск. За ней последовала вторая.

Вечером 10 июня в квартире депутата Совета Николая Жигарева подъехали казаки. Чего греха таить — увидев непрошенных гостей, Жигарев спрятался в огороде. Но казаки очень вежливо заверили жену Жигарева, что муж нужен губернатору по очень срочному делу и никакого вреда ему не причинят.

В скором времени Жигарев предстал перед губернатором. Леонтьев с любопытством смотрел на рабочего:

— Вы депутат?

— Состою...

— Если состоите, то скажите мне, пожалуйста, почему рабочие собираются тайно?

— Вы же сами запретили собираться явно. Разрешите — вот и не будут таиться. Вывесьте об этом объявление — довольны будут.

— Но меня об этом не просят, — сказал губернатор. Потом, подумав, торопливо добавил: — Вот вы попросили, это хорошо. Вы депутат, а раз депутат просит, можно будет разрешить.

Жигарев, сразу поняв, чего добивался губернатор, охотно подтвердил:

— Разрешите. Как депутат прошу.

— Обязательно разрешу... Сегодня же.

Через полчаса по городу разъезжали казаки с извещением, чтобы рабочие утром собрались на площади перед управой по приглашению губернатора.

— Знаем мы вас, ухарцев! Соберемся, а вы нас плетьми!

Казаки снимали картузы, крестились и заявляли:

— Вот те крест — не тронем. Мы что — мы люди маленькие. Начальство прикажет — порем, не прикажет — мы как ангелы. А сейчас без обмана. Сам губернатор велел народ скликать...

Утром город облетела еще одна необычайная новость: из тюрьмы выпустили двадцать два человека из тех, кого арестовали 3 июня на Талке.

К десяти часам на площади перед управой было так же тесно, как и в первый день стачки. А рабочие всё шли и шли. Большие толпы стояли за Приказным мостом, в переулках, даже на крышах торговых рядов виднелись люди.

Новый полицеймейстер, наблюдая из окон за площадью, посоветовал губернатору:

— А не лучше ли, ваше превосходительство, во избежание всяческих неприятных осложнений отправить их за город, на их любимую Талку? Спокойнее, знаете, будет...

— Пожалуй,— быстро согласился Леонтьев.— И скажите, что я разрешаю им собираться на Талке сегодня и завтра. И чтобы никаких политических речей. Только пусть о своих нуждах.

— Речи будут, ваше превосходительство. Набаловались...

— Надо уметь иногда кое-что и не замечать,— наставительно разъяснил губернатор. — Мы об этом после поговорим. Идите объявите им мое разрешение.

Не прошло и получаса, как площадь опустела — все, кто был на ней, от мала до велика, с песнями, знаменами двинулись на Талку.

Через два дня губернатор повторил свое разрешение еще на два дня, потом еще и еще. Собрания на Талке, как и до расстрела, происходили ежедневно. «Университет» опять заработал в полную силу. Снова, словно из-под земли, появлялись лекторы и докладчики, фамилий которых никто не знал. Все чаще и чаще на большом лугу можно было видеть крестьян в лаптях. В перерыв они устраивались где-нибудь в холодке, вынимали из котомок караваи хлеба. Было видно, что они пришли сюда не на день, не на два, а готовы прослушать весь «курс». Около крестьян часто видели «Отца», Балашова, Трифоныча. Приезжие лекторы нередко прямо с Талки отправлялись по шуйскому, тейковскому, кинешемскому трактам — читать лекции в деревне.

Казалось, не одну, а не меньше пяти подпольных типографий завели большевики. Листовки и «бюллетень» печатались многотысячными тиражами.

Губернатор Леонтьев умел иногда кое-что не замечать. Впрочем, к этому у него было много причин, а одна из них была весьма тревожной. О ней очень хорошо рассказал прокурору Чернявскому чиновник особых поручений Лисицкий:

— Как только этого депутата... как его... ну, Жигарева, выпроводили, его превосходительство дал телеграмму командующему Московским военным округом. Я ее лично шифровал. Его превосходительство просил дополнительно выслать драгун, гусар — одним словом, какой-нибудь кавалерии. Казаков не просил — казаки сейчас нарасхват; того гляди, и этих от нас заберут. Когда ответ пришел, я не знал, как его патрону показывать. Точно не помню, но смысл такой: вы, дескать, не понимаете обстановки и требуете войск, словно собираетесь атаковать Мукден. Управляйтесь наличными силами и больше кавалерии не просите. Вот так положение! Хуже губернаторского...

А тут еще одна гроза разразилась над Россией. Раскаты ее могучего грома докатились до самых отдаленных мест. В четыре часа утра 15 июня, выйдя из Тендровского залива, на рейде у Одессы встал броненосец «Князь Потемкин-Таврический». Алый флаг призывно трепетал в голубом небе.

В скором времени в Одессе ходили по рукам маленькие листовки:

«От команды броненосца «Князь Потемкин-Таврический».

Просим немедленно всех казаков и армию положить оружие и соединиться под одну крышу на борьбу за свободу, пришел последний час нашего страдания, долой самодержавие! У нас есть уже свобода, мы действуем самостоятельно, без начальства. Начальство истреблено. Если будет сопротивление против нас, просим мирных жителей выбраться из города. По сопротивлению город будет разрушен».

Внизу вместо подписи значилось: «Печатано в типографии Одесской группы РСДРП».

Словно подтверждая грозное обещание, все башенные орудия броненосца повернулись к городу.

В одесском кафедральном соборе дьякон, дымя кадилом, гудел молитву за упокой души новопреставленных боярина Голикова и Гиляревского, прапорщика Левенцо-

ва, мичмана Григорьева, судового врача Смирнова и других убиенных. Собор был пуст.

Тысячи одесситов молча, обнажив, головы, проходили по берегу моря, мимо палатки, где лежал убитый старшим помощником командира броненосца Гиляревским матрос Вакулинчук.

Горела в спокойно сложенных на груди матроса руках восковая свеча. Небольшой язычок пламени то замирал, склоняясь от тихого ветра с моря, то разгорался. Стоял почетный караул из рабочих, студентов, гимназистов. Росла и росла гора венков и цветов.

Было над чем задуматься губернаторам...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Группа дружинников Станко на рассвете разведывала лес около Талки. Парни внимательно осматривали каждый кустик — не притаился ли где шпик. Проверили все овраги, зашли в деревню Горино — не стоят ли там с вечера казаки, чтобы днем неожиданно с тыла окружить собрание.

Неразлучные кочегары с Куваевской Ефим Сучков и Алексей Мартынов, как всегда, шли вместе, беззлобно подтрунивая друг над другом. Сучков неожиданно дернул приятеля за рукав.

— Брось, Ефимка, не балуй!

— Смотри! — шепнул Сучков.— Кто это там лежит?

— Где? Не вижу.

— Смотри налево. Видишь ноги?

— Теперь вижу. Правда, ноги... Идем ближе.

— А может, не стоит?.. Обойдем.

— Я тебе обойду! Тоже мне дружинник! Я вот скажу Станко, он тебе пропишет. Эй, дядя! Вставай!

Но ноги не шевелились. Мартынов подошел, наклонился над телом.

— Да ведь он мертвый... Ей-богу, мертвый! Совсем холодный. Давай, Ефимка, свисти ребят.

Сучков заложил в рот два пальца и пронзительно свистнул. Издалека ответили таким же свистом. Потом засвистели в разных концах леса и послышались голоса: «Куда?», «Кто свистел?».

Через несколько минут у трупа неизвестного собрались все разведчики.

— Я его знаю, — наклонившись над мертвым, сказал Костя Зыков. — Это Герасим Снегирев с Гандуринской. А живет он на Всехсвятской, в доме Лисина. Мы с ним вчера виделись, я еще ему махорки в банку отсыпал...

— Что мы с ним делать будем? — спросил Мартынов.— В город понесем или оставим? Надо бы Станко сообщить.

— А по-моему, надо в полицию заявить, — заметил более осторожный Зыков. — Может, он сам чего-нибудь с собой сделал... Его вскроют. И к нам цепляться не будут.

Оставив у трупа трех караульных, дружинники понеслись в город разыскивать Станко, а Зыков пошел в полицейское управление.

Вскоре пожарный станок с телом громыхал к моргу при больнице для чернорабочих. Вечером тот же Зыков принес Станко выписку из медицинского заключения: «Смерть наступила от паралича сердца на почве голода».

Станко передал выписку «Отцу». Федор Афанасьевич долго молча смотрел на бумажку, потом вздохнул и сказал:

— Будь добр, разыщи Груню Николаеву.

* * *

Наташа вторую неделю жила у Груни. По совету Якова, она почти не выходила на улицу. Мать Груни, Марья Михайловна, еще в мае уехала к брату в деревню, поэтому Наташа целыми днями была в одиночестве. Она перечинила, заштопала Грунины кофточки и рубашки, до блеска отчистила старенький самовар. И все же свободного времени оставалось предостаточно. Если бы не книги, которые ей приносили то Яков, то забегавший «на одну минуточку» Трифоныч, Наташа совсем бы завяла от тоски по Степану.

Как-то Наташа спросила Якова про Кручинина. Савватеев помрачнел и нехотя ответил:

— Умер, говорят... Одним словом — преставился.

Груня приходила поздно. Войдя, она сразу бросала на скамейку свою выгоревшую голубую косынку, стаски-

вала клетчатую кофточку и долго умывалась, приговаривая:

— Ай, как хорошо! Словно в раю побывала!

Потом она садилась за стол, ела сваренную подружкой картошку, пила кипяток и подробно рассказывала, где была за день, что делала. Наташа слушала, смотрела на ее загорелое лицо, маленькие руки и удивлялась:

— Господи, Грушенька, да как же ты все успела? Утром в Богородском была, в полдень в лавке, затем на Талке, а вечером в Хуторове...

— А я все бегом, — смеясь, ответила Груня. — Ноги у меня быстрые...

Но стоило Груне лечь на свою узенькую койку, и она тотчас же засыпала как убитая.

А вот сегодня Груня, придя домой, не шутила, не смеялась. Она торопливо умылась, молча села за стол. Наташа тоже притихла, ожидая какого-нибудь тяжелого известия о Степане.

— Покушай, Груня, — сказала Наташа, подвигая ей блюдо.

Груня взяла картошку и положила обратно.

— Не могу... В горло не идет, как вспомню...

— Что случилось?

— С голоду мрут... Талонов у нас больше нет. Деньги кончились. Я сегодня к Вере Синцовой заходила. Она во вторник заявление подала о помощи. Детей у нее трое, муж умер, да еще бабка старая. Как живут — не знаю. Вера вся высохла... Девчонка у ней, последняя, Катька, четырех годов нет, совсем еще глупенькая, мать на нее кричит: «Не проси есть, нет у нас ничего!» А сама плачет, и Катька плачет. Не знаю, где бы хоть трешницу раздобыть...

Наташа вздохнула:

— Деньги у меня есть, только не знаю, как их взять...

— Где они у тебя?

— На квартире... Когда в деревню поехала, я их за икону спрятала. Сто двадцать рублей. Если жандармы не нашли, там так и лежат...

— Я схожу, — сказала Груня. — Хозяйка ваша женщина порядочная, она пустит меня. А засаду там давно сняли. Да я и не боюсь...

— А вдруг...

— Ничего не будет. Я сейчас же сбегаю. Посиди пока одна.

Груня быстро оделась и вышла. Наташа услышала, как она сказала кому-то за дверями:

— Дома. Я скоро вернусь.

В комнату вошли Станко и Яков. Наташа, увидев друзей жениха, взволнованно спросила:

— Как он там?

Станко рассмеялся:

— Вы, Наташа, каждый раз меня так спрашиваете, как будто я только что у него в гостях был.

— Про вас говорят, что вы даже через каменную стену можете пройти.

— Пустое говорят. А мы ведь за вами, Наташа. Собирайтесь.

— Куда?

— В Шую. Здесь вам оставаться нельзя. Могут арестовать.

— Ну и пусть.

— Это не пустяк. Вам много присудят.

— Не за что.

— Они найдут за что. Обвинят вас, что вы Степану чужой паспорт отдали,— вот уже четыре года тюрьмы. Да укрывательство пришьют — еще два года. Они наберут лет на десять...

— А почему в Шую? Где же я там жить буду? Я никого не знаю.

— Там сейчас Трифоныч. Он теперь больше в Шуе, чем здесь. И самое главное, там есть очень хорошая женщина, Елена Васильевна Перевощикова. Муж ее, инженер, убит под Порт-Артуром. Вам Степан не рассказывал, как он весной девочку из реки вытащил?

— Нет, ничего не говорил.

— Девочка маленькая в реку с моста упала, а Степан ее спас. Вот вы у Елены Васильевны и поселитесь. Будете вроде как горничная... Ничего, Наташа, привыкнете. Много еще у вас впереди всяких неожиданностей.

— Я что угодно вынесу, всю жизнь отдам, лишь бы он остался жив...

* * *

Груня не вошла, а вбежала и прямо с порога закричала, хлопая себя рукой по груди:

— Принесла, принесла!.. Все принесла, только хозяйке твоей дала два рубля.

Она достала сверток и положила на стол.

— Как ты их положила, так и лежали.

Наташа развернула деньги и подала Груне:

— Возьми, Груня. Они тебе нужнее, чем мне.

Станко, увидев деньги, переглянулся с Яковом и спросил:

— Сколько тут?

— Сто восемнадцать рублей, — ответила Груня.

— Это ваши деньги, Наташа?— снова спросил Станко.

— Степы...

— Очень хорошо. Вы их хотели отдать Груне? В фонд?

— Да.

— Спасибо вам. Но мы сделаем иначе. Груня, забирай пятьдесят в фонд. Завтра же преврати в талоны. Пятьдесят возьмем мы. Мы с Яшей прямо голову изломали, думая, где достать денег. Они нужны на побег Степана. Остальные, Наташа, берегите. Они вам скоро понадобятся...

Станко отсчитал пятьдесят рублей, потряс ими и весело добавил:

— Ну, Яша, теперь наше дело выгорит! Утром в Шую! Он за вами, Наташа, зайдет...

* * *

Трифоныч последнее время находился больше в Шуе. «Отец», сам побывавший в уездном городе, по возвращении предложил:

— Мы теперь тут раздышались. А у них там туго, людей нужных не хватает. Поживи в Шуе — временно, конечно. Павел Гусев ждет тебя, не дождется.

Он дал Трифонычу явку в дом Личаева на 2-й Нагорной улице:

— Сам там жил. Надежное место. Хозяйка, Александра Михайловна, свой человек.

«Отец» посмотрел на своего молодого друга поверх очков и развел руками:

— Только одно плохо: денег у меня для тебя нет.

«Отец и Трифоныч получали из средств группы по десять рублей в месяц — почти столько же, сколько зара-

батывала средняя ткачиха. На бо́льшую помощь они рассчитывать не могли. Средства группы состояли главным образом из членских взносов. На десять рублей Трифоныч и «Отец» должны были питаться, платить за квартиру, приобретать себе одежду и обувь. Впрочем, об этом заботы было мало — «Отец» несколько лет носил свои старенькие, поношенные брюки и пиджак. Он уже забыл, когда последний раз купил себе картуз, а две рубашки — синяя и черная — были все в заплатах.

«Отец» выдавал Трифонычу деньги в два приема — по пять рублей. Срок первой выдачи за июнь давно уже прошел, а денег в партийной кассе не было.

— Пробьемся как-нибудь? — спросил «Отец».

— Не беспокойтесь... Все будет отлично.

«Отец» открыл плоскую железную коробку:

— Всех капиталов у нас один рубль. Надо дать тебе на дорогу.

Он повертел в руках серебряный рубль и вышел в сени. Трифоныч слышал, как он сказал:

— Сбегай, Коля, разменяй.

Через пять минут хозяйкин сын принес медяки. «Отец» отсчитал девять пятаков:

— Возьми. Сорок одна копейка на билет до Шуи, а на остальные, как приедешь, хлеба купи.

— Спасибо.

В день, когда Груня выручила деньги Наташи, Трифоныч был в Иваново-Вознесенске. Он приехал сюда по двум очень важным делам. Во-первых, группа Северного комитета большевиков должна была решить вопрос, продолжать стачку или приниматься за работу, и, во-вторых, надо было спасать Степана, которому — Трифоныч это знал твердо — грозила смертная казнь через повешение.

Поздоровавшись с «Отцом» и поговорив о делах, Трифоныч подал сорок одну копейку.

— Что за деньги? — спросил «Отец».

— Помните, на билет мне давали? Они у меня остались. Пришел на станцию, смотрю — товарный в Шую отправляют, а машинист Ветров. Я с ним на паровозе бесплатно доехал.

— А обратно?

— Пешком... Уж очень погода хорошая. Погулял с удовольствием.

«Отец» одобрительно хмыкнул, снова полез за своей коробкой и отсчитал четыре рубля шестьдесят копеек.

— Стало быть, теперь за вторую половину мы с тобой в расчете.

— Полностью... Федор Афанасьевич, а у вас самого деньги есть?

— Есть... Если бы и не было, тоже не беда. Я тут дома, среди своих, а ты в Шуе...

Вскоре собрались все члены группы, и заседание началось.

— Вы все видели и ежедневно наблюдаете, как хорошо началась и проходит наша забастовка,— начал «Отец». — Но пришла пора всерьез подумать, как ее закончить. Народ устал, изголодался, денег у нас нет. Все, кто мог нам помочь, помогли. Больше помогать нам некому. Есть случаи голодной смерти. Особенно трудно многодетным... Но кончать стачку завтра, послезавтра пока нельзя. Нам известно, что фабриканты Грязнов и Щапов согласны идти на уступки. Хотят уступить на заводе у Мурашкина, у Жохова, в типографии Дилегенского. Значит, торопиться нам не след. Но народу тяжело, трудно. Надо нам все взвесить, обдумать. И еще одно: от верных людей стало известно, что губернатор Леонтьев и Свирский обратились к министру внутренних дел с просьбой, чтобы тот воздействовал на фабрикантов — убедил пойти на уступки. И еще известно — министр финансов Коковцев обещал оказать на фабрикантов давление. Конечно, и наши местные власти и министры начали вроде заступаться за нас неспроста, не по душевному к нам расположению. Побаиваются, как бы еще где-нибудь «Потемкин» не заговорил...

— А что обещает Грязнов? — спросил Трифоныч.

— Десятичасовой рабочий день. Тем, кто получал от восьми до девяти рублей в месяц, прибавить по три рубля, кто получал десять — два с полтиной. Гарантирует один и тот же заработок зимой и летом, выдавать по рублю квартирных каждый месяц, оставить один срок найма, с пасхи до пасхи, и никого из бастовавших не увольнять... Такие же уступки обещает Щапов. И еще женщинам во время родов месяц отпуска с пособием в три рубля...

Совещание затянулось до полуночи. После долгих споров и обсуждений стачку решено было продолжать.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Смелый план побега Степана, задуманный Трифонычем и Станко, родился в последние дни, после того как стало известно, что бывшего гвардейца срочно должны отвезти во Владимир, а оттуда уже в Петербург — для предания военному суду. О побеге из иваново-вознесенской тюрьмы, а тем паче из владимирской не могло быть и речи. Их окружали высоченные заборы, они хорошо охранялись, вдобавок на прогулки Степана не выпускали. Бежать, следовательно, можно было только на пути из Иваново-Вознесенска в губернский город.

Одиночных арестантов во владимирскую тюрьму, как правило, перевозили в общих пассажирских вагонах третьего класса, занимая для них отделение. Наиболее серьезных, по мнению начальства, заключенных сопровождали три, а иногда и четыре конвойных. Несомненно, что Степана должны были охранять крепче. Станко сначала предложил купить не менее двадцати билетов и посадить в вагон, в котором повезут Степана, дружинников и где-нибудь за Шуей напасть на охрану. Трифоныч, подумав, решительно забраковал этот проект:

— В вагоне могут оказаться еще пассажиры. Одних в перестрелке можно будет нечаянно поранить или даже убить, а другие, кто их знает, окажутся на стороне охраны.

Трифоныч предложил другой план. В вагон сядут десять дружинников, но только на крайний случай. Степану надо передать железнодорожный ключ и известить, чтобы он на перегоне между Шуей и станцией Лодыгино, в первом часу ночи, вскоре после того как поезд отойдет от Шуи, попросился в уборную. Машинист в это время замедлит ход. Все остальное будет зависеть от находчивости и ловкости Степана. Соскочив с поезда, он должен идти назад к Шуе. На переезде его будут ожидать дружинники.

Передавать ключ в тюрьму значило провалить все дело. Его могли обнаружить при обыске, и тогда рушился весь план. Поэтому ключ, а вместе с ним заряженный револьвер решено было заранее положить в уборной между стенкой и унитазом.

У Станко везде были свои люди. Из трех машинистов, которые могли повести поезд, двоим — Семенову и

Горбунову — Станко доверял, как родным братьям. Положить ключ и револьвер взялся осмотрщик вагонов Лаптев. Для самого трудного — передать Степану письмо с подробным планом побега и установить день выезда — Станко решил использовать тюремного надзирателя Телегина, отличавшегося необычайной жадностью и трусостью.

Надзирателя зазвали в гости, хорошо угостили и пообещали заплатить за все сто рублей. Станко повертел у него под носом кредитками:

— Полсотни задаток, расчет через неделю.

— А не обманете?

— Новенькими отсчитаем.

— Может, фальшивыми?

— Не занимаемся ..

Телегин помял деньги в руках, вздохнул и согласился:

— Все равно в ад попаду. Семь бед — один ответ. Готовьте остальные...

Станко, в свою очередь, сурово намекнул:

— Подведешь — не обессудь. Парни у нас решительные. Неровен час, подстрелят...

Старик, пряча деньги, серьезно, без тени улыбки, ответил:

— Деньги шуток не любят. Я их даром не беру.

* * *

Ротмистр Левенец сначала никак не мог понять, почему его коллега Шлегель так легко отказался вести дело беглого кавалергарда.

— Непонятно! — делился с женой Левенец. — Словить такого зверя и отдать потрошить его другим! Чудовищно! Дело верное. За него меньше «Анны» второй степени не дадут.

Левенец не знал, что Шлегель, при всем его желании получить «Анну» на шею и прослыть среди высшего жандармского начальства опытнейшим и ловким слугой престола, не мог больше разговаривать со Степаном. Когда Важеватов, и он же, как значилось в деле, Никитин, входил на допрос и вставал, заложив руки за спину, Шлегель в ту же секунду терял всю свою выдержку. На все казалось, самые каверзные вопросы арестант неизменно

отвечал: «Ничего не знаю», или попросту молчал, усмехаясь в белокурую бороду.

Шлегель заставлял его на допросах стоять помногу часов. Это не дало никаких результатов. Важеватов изредка переставлял ноги и начинал давать советы ротмистру:

— Я вижу, вы устали, ваше благородие. Взяли бы да и полежали. А я постою...

Однажды ротмистр, совсем потеряв голову, подскочил к бывшему гвардейцу и закрутил кулаками. А тот даже не отодвинулся и только предупредил:

— Уберите руки, ваше благородие! Ваше дело допрашивать, а бить меня палач связанного будет. Вас я ненароком зашибить могу...

И Шлегель понял — ничего не выйдет, лучше не ставить себя в дурацкое положение перед заключенным и, самое главное, перед начальством. После очередного недолгого допроса он сочинил в Петербург бумагу и, сославшись на загруженность местными делами, попросил забрать дезертира. Ответ пришел быстро. Главный военный прокурор Философов предлагал доставить опасного государственного преступника Важеватова в распоряжение Главного военного суда.

Отправка была назначена на вторник 28 июня с вечерним поездом.

* * *

Небольшой особняк вдовы инженера Елены Васильевны Перевощиковой в тихом, обсаженном столетними липами переулке знали многие шуйские интеллигенты. Здесь невозможно было встретить директора или инспектора мужской гимназии, носившей длинное название: «имени его императорского высочества, наследника цесаревича, великого князя Алексея Николаевича». Оба они все разговоры сводили к проповеди наказания, как самого разумного метода воспитания. Не заглядывал сюда и адвокат Засыпкин, любитель лошадей и собак. Но зато здесь, особенно в каникулы, можно было встретить студентов. Сюда любили заглядывать молоденькие учительницы. И в то же время дом Перевощиковой не обходил стороной городской голова Китаев, заезжал на минуточку уездный предводитель дворянства и брат известного поэта Бальмонт.

Одних в этом дом влекла возможность встретить веселую компанию, других — отличные закуски и не менее аппетитные настойки. И никто из завсегдатаев не имел даже понятия о том, что иногда в особняк попадали гости совсем иного образа поведения. В задней комнате уютного особняка однажды две недели прожил и потом никем не замеченным скрылся бежавший из ссылки социал-демократ Иван Дубровин. Разве мог городской голова Китаев или Бальмонт предполагать, что высокая кадка для пальмы в гостиной, у которой они любили поспорить о разных разностях, была сконструирована покойным инженером с двойным дном и в ней однажды хранился типографский шрифт...

Елена Васильевна не разбиралась в тонкостях политики и, чего греха таить, слабо различала, кто такие большевики и кто меньшевики. Но она помнила завет мужа, когда-то начавшего свою сознательную жизнь строительным рабочим, — помогать всем гонимым и преследуемым. И она помогала всем, чем могла.

Когда ее попросили укрыть на время невесту человека, спасшего жизнь ее дочери, она, не раздумывая, сказала:

— Господи! Я за него молюсь каждый день!..

Узнав, что невеста тезка ее дочери, она окончательно растрогалась:

— Боже мой! Какое счастливое совпадение!

Увидев Наташу, Елена Васильевна сразу сказала:

— Нет, нет. Выдавать ее за горничную я не согласна. Она будет моей двоюродной сестрицей, благо их у меня хоть пруд пруди.

В тот же вечер она достала из сундуков свои девичьи платья, слегка подправила их согласно моде, и новая обворожительная кузина прелестной мадам Перевощиковой была представлена самому городскому голове.

Попозднее, когда расходились самые упорные гости, хозяйка и «сестрица» усаживались на диванчик и подолгу беседовали. Наташа рассказывала о Петербурге, вспоминала своих близких и, конечно, без устали говорила о женихе. Елена Васильевна слушала и, вздыхая, говорила:

— Счастливые вы! Молодые, любите друг друга и такому делу служите. А я вот не могу, привыкла к моей праздной жизни... Скучно мне, Наташа!..

Ночью на 30 июня они обе вздрогнули от негромкого, неожиданного стука в окно, выходящее в сад. Елена Васильевна осторожно подошла к окну. Наташа стояла бледная, с широко раскрытыми глазами, полными тревожного ожидания.

— Кто тут? — спросила Елена Васильевна.

— Свои, — ответил мужской голос.

— Подождите. Сейчас открою.

Елена Васильевна вышла в кухню и открыла черный ход. Наташа смотрела на нее, как лунатик.

Сначала в кухню вошел молодой рабочий, потом шагнул Яков Савватеев.

— Давай, входи,— пригласил он.

И вошел Степан. Наташа молча припала к нему. Елена Васильевна задернула занавеску. Яков ласково сказал:

— Ну, вот и свиделись.

* * *

— Рассказывай, Степа, рассказывай!

— Пожалуй, все, Наташенька.

— И ты сразу все нашел?

— Все. Револьвер в левую руку, ключ — в правую. Вышел из уборной, а конвойный, видно, про поезд говорит: «Еле тащится!» Смотрю — дверь в вагон закрыта. Я револьвер на конвойного наставил и шепчу: «Молчи! Убью!» Солдатик молоденький, неопытный. От неожиданности, совсем как цыпленок, рот раскрыл. Я дверь открыл, на площадку выскочил и сразу ту дверь, что в вагон ведет, захлопнул — и на ключ... Солдатик закричал, но уже поздно: я в это время наружную дверь отомкнул. И как это у меня получилось, даже не знаю. Уж очень ловко я ключом орудовал! Когда прыгал, как будто стреляли, а может, мне показалось. Поднялся, смотрю — только фонарики у поезда видны. Летит, как курьерский.

— На днях опять будешь с поездом дело иметь, — сказал Яков. — Только не прыгать с него будешь, а влезать...

— Зачем?

— Насчет тебя долго советовались. «Отец» и Трифоныч советуют тебе уехать отсюда подальше. Хотят в Москву направить.

— Я не поеду. Я здесь буду.

— Чудак человек! Что тебе, жизнь не дорога? Если бы ты был не такой приметный. А то вымахал чуть не выше телеграфного столба. Тебя здесь очень легко словить, а в Москве ты больше пользы принесешь.

— А как же я? — сказала Наташа.

— И о тебе все обсудили, — ответил Яков. — Поживешь немного здесь, потом, когда Степа устроится, поедешь к нему.

— Опять, значит, врозь...

— Что ж поделаешь, моя родная... Будет когда-нибудь и на нашей улице праздник.

* * *

Через несколько дней Трифоныч утром принес Степану новый паспорт. Отдавая его, сказал:

— Привыкай, Степа, к новой фамилии. Теперь ты Иван Корнеевич Железнов, родом из города Алатыря...

На вопрос Степана, что происходит в Иваново-Вознесенске, Трифоныч протянул ему листовку:

— Последняя. Из нее все узнаешь.

«Товарищи,— читал Степан,— стачка кончилась. Мы опять принимаемся за свой тяжелый труд. Фабриканты ликуют — они думают, что сломили нашу солидарность; они думают, что победили, что мы сдались, считая себя побежденными. Но так ли, товарищи? Побежденными ли мы возвращаемся на наши фабрики и заводы, могут ли наши враги торжествовать свою победу? Нет, товарищи, ошибаются наши враги, рано торжествуют свою победу. Товарищи, пусть малого мы добились. Пусть не все наши требования удовлетворены. Но зато пусть всякий себя спросит, что было до забастовки и что теперь. Не сплотила ли она нас, показав, какую силу мы представляем, если мы действуем дружно?

Товарищи, многому другому научила нас Талка.

Разве не прозрели мы там, разве не пробудились, разве не увидели мы ясно, кто наши враги, кто держал нас до тех пор в темноте и кому выгодна была наша темнота? Разве не увидели мы, кто помогает нашим врагам — хозяевам, разве не увидели мы, для чего нужны царю войска и полиция, и чьи интересы они защищают, и против кого он посылает наших мужей, братьев, сыновей?

Многому научила нас эта забастовка.

Поняли мы, что при теперешних порядках мы никогда не сможем улучшить свое положение, никогда не сможем бороться с капиталистами. Мы поняли, товарищи, что власть находится у царя, который только и думает о капиталистах. Он даже разрешил караул поставить около фабрик и домов хозяев, часовые охраняют фабрикантов, как царей. Вот, товарищи, для чего нужна армия правительству.

Товарищи, до тех пор мы не сможем улучшить наше положение, пока не будет политической свободы, пока политическая власть не перейдет ко всему народу.

Поэтому забастовка научила нас требовать: «Долой самодержавие!» и «Да здравствует демократическая республика!» Забастовка показала нам также, что добиваться политической свободы нужно с оружием в руках.

Боритесь до тех пор, пока не добьемся такого порядка и строя, когда не будет ни богатых, ни бедных, когда фабрики, заводы и земля не будут принадлежать кучке паразитов и богачей. Тогда все фабрики, земля и заводы будут принадлежать всем, все одинаково будут трудиться и одинаково делиться плодами своего труда...»

Трифоныч смотрел на Степана и, когда он кончил читать листовку, спросил:

— Понял?

— Все понял. Будем, стало быть, копить силы...

Вечером Степан уезжал. Чтобы не мозолить глаза станционным жандармам, было решено посадить его на паровоз товарного поезда, который вел в Новки машинист Горбунов. При выезде из города Горбунов обещал замедлить ход.

За полчаса до прихода поезда они сели на скамейке около земской больницы. Яков, поглядывая в сторону вокзала, сказал:

— Ну вот, Степа, опять у тебя начинается новая жизнь...

От вокзала донеслась песня. Молодые голоса пели:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе.
К царству свободы дорогу
Грудью проложим себе...

— Хорошо поют! — сказал Яков. — И никого не боятся. Запретную!.. Другой стал народ.

К ним подошли молодые парни, те, что шли с песней от вокзала. Поравнявшись, один из них по-военному отрапортовал:

— Все в порядке, Яша. Через пять минут отойдет. Посадка будет вон у того столбика.

Степан сразу узнал своих старых знакомых Василия и Силантия:

— Ребята, и вы здесь? Каким ветром занесло?

Василий охотно объяснил:

— Мы в Шую теперь перекочевали, поближе к Трифонычу. Спать не дает, с ним весело... Будь здоров, товарищ Никитин. Мы пойдем посмотрим, как бы архангелы-херувимы из полицейского управления не появились.

Яков успел рассказать:

— Силантий еще не вступил, а Василия в партию уже приняли. Агитатор из него получается замечательный. Хотим в деревню послать.

Послышался паровозный гудок.

— Отошел. Сейчас будет здесь. Идем, Степа, поближе...

Из-за больницы быстро вышел человек. Он оглянулся и направился к ним.

— Это Трифоныч,— удивился Яков.— Не выдержал...

Подбежав, Трифоныч торопливо объяснил:

— Думал, что опоздаю. Захотелось тебя еще раз повидать.

А поезд уже рядом.

— Ну, Степа, будь здоров!

Трифоныч крепко пожал руку другу, потом обнял его и поцеловал:

— Встретимся. И не раз...

— Обязательно, дорогой ты мой... До свиданья.

* * *

И они встречались действительно не раз. В декабре 1905 года их видели вместе на московских баррикадах. Они сидели рядом на заседаниях Четвертого съезда партии в Стокгольме, спали на жестких тюремных нарах,

звенели кандалами в коридорах каторжных централов. Случалось им вместе брести, скрываясь от погони, по вековой нехоженой тайге, темной, осенней ночью переплывать бешеный в эту пору Байкал. Вместе они были под Уфой, и вместе они были под Перекопом. Много у них было встреч. Но об этом в следующей книге.

К ЧИТАТЕЛЯМ
Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: г. Иваново, Крутицкая, 9, Ивановское книжное издательство.

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Васильев Аркадий Николаевич.
СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ!.

Редактор *Б. Т. Грибанов.*
Художник *И. Т. Колочков.*
Художественный редактор *А. В. Пелипенко.*
Технический редактор *Р. Н. Боголюбова.*
Корректоры: *Н. А. Смирнова, Г. В. Маклашина.*

Сдано в набор 22/I-1955 г. Подписано к печати 1/III-1955 г. Бумага 84 × 108 1/32 = 18 печ. л.—14,76 усл. печ. л., 15,16 уч.-изд. л. Тираж 30000 экз. КЕ—04482.

Типография треста Рсполиграфпром, г. Иваново, Типографская, 6. Заказ № 599.

Цена 4 руб. 55 коп.
Переплет 1 руб.

5 р. 55 к.

Арк. ВАСИЛЬЕВ — СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ...